



Д. КЛИМЕНДЖЕЛ

ОСТРОВ В ОКЕАНЕ



РАССКАЗЫ
О ПРИРОДЕ

Гилберт Клинджел . «Остров в океане»: Государственное издательство географической литературы; Москва; 1963

Инагуа... маленький заброшенный островок Багамского архипелага. На этом клочке выжженной солнцем земли случайно оказались два американских любителя-натуралиста — Джилберт Клинджел и Уоли Колман.

Они плыли на небольшом паруснике „Василиск“, стремясь к островам, разбросанным в голубом просторе между Багамским архипелагом и пустынным побережьем Юкатана, но суденышко разбилось о рифы.

Крушение мечты, крушение надежд... Однако пытливый глаз натуралиста замечает, что на этом острове живут самые маленькие на земле ящерицы, красивые птицы, интересные крабы. Вскоре Колман уезжает на родину, а Клинджел остается на Инагуа изучать жизнь его удивительных животных.

После возвращения в США Клинджела снова потянуло к прерванным исследованиям, и он во второй раз едет на Инагуа, захватив с собой водолазный костюм. Обо всем, что он видел на земле и под водой, Клинджел написал книгу, которая от первой до последней страницы читается с неослабевающим интересом.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большой Инагуа — самый южный и самый уединенный из Багамских островов, пустынный, отрезанный от мира кусочек земли.

В глубине острова есть большое озеро — одно из немногих мест на Земле, где гнездятся птицы с поэтическим именем — фламинго. На острове около трех тысяч фламинго, их привлекают сюда церитеумы — миниатюрные улитки, которыми они питаются. По вечерам розовые птицы взмывают в небо и проносятся пламенеющим клином над безмолвным Инагуа.

Здесь водятся крохотные ящерицы и колибри, а в прибрежных водах плавают чудовищные скаты и фантастические молотоголовые акулы (все тело которых поросло зубами!). На границе моря и суши растут «живородящие» мангры.

И в этот мир красоты и покоя пришел натуралист. Он исходил весь остров по белоснежным отмелям, по песчаным дюнам, продирался сквозь пышущий зноем кустарник и карабкался по острым камням плоскогорий. А потом рассказал о своих наблюдениях в книге «Остров в океане».

Это талантливый рассказ, произведение художественное, но в то же время и бесспорно научное: описания животных, их повадки даны очень образно и точно; автор — хороший натуралист.

Его имя Джилберт Клинджел. Он не профессиональный зоолог, а так сказать любитель. В будни Клинджел — один из многих тысяч служащих Балтимора, города, где он родился; в свободные от работы дни он — биолог, исследует воды и берега Чесапикского залива, а во время отпусков — участник научных экспедиций. «Остров в океане» и другая книга Клинджела — «Залив», в которой он рассказал о жизни на дне Чесапикского залива, хорошо приняты читателями и часто упоминаются в научных и научно-популярных произведениях.

Мы переживаем сейчас время, когда люди начинают понимать, что нельзя так бесконтрольно, как прежде, расточать природные ресурсы. Все большее число энтузиастов вступает в ряды бойцов, решивших выиграть великую битву — оградить от уничтожения богатства и красоты природы.

И это одна из причин, почему книги о диких животных, о путешествиях в неизведанные края, о природе далеких стран пользуются в наши дни такой популярностью.

«Книга фактов» без выдуманной фабулы и интригующего сюжета успешно конкурирует сейчас с художественной литературой. Люди хотят лучше знать мир, в котором они живут.

И это хороший симптом. В борьбе за распространение идей охраны природы мало одной агитации: нужно привить каждому человеку вкус к познанию природы и чувство личной ответственности за сохранение природных богатств.

Неоценима здесь роль хороших, содержательных книг, на страницах которых авторы поменьше бы охотились с ружьем, а побольше с фотоаппаратом и записной книжкой.

Прошло то время, когда спортивная охота нуждалась в рекламе и поощрении, а охотничья литература помогала любить красоты природы. Теперь это слишком расточительный способ любви.

«Остров в океане» — одна из тех книг, которые воспитывают хорошие чувства к природе. В ней тоже иногда льется кровь животных, но во имя целей более высоких, чем охотничья страсть, — во имя науки. А ради этого люди часто и себя приносят в жертву.

И. Акимушкин

Глава I ВЕСТ-ИНДИЯ¹

В холодном сумраке ноябрьского вечера дрейфовал наш парусник. Текучие струйки тумана кружились около мачт и медленно растворялись в пустой серой мгле, окружавшей судно. Было очень тихо. Только слабый плеск небольших волн о борт да заглушенный туманом тоскливый крик чайки нарушали безмолвие.

На провисших шкотах длинными рядами блестели капли, они срывались и со стуком падали на мокрую палубу. Напрасно я напрягал слух, надеясь услышать сирену или судовой колокол — только блок тихо поскрипывал на верхушке мачты. Опять где-то вдали закричала чайка, но тут же смолкла.

Вот уже пять дней мы дрейфуем в серой мгле, ощупью движемся неизвестно откуда, неизвестно куда, и паруса наши то часами висят неподвижно, то едва надуваются от бессильного ветра. Пока я стоял на палубе, слабый ветерок принес с собой неясный запах соляных болот и гниющих водорослей, натянул было шкоты и умер, едва успев родиться. Штурвал повернулся немного, скрипя как бы от огромной усталости, и тоже замер.

Я выколотил пепел из трубки, стряхнул воду с дождевика и открыл дверь в каюту. Навстречу вырвалась волна теплого воздуха, полного запахов кухни и приглушенных звуков величественной «Финляндии» Сибелиуса.

Высокий, светловолосый, похожий на северянина Уоли Колман, первый помощник капитана, он же кок и мой единственный спутник, весело улыбнулся мне, я сошел по трапу и вяло опустился на койку. Колман держал над плитой полную сковородку коричневых шипящих устриц, а другой рукой готовился остановить маленький, прикрученный к полке над койкой патефон, на котором стояла пластинка Сибелиуса.

— Ветра все нет? — спросил он.

Отрицательно покачав головой, я улегся на одеяла, но беспокойство охватило меня. Туман висел и висел, застилая все вокруг и задерживая наше путешествие. Я тревожился, предчувствуя, что это затянувшееся затишье, изредка нарушаемое ревом нашего горна, — лишь прелюдия к чему-то более серьезному. Была вторая половина ноября, приближались декабрьские штормы, и мне не терпелось поскорее покинуть северные воды.

Через иллюминаторы я видел, что свет тускнел, уступая место густеющему сумраку. Он не был глубоким и плотным, этот сумрак, в нем было что-то неуловимое, делавшее его призрачным и нереальным. Шел пятый вечер с тех пор, как дневной свет исчез в пустой мгле.

Колман зажег керосиновую лампу, укрепленную в медном подвесе, и при ее мягком свете мое уныние рассеялось. Он поставил на столик дымящуюся кучу устриц с картофелем, горячий кофе и необъятную грудку черных сухарей с маслом. От соленого воздуха аппетит разыгрался, и мы молча и жадно набросились на еду. Наевшись, мы прилегли отдохнуть и покурить. Но прежде мне пришлось выйти на палубу, ощупью пробраться к грота-штагам, отыскать штаговый фонарь, зажечь его и повесить на место. Туман стоял такой густой, что огня не было видно в трех метрах. Затем я измерил глубину и бросил якорь. Судя по глубине, мы стояли где-то посреди Чесапикского залива, но где именно, я не знал.

Я спустился обратно, закурил трубку, затянулся несколько раз и оглядел нашу уютную каюту. В ней — все, что может понадобиться двоим путешественникам для многомесячного плавания. От всех других кают она отличалась тем, что одна половина ее была целиком занята специально сконструированным длинным лабораторным столом. На столе сверкала масса разноцветных бутылок с химикалиями и множество различных инструментов — все это на случай качки было туго прикреплено скобами к переборке. К крышке стола был повернут бинокулярный микроскоп в водонепроницаемом чехле. Рядом стояла полка с полдюжиной шприцев — от самого маленького на два кубических сантиметра до самого

большого, емкостью почти в пол-литра, внушительно поблескивавшего стеклом и никелем. На той же полке стоял ящик с хирургическими инструментами — зажимами, крючками, щипцами, скальпелями, иглами и пинцетами. Под полкой помещалась доска для анатомирования с двумя стоками, ведущими в ослепительную раковину из монель-металла, разделенную надвое. Одна половина была пуста, в другой лежали ванночки для проявителя и фиксажа и аппарат для промывки фотографий. Тут же стоял небольшой фотоувеличитель с автоматическим выключателем и несколько держателей для сушки и обработки пленки. Ящики стола заполняли сачки, сетки, коробки для бутылок с образцами, фотопленки, ружья и разные другие вещи. На столе стояли полки со справочниками — большими томами в унылых серых и коричневых переплетках.

И, наконец, последние пять футов стола, ближе к корме, были отведены искусству навигации — об этом свидетельствовали карты и хронометр, невозмутимо тикавший в своем мягком плюшевом чехле. Около хронометра стоял ящик с секстаном и ночными биноклями.

Напротив лабораторного стола помещался камбуз. Чтобы не мешал жар, камбуз был отгорожен от остальной части каюты, и Колман колдовал в нем над устрицами и кофе. Ближе к корме, в свободном пространстве под палубными бимсами, приютились наши койки — по одной с каждого борта. Только здесь мы могли свободно проявить свою индивидуальность, — всей остальной территорией мы владели сообща.

Колман — заядлый курильщик, и поэтому у него под рукой была полка с великолепной коллекцией трубок и надежно прикрепленная к переборке табакерка с желтым табаком. Над его койкой, также основательно привинченные, висели три картины: «Улыбающийся офицер» Франса Гальса, японский эстамп с белой цаплей, изящно балансирующей на одной ноге, и еще одна картина, более сурового содержания, под названием «Гольфстрим». Эта последняя, кисти Уинслоу Гомера, изображала бурное море, судно, чуть поменьше нашего, со снесенными мачтами, и одинокого человека, в безучастной позе стоящего на палубе и мрачно наблюдающего за большой голубой акулой, медленно кружащей вокруг корабля. Колман купил эту картину, когда мы еще только обдумывали наше путешествие. Она поразила его воображение, и он повесил ее сначала у себя в комнате, а потом здесь, в каюте, в насмешку над морем.

Мне картина тоже нравилась, но не нравилось, что Колман смеется над морем. Я не раз видел море в гневе и знал, что с ним шутки плохи, но Уоли все же повесил картину да еще посмеялся над моим суеверием.

Вокруг обеих коек висели полки с книгами. В глаза бросалась пестрота библиотеки: несколько томов стихов, трактат или два по философии, несколько современных романов, с десятков биографий древних римлян (мое любимое чтение), еще несколько специально отобранных книг и несколько книжек менее серьезного содержания. Около камбуза в водонепроницаемом шкафу помещались грампластинки из наших личных коллекций: Вагнер, Григ, Пуччини и кумир Уоли — Сибелиус. Тут же стоял патефон, на котором, наверно, уже в восьмой раз со времени ужина крутилась пластинка с величественной «Финляндией».

Здесь, в тесном помещении, собрано все необходимое для того, чтобы обеспечить приятное существование и души и тела — сухие койки, теплая печка, табак, запасы продовольствия, лучшие образцы мировой музыки в грампластинных записях, хорошие книги. Впереди нас ждали приключения.

Но центром всего был лабораторный стол. Все судно, вся каюта подчинялись ему. Стол был сердцем судна, причиной его существования и единственным оправданием нашей экспедиции.

У каждого человека свои представления о любви и благоденствии, свои надежды на мир и безмятежную жизнь, на успех и на славу; у каждого своя мечта, которую он хранит в сердце и пытается осуществить. Человеческие устремления столь же различны, сколь различны люди. У одних мечты рождаются из пустоты, у других — из суровой необходимости; да и сами мечты разные — яркие или туманные, живые или бесплотные. Но

как бы там ни было, наш мир зиждется на фундаменте человеческих надежд и желаний. Наше судно сначала тоже было только фантазией.

Сколько я себя помню, я всегда мечтал о паруснике, легком, с высокими мачтами, с тугими парусами и стремительным белым корпусом. Многие мечтают о подобных вещах. Но мои мечты крепились с годами, питаемые непоседливостью, которая и поныне владеет мной и которую трудно объяснить даже самому себе. Есть мечты, возникающие внезапно и столь же внезапно исчезающие. Другие, более постоянные, растут медленно, набирают силу годами, как дети, обретают ясность и потом воплощаются в жизнь. Так было со мной. Смутные грезы о путешествиях сменились твердыми намерениями. Но для этого должно было произойти событие, благодаря которому моя мечта оформилась и стала осуществимой.

Все началось в удивительной маленькой республике Гаити, где я участвовал в биологических изысканиях, проводимых Американским музеем естественной истории. Еще до этого из-за финансовых затруднений и общественных обязанностей я, как и многие из нас, был вынужден заняться коммерцией и провел несколько лет в самом ее пекле. Мой старый друг Уоли Колман, вместе с которым мы мечтали обзавестись судном и пуститься в дальние странствия, ушел в медицину, и казалось, что надежды наши никогда не сбудутся. Но тут появилась возможность поехать на Гаити и провести для Американского музея исследования, которыми я интересовался уже несколько лет.

На Гаити я вдруг ясно осознал, что образ жизни, который я там веду, вполне меня устраивает. В качестве биолога-любителя я мог свободно предаваться своей страсти к посещению новых мест, поискам новых видов животных, изучению их особенностей; если мне хотелось (а мне это хотелось всегда) узнать, что скрывается в соседней долине, или за изгибом берега, или за горой, то возможностей к этому было хоть отбавляй. Подходила пора возвращаться домой, как вдруг меня заинтересовала проблема, для решения которой надо было изучить другие острова Вест-Индии, особенно те из них, которые безлюдны и редко посещаются.

Именно чары островов, спрятанных далеко за горизонтом, и сделали мечту явью. Острова эти лежат далеко-далеко, разбросанные в голубом просторе между Багамскими островами и пустынным побережьем Юкатана. На многие никогда не ступала нога естествоиспытателя, а если это и случалось, то едва ли он проводил там более нескольких часов. Мне же хотелось пробыть на островах столько, сколько потребуется, и изучить все особенности их животного мира. Загадка этих островов интересовала меня больше всего на свете, и, естественно, что лучше всего ее можно было решить, снарядив специальную экспедицию. Тем самым осуществилась бы моя давнишняя мечта. А для успешной работы нужно, чтобы вам жилось покойно, чтобы ничто не отвлекало, больше того, нужна даже некоторая роскошь — свежая, чистая пища, а после тягот трудового дня — книги и музыка. Так почему бы не бросить дела и не пуститься к островам на собственном, специально снаряженном судне?

Конечно, для экспедиции требовались деньги. Хотя их отсутствие и смущало меня, дело было не только в этом. А две тысячи миль открытого океана между Штатами и Вест-Индией? А ураганы, а тайны навигации? И прежде всего, конечно, судно — как найти и снарядить его?

Но я загорелся идеей уже настолько, что послал письмо старому другу Уоли Колману. Как бы он посмотрел на такое путешествие? Я ждал ответа с нетерпением. Он не заставил себя ждать. «Я — за, — гласило письмо. — Когда отплываем?»

Я спешно закончил свои дела на Гаити и вернулся в Штаты.

В Америке все оказалось не так просто. Самой сложной проблемой было финансирование предприятия. Неделями и месяцами мы поджимались и экономили то на том, то на этом, пока не решили, что скопили достаточно. Затем надо было связаться с нужными людьми, окончательно договориться с музеем. Предстояло бесконечное обсуждение научных задач экспедиции и методов работы. Ночи напролет мы просиживали за картами, намечая маршрут, и это напоминало нам о тех давно минувших днях, когда мы

продельвали то же самое, но только в мечтах.

Различные практические соображения, в том числе финансовые, вскоре привели нас к выводу, что экспедиция должна быть небольшой. Аренда яхты и содержание команды были нам не по карману. С другой стороны, программа исследований предполагала, что нам придется заходить в бухты и гавани, недоступные для судов с большой осадкой. Значит, требовалось судно настолько малое, насколько позволял объем стоящих перед экспедицией задач.

В конце концов мы стали обладателями небольшого парусника и заручились поддержкой крупнейшего музея, не без страха думая о том, что затеяли. Но до самой экспедиции было еще далеко. Полтора года ушло только на то, чтобы достать судно. Мы не могли взять первое попавшееся: наш парусник должен был удовлетворять многим требованиям. Он должен был быть прочным, надежным и обладать хорошими мореходными качествами. В нем должны были быть удобные помещения для жилья и работы, место для запасов воды и продовольствия на длительный срок, чтобы иметь возможность свободно передвигаться. И, наконец, нам нужно было судно, которым в любую погоду мог бы управлять один человек. Найти такое судно было не легко. Мы обрыскали все побережье, весь Чесапикский залив. Ничего подходящего: нам попадалось одно старье, узкие, ветхие лоханки, слишком большие или слишком маленькие, — словом, все что угодно, только не то, что нужно. Наши поиски закончились совершенно неожиданно. На небольшой верфи в Оксфорде, в штате Мэриленд, мы наткнулись как раз на то, что требовалось. «Продается ли парусник?» Нам ответили, что не продается, потому что у хозяина тоже есть свои планы, но нам могут построить такой же. Не прошло и месяца, как мы заключили контракт.

Оказалось, что мы выбрали знаменитую модель, — точнее говоря, один из самых знаменитых типов парусников всех времен. Нашему судну, за исключением каюты и оборудования, предстояло быть точной копией знаменитого «Спрея» капитана Джошуа Слокама, который, как известно, в конце 1890-х годов первый совершил кругосветное путешествие в одиночку. Этим он создал прецедент в истории мореплавания и с очевидностью доказал, что плавание в открытом океане на малых парусных судах не только возможно, но и безопасно. За это ему честь и хвала. Время показало, что если бы и нам захотелось обойти вокруг света, мы не могли бы выбрать для этого лучшего судна.

Но это было только начало. Затем потянулись долгие месяцы ожидания, столь тягостного для людей, которым не терпится поскорее отправиться в путь; мы без конца составляли и переделывали планы будущей работы, обсуждали научную проблематику, вдаваясь в мельчайшие детали. Успех любой экспедиции, большой или малой, в особенности столь рискованной, как наша, в большой мере зависит от того, как она подготовлена. Мы будем целые дни, даже недели вдали от обитаемых мест. Впереди штормы и полосы безветрия, впереди неизведанные земли — все нужно предусмотреть, во всем придется полагаться только на себя. И самое главное — на нашем маленьком тридцативосьмифутовом суденышке мы должны собрать и доставить в сохранности все научные образцы, которые удастся раздобыть.

В жизни почти каждого человека бывают моменты, когда он останавливается в нерешительности и задумывается над тем, что ему предстоит. Случалось, пожалуй, что и у нас с Колманом тряслись поджилки. Нас не пугали лишения, которые предстояло испытать, — скитания, туризм, байдарочные походы закалили нас; но слишком велика была ответственность перед музеем, хранитель которого настолько поверил в нашу идею, что решил оказать нам максимальное содействие, доверив ценное оборудование. В случае провала предприятия это грозило ему уймой неприятностей. Мы горели желанием доказать, что наша необычная экспедиция действительно будет плодотворной. Необычной она была потому, что почти все морские экспедиции совершаются на больших шхунах или яхтах, укомплектованных командой и целым штатом научных сотрудников. Но естествоиспытатели средней руки в большинстве случаев люди небогатые, и такого рода путешествия им не по карману. Мы хотели доказать, что два человека на небольшом судне могут с успехом

отправиться в большое плавание и не только вернуться живыми и невредимыми при любых условиях, но и добиться серьезных научных результатов. Возможно ли это? Многие сомневались.

Однако наша мечта росла, как растет, скатываясь с горы, снежный ком. Мы упорно шли к цели и в захлестнувшем нас потоке забот забыли все сомнения. Сперва мы разместили оборудование так, чтобы оно всегда находилось под рукой. Затем продовольствие — запас на полтора года — как по волшебству исчезло в трюме, а ведь когда два грузовика с провизией появились в балтиморском доке, мы стояли и с сомнением покачивали головой. Мы просто не представляли себе, как разместить всю эту массу на тридцативосьмифутовом суденышке, половина которого занята под каюту и лабораторию. Но мы разместили не только это. За провизией последовали инструменты для сбора экспонатов, жестянки для консервирования, сетки, банки, этикетки для образцов и прочая утварь. Потом — ружья и ящики с патронами в количестве, достаточном для небольшого мятежа, пишущие машинки, фотоаппараты, пленка в водонепроницаемых коробках, банки с растворами и еще тысяча и одна вещь, необходимая в экспедиции. Все это было поглощено чревом нашего судна и рассовано по специально сооруженным шкафам и полкам таким образом, чтобы всегда находиться под рукой.

Пролетело лето, потом ранняя осень, наступил ноябрь; день отплытия на носу. Мы с гордостью взирали на парусник. Мы не пожалели трудов, чтобы он стал воплощением нашей мечты. И мечта превратилась в реальность, приняв формы стройных мачт, тугих парусов и мощного корпуса. Теперь мы бы не поменялись местами с самым богатым банкиром Уолл-стрита.

Не было ни фанфар, ни барабанного боя, когда наш парусник покидал Балтимор. Никем не замеченный, кроме разве кучки портовых бездельников, он тихо отошел от причала и заскользил по течению, миновал грязные пирсы Балтимора, громадные верфи и в клубящихся облаках дыма взял курс в открытое море. Неясные очертания высоких домов постепенно сливались и наконец вовсе исчезли из вида. С севера потянул свежий ветер, наполнил паруса, и нос корабля весело врезался в воду. Струи воды из-под киля ударились о руль, и штурвал мелко задрожал. Наконец-то наш парусник плывет. Пусть он невелик, зато над головой у нас белые паруса, а впереди — Вест-Индия!

Не успели мы выйти из балтиморского порта, не успел стихнуть печальный звон колоколов на бакенах у входа в гавань, как дымка со стороны берега стала густеть, опускаться все ниже и ниже, пока все вокруг не затянула белая влажная пелена, целиком скрывшая от нас берег. Ветер затих. Проходил час за часом, а мы то стояли без движения, то медленно тащились по заливу, руководствуясь только компасом. Отовсюду доносились хриплые гудки невидимых пароходов, пробирающихся в порт, и приглушенный звон колоколов тех, что стояли на месте, выжидая, пока рассеется туман.

Только раз из тумана вырос черный, засиженный чайками буй. Какое-то мгновение он высился над фальшбортом, затем снова исчез. По надписи на нем мы уточнили курс и с тех пор в продолжение пяти дней не видели ничего, кроме неподвижной воды за бортом да непроглядной, клубящейся мглы.

Спустившись в каюту, мы поговорили немного, выкурили по трубке и легли спать. Около полуночи я проснулся. Мне показалось, что что-то неладно. Колман тоже не спал. Снаружи доносился плеск волн о корпус, но звук был какой-то странный. В одних пижамах мы вышли на палубу. Кругом темно, только тусклый штаговый фонарь немного разгонял темноту. Туман рассеялся, но мрак стоял такой, что в десяти шагах ничего нельзя было разглядеть. Мы заметили, что хотя тумана и нет, звезд не видно. Подошли к якорной цепи. Она висела отвесно. Мы вытянули ее на фут, два, три — дальше обрыв. Она лопнула у самой ватерлинии — нас носило по заливу.

И тут начался шторм. Сначала из темноты налетел пронизывающий холодный ветер, но шквал вскоре стих и сменился полным штилем. Пошел дождь, капли забулькали, ударяясь о воду. Мы спешно взяли три рифа. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы нас снесло

через залив к берегу. Это означало бы крушение всей экспедиции. Мы еще возились с парусами, когда снова налетел шквал; резкий, холодный ветер промчался над водой, разбивая тучи брызг о корпус судна. Захлопала мокрая парусина, заскрежетали блоки, воздух запел в тугих снастях. Парусник накренился и, как испуганный зверь, рванулся в темноту.

Передо мной в слабом свете штагового фонаря (ходовые огни — красный и зеленый — мы еще не поставили) мелькнул Колман — мокрый, в мокрой пижаме, цепляющийся за шкоты кливера. И тут разверзся ад кромешный. Взять рифы на бизани мы не успели, ее сорвало почти целиком, и она держалась только за один угол, хлопая и гремя так, как может греметь и хлопать во время шторма мокрый парус. Казалось, что бизань-мачта и рангоут вот-вот будут снесены. Поставив судно против ветра, мы ринулись на корму. Парус хлестнул Колмана по плечам. Он растянулся на скользкой палубе, но встал и снова бросился к нему. Это было все равно, что бороться в темноте с разъяренным быком. Жесткая шкаторина била, хлестала, молотила по телу, по рукам, по ногам. Мы попытались накинуть линь на мечущуюся бизань, и это нам почти удалось, но новый свирепый порыв ветра вырвал его из наших рук. Колман опять мелькнул передо мной уже без пижамы, только на бедрах болтались остатки брюк. По его голому телу струилась вода, волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу. Несмотря на страшный холод, пот катил с нас градом. Пальцы были разбиты в кровь гафелем, на котором продолжал неистово трепыхаться парус. Наконец мы накинули на него линь и стали умирять его, притягивая сантиметр за сантиметром, пока наконец не привязали.

Мы ослабили натянутые, как струны, шкоты, с минуту отдохнули и повернули парусник навстречу шторму. Положение было отчаянное. Позади, быть может, совсем рядом, — не защищенный от ветра берег, а впереди — лабиринт мелей. Только бы заметить маяк. Ища укрытия, мы шли навстречу ветру. Вот наконец и маяк — это остров Шарпа, возле устья реки Чоптанк. Мы повернули туда.

С каждой минутой шторм усиливался, и постепенно мы оказались в самом центре ревущего пенного ада. Если Чесапикский залив ведет себя так, чего же ждать от океана? Не дай бог, если мы и там попадем в такую же переделку. Мы боролись с ветром всю ночь и едва удерживались на месте; наконец тусклый луч пробился из-за облаков и осветил устье реки. Мы тщетно пытались войти в него. Нас снова и снова отбрасывало назад, но мы делали все новые попытки. День стал клониться к вечеру, а шторм продолжал усиливаться. Отчаявшись, мы решили капитулировать, пока было еще светло.

Бросили якорь около самого берега. Остров, находившийся в нескольких милях, защищал нас от ветра. Мы надеялись, что запасной якорь выдержит. Мы оставались на месте три дня, выжидая, пока кончится шторм, и нам многое пришлось перетерпеть, прежде чем удалось выйти в открытый океан.

Если мы когда-либо могли усомниться, что достигнем Вест-Индии, то для сомнений наступил самый подходящий момент. И все же мы не сомневались. Мы выдержали шторм, и это придавало нам духу. Однако штормом лишь открывался целый ряд постигших нас неудач. До океана еще добрая сотня миль — половина Чесапикского залива. В Оксфорде нам предстояло заново покрыть днище медной краской. Но оказалось, что все против нас. Когда мы пришли в Оксфорд, выяснилось, что шторм отогнал воду от берегов, и она стояла так низко, что подойти к стапелям было невозможно. Пока мы ожидали подъема воды, разразился новый шторм — на этот раз он налетел с северо-запада — и отогнал воду еще дальше. Мы долго не могли получить и заказанный нами новый якорь с цепью, хотя стихии тут были как будто ни при чем.

Подошла середина ноября, а мы еще не были готовы к плаванию.

Но рано или поздно всему приходит конец, и вот наступил день, когда Наш парусник, приведенный в полный порядок, соскользнул со стапелей в тихие воды реки Тред Авон. Мы назвали его «Василиск»,¹ по имени тропической ящерицы из Центральной Америки,

¹ Василиском античные натуралисты называли фантастическое чудовище — повелителя змеиного царства.

которая, как клоп-водомерка, может бегать по поверхности воды. Мы надеялись, что «Василиск» так же, как и его предшественник «Спрей», впишет свое имя в историю мореходства. В этот день в наше чувство гордости не вкрадывалось ни тени сомнения. Солнце ярко светило, все вокруг дышало жизнью. Ласковый ветерок наполнил паруса и погнал парусник по заливу. Мы миновали флотилию лодок, и ловцы устриц приветствовали нас, потому что все на побережье уже знали о нашем предприятии. Казалось, злключения остались позади. Но так только казалось. Вечером, когда солнце село в оранжево-багровом зареве, спустился густой туман и погрузил нас в белую непроглядную мглу. Снова по заливу разнесся печальный звон судовых колоколов. Прошел день, другой, а туман по-прежнему застилал все вокруг, заглушая даже возню уток, плескавшихся где-то поблизости.

Мы все же пытались продвигаться вперед, ловя вялое дуновение ветра каждым дюймом паруса. Нами овладело уныние; бесконечные отсрочки и задержки нагоняли тоску.

Минула ночь, другая, туман все не рассеивался. Однажды мы прошли мимо большого судна. Сначала донесся звон склянок, затем оно и само возникло из тумана и через мгновение снова растворилось в нем. С далекого берега прилетела полосатая сова,² она села на верхушку мачты и поужинала зуйком-кильдиром.³ Все вокруг нас словно оцепенело, и только прозрачная медуза толчками проплыла около самого борта. Когда же наконец рассеется туман?..

Когда он рассеялся, перед нами открылся безбрежный сверкающий океан, и мы почувствовали, как мягко качают судно длинные валы, бегущие из открытого моря через проход между двумя мысами, на которых виднелись маяки-близнецы.

Когда мы достигли Хэмптона (в штате Виргиния), расположенного на побережье океана, нас буквально затопил поток писем от людей, желавших принять участие в нашей экспедиции.

Слухи о ней дошли до прессы, и пока мы пробивались сквозь ноябрьский туман, газеты разнесли весть по всей стране. Отовсюду — из маленьких портов на атлантическом побережье, с голубых Аппалачей, из прерий Среднего Запада — приходили письма, напечатанные на машинке, неразборчиво нацарапанные, написанные каллиграфическим почерком, — все просили об одном: возьмите нас с собой! Возьмите нас собой! Мы согласны работать задаром, драить палубу, делать все что угодно — только возьмите. Так велики чары далеких островов, морских странствий, белых парусов! Некоторые из этих писем были весьма красноречивы, так хотелось людям уплыть.

По мнению Плиния, это обычная змея, но рожденная с золотой короной на голове.

Зоологи нового времени назвали василиском очень странную на вид и интересную ящерицу тропической Америки — *Basiliscus americanus*. Это крупная ящерица, длиной до 80 сантиметров. Ее голову, словно корона, украшает высокий кожистый гребень, который животное может раздувать. Днем василиск обычно прячется в ветвях деревьев, свисающих над водой. Спасаясь от опасности, он нередко прыгает в воду и, загребая лапами, быстро плавает. Василиск может бегать на задних ногах: его длинные пальцы окаймлены роговой бахромой, которая удерживает ящерицу в вертикальном положении, даже когда она бежит по поверхности воды, словно клоп-водомерка.

² Полосатая сова (*Strix varia*) — близкий родич наших неазиатских, обитает в сырых лесах Канады, США (за исключением западных штатов) и Мексики. Довольно обычная здесь птица. Отличается от других североамериканских сов своеобразной окраской: на горле и груди темная штриховка идет поперек тела, а на брюхе — вдоль. Часто охотится и днем, особенно в туман. Питается мышами и мелкими птицами. Гнездится в дуплах или в брошенных гнездах хищных птиц, ворон и белок.

³ Кильдир — североамериканский зук (*Charadrius vociferus*), бурый сверху, беловатый снизу, с двумя черными полосами на груди и ржаво-рыжим надхвостьем. Распространен по всей Северной Америке до Большого Невольничьего озера на севере Канады. Встречается на Кубе и Багамских островах. Крик его можно передать звуками «киль-ди, киль-ди» — отсюда и пошло название кильдир. Питается насекомыми, червями и мелкими моллюсками.

Разумеется, мы ничем не могли помочь этим людям. Чтобы взять хотя бы часть их, понадобился бы целый пароход. Но мы сочувствовали им — тем, кому не суждено вырваться из рутины повседневных забот.

Теперь, когда мы стояли у выхода в океан, нам особенно не терпелось отправиться в путь. Ведь чем позже мы тронемся, тем больше вероятность того, что нам придется плыть при плохой погоде. Что нас ждет впереди?

Мы, два горожанина, выходим в открытый океан на небольшом паруснике. Для начала нам надо покрыть минимум восемьсот миль без захода в порт. Конечно, это не бог весть какой подвиг. Капитан Слокам на таком же судне в одиночку обошел вокруг света. Но Слокам был моряком с многолетним опытом, а мы — любители в полном смысле этого слова.

Правда, мне и раньше приходилось плавать в море, но отнюдь не в качестве моряка. Колман же и в глаза не видал океана. Кроме того, нам предстояла немалая научная работа. Чтобы обследовать все намеченные по программе острова, нужно было проделать путь в десять тысяч миль. А карты этих мест не слишком подробны. Дело осложнялось еще и тем, что приближалась зима. По утрам палуба покрывалась наледью, становилась скользкой. Мы с нетерпением следили за сообщениями о погоде — нам было нужно ясное небо и северо-западный ветер. Наконец пришел прогноз — ветер умеренный, ясно.

Глава II В МОРЕ

Мы живем в кирпичных ущельях больших городов или на тихих лужайках ферм и, усыпленные размеренностью нашего существования, забываем о том, что существует море, что в двух шагах от нашего Манхаттана, Филадельфии или Бостона раскинулись бескрайние просторы вод, бурные, безлюдные, необъятные равнины. В своем самодовольстве мы забываем, что именно море — самая существенная часть Земли, что оно оставалось неизменным на протяжении многих тысячелетий, меж тем как континенты появлялись и исчезали, поднимались из моря и снова тонули в нем.

Море — последний рубеж дикой природы. Здесь в непрерывной смене настроений она выступает перед нами во всей широте своих страстей. Никакая солнечная лужайка с ее цветочками и порхающими мотыльками не может выглядеть более мирно, чем спокойное море. И ничто на земле не сравнится по своей энергии и мощи с морем в период пассатов. Темно-синие валы тяжело бегут по нему, на их вершинах пляшут и пенятся белые барашки.

А когда природа, словно задумавшись, посылает на море туман и тучи, краски сгущаются и безбрежная равнина вод дышит печалью и унынием. Море может быть и свирепым, и тогда со всех четырех сторон света с ревом несется ураган, напоминая человеку, что место его — на суше. Разбушевавшийся океан — на Земле нет зрелища более величественного, более захватывающего: волны, как горы, громоздятся одна на другую, вода кипит и кружится пенистыми водоворотами. Только тот, кому довелось пережить большой шторм и принять вызов океана, — только тот может понять, что все это значит.

Мы забыли обо всем этом. Но стоило нам отойти от берега — и то, что дремало в нас, проснулось и овладело всем нашим существом. В бледной дымке зари мы подняли паруса, и мягкий ветерок, наполнив их, вынес нас на своих крыльях из Хэмптон Роде. Утро было холодное и тихое, слышался только слабый плеск волн о корпус. Около Норфолка сквозь дымку мы различили словно застывшие очертания четырехмачтовой шхуны «Пернел Т. Уайт».

Ее паруса поднялись один за другим и туго натянулись под ветром. Она была прекрасна — с парусами, розовыми в лучах только что взошедшего солнца, и белым корпусом, отражающимся в зеленой воде. Кто бы мог подумать, что всего через восемь дней она превратится в беспомощную развалину, а спустя еще три года, заново

отремонтированная, погибнет вместе со своим капитаном и всей командой у мыса Каролина.

Бок о бок мы отправились в путь — гордо высящаяся шхуна и крохотный иол. Наши мачты едва доходили до лееров на ее борту — так, во всяком случае, нам показалось, когда она величественно пронеслась мимо и направилась в сторону восходящего солнца. Мы наблюдали за ней с дружеским участием — ведь ее создали те же руки, которые с таким старанием строили наше суденышко.

В пятнадцати милях впереди лежали два мыса, едва различимые в дымке, — выход в океан. Позади остались Тимбл Шол, Уиллоуби, но затем обещанный северо-западный ветер стих, и мы задрейфовали. Начался прилив, и нас понесло обратно. Казалось, нам вообще не суждено выбраться из Чесапикского залива. Но когда наше раздражение достигло предела, провидению, по всей видимости, надоело водить нас за нос, и, смягчившись, оно послало нам на подмогу судно береговой охраны. Заметив, как нас относит приливом обратно к берегу, капитан подошел к нам, чтобы узнать, куда мы держим путь. Мы ответили, что направляемся к острову Сан-Сальвадор. После этого капитан произнес что-то вроде «вот так-так!», дал задний ход и приказал матросу бросить конец, а нам — его закрепить. Еще не понимая, в чем дело, мы подчинились и минутой позже обнаружили, что со скоростью восьми узлов летим в открытое море. Вскоре мы миновали черно-белый маяк на мысе Генри, обогнули кромку суши и вышли на простор океана. Нас, наверно, буксировали бы еще дальше, но конец оборвался. Несколько человек поднялись к нам на борт, проверили бумаги и пожелали счастливого плавания. Затем, отсалютовав свистками и целым хором «до свидания», их судно ушло. Словно вняв нашим молитвам, подул ветер и понес парусник в просторы Атлантики.

Что было начиная с этого момента и до трех часов ночи, я плохо помню. Большинство событий за этот промежуток времени просто выпало из моей памяти, и их удалось восстановить только по рассказам и записям Колмана.

Кажется, после того, как береговая охрана ушла, мы взяли курс на ост-зюйд-ост, в открытый океан, чтобы подальше уйти от земли на тот случай, если ветер переменится. Берег постепенно исчезал и скоро совсем скрылся из виду. Солнце садилось в тяжелых тучах, темной массой громоздившихся на горизонте. Но северозападный ветер дул с прежней силой, а больше нам ничего не было нужно. Наступила ночь, зажглись звезды — на суше я никогда не видел таких ясных звезд. Они были повсюду, кроме той части неба, которая тонула в совершенно беспросветном сумраке, если не считать слабых отблесков далекого маяка. Мы несли вахту по очереди — пока один находился на палубе, другой спал в каюте. Прошла первая вахта, вторая — и все это время мрак распространялся по небу, скрадывая одну звезду за другой, заслоняя Млечный Путь, покрывая зенит своим темным покрывалом. К началу третьей вахты весь небосклон пропал во тьме, и мы остались лишь при ходовых огнях да слабом огоньке нактоуза. Вокруг простиралась сплошная чернота, которая казалась живой благодаря мириадам разнообразнейших звуков, доносившихся с поверхности воды.

Хотя было холодно и дул резкий ветер, на океане словно лежала какая-то гнетущая тяжесть, и ощущение тяжести увеличилось еще больше, когда к концу третьей вахты ветер спал и переменял направление. Тем не менее нас это несколько не встревожило, и мы спокойно продолжали путь. На вахте стоял Колман. Когда ветер переменялся, он изменил положение руля и угол постановки парусов. Это было около двух часов ночи. В три он спустился в каюту и растолкал меня.

— Выйди на палубу, — сказал он, — похоже, надвигается шторм.

И действительно, даже в каюте можно было слышать, что в хоре звуков, доносящихся с воды, появился новый, беспокойный тенор, перекрывавший шепот волн.

Мы взглянули на барометр — он стоял очень низко. Я никогда не видел, чтобы барометр стоял так низко. Торопливо натянув плащи и куртки, мы вышли на палубу. Со стороны моря бежали ровные, большие валы, слишком большие для ветра, который сейчас дул. Мы знали, что это означает.

Я стал у штурвала рядом с Колманом.

— Пожалуй, нужно убрать часть парусов, — пробормотал я. — Пока не поздно.

Больше я ничего не успел сказать — случайная волна, вырвавшись из темноты, подхватила корму, подняла ее высоко над водой и, пройдя к носу, бросила суденышко на бок.

Когда корма поднялась, громадный грот и тяжелый гик с тошнотворным треском перекинулись на середину. Сотни фунтов холста, дерева и железа, брошенные сильным ветром, обрушились прямо на меня, и, потеряв сознание, я повис на леерах.

Сколько я лежал, не знаю. Колман ощупью нашел мое неподвижное тело, перетащил к штурвалу и сел там, одной ногой придерживая меня, чтобы я не свалился за борт. Потом с моря пришел стонущий звук, нараставший с каждым мгновением. Этот дикий хор раздираемых ветром волн невозможно описать словами; только тот, кто сам слышал его, может представить себе, что это такое. Началось то, чего мы больше всего боялись.

Принеся с собой волну холодного воздуха, разразился шторм. Наше крохотное суденышко с неубранными парусами накренилось под порывом ветра, накренилось так, что иллюминаторы ушли под воду, и казалось, мы вот-вот перевернемся. Среди хлопьев пены и бурлящей воды, удерживая мое тело, Колман пытался убавить паруса; он повернул штурвал и развернул судно против волн. Самое поразительное при этом было то, что наши паруса не порвало. Они уцелели просто чудом. Еще в Чесапикском заливе ловцы устриц и яхтсманы смеялись над нашим тяжелым такелажем и парусами, говоря, что они впору трехмачтовой шхуне. Но наша осторожность оказалась совсем не лишней. Она спасла нас той ночью и не раз спасала впоследствии.

Прошло целых полчаса, прежде чем я очнулся. Сначала я очень смутно сознавал, что происходит, но по мере того, как холодные волны одна за другой перекатывались через меня и стекали по желобам, сознание прояснялось. Голова мучительно болела. Я страшно замерз — я лежал промокший до последней нитки на ледящем ветру.

Смутно помню ногу Колмана, прижатую к моему боку, давление ее то ослабевает, то усиливается — он занят штурвалом. Я пытался вспомнить, что со мною случилось, но не смог, не могу и по сей день. Я встал на колени, снова упал, потом, преодолевая боль, с трудом сел. Мне казалось, словно у меня сорвало с костей мышцы шеи и плеч. Прошло еще десять минут, прежде чем я полностью пришел в себя. И тогда только, несмотря на ужасную боль, до меня стало доходить, насколько серьезно наше положение.

Необходимо было убавить паруса.

Увидев, что я уже сам могу о себе позаботиться, Колман поставил судно по ветру, чтобы убавить паруса. Брать рифы в хорошую погоду — дело несложное и на таком маленьком паруснике, как наш, занимает не больше пятнадцати-двадцати минут; но в разгар шторма, когда судно швыряет и по всей палубе прокатываются волны, это нелегкая работа. Вдобавок хлопанье парусов отдавалось у меня в голове буквально взрывами боли.

Труднее всего было убрать грот. Это потребовало от нас обоих предельного напряжения. Все дело было в ветре — он натягивал парус со страшной силой. Лишь используя промежутки между шквалами, когда натяжение паруса ослабевало, нам удалось подтянуть его и убрать.

Паруса мы спасли. Главная опасность миновала. Мы до того измучились, что бессильно опустили прямо на палубу, чтобы перевести дух. Наши пальцы и ладони были ободраны.

Даже теперь, когда паруса были зарифлены, опасность еще не миновала. Нужно было уходить дальше в море, потому что ветер дул с северо-востока, а мы были от берега не более чем в сорока милях. Сорок миль — совсем немного при таком свирепом ветре; нас может выбросить на берег за считанные часы. Нам очень хотелось лечь в дрейф, но это было рискованно, и мы продолжали уходить во тьме в открытое море.

Прошла ночь, наступило утро, но шторм не утихал. Наоборот, он все усиливался, тучи неслись над самой водой. В проблесках занимающегося дня мы заметили, что океан уже не зеленый, а индиговый, тускло-синяя вода проглядывала между клочьями пены.

По-видимому, мы вошли в Гольфстрим. Словно в подтверждение этого, желтая прядь саргассовых водорослей⁴ проплыла мимо и скрылась. Это нас обрадовало. Теперь можно было лечь в дрейф. Мы промокли и замерзли, пальцы окоченели от холода, отдых был необходим.

С наступлением дня ветер еще усилился, хотя и казалось, что это невозможно. Он внезапно переменял направление и подул с севера. Колман, чтобы не упасть за борт, схватился за леер. Неожиданный порыв ветра стер с поверхности воды лоскуты пены. Палуба накренилась так, что на ней невозможно стало стоять, и мы упали на колени. Конвульсивная дрожь потрясла весь корпус от руля до бушприта, подветренная сторона палубы ушла в воду, и судно рванулось вперед.

Но это было только начало. В первые мгновения мы едва могли видеть нос судна, так густа была пена. Грохот стоял оглушительный. Море стонало: ничего подобного нам слышать не приходилось. Это был вопль терзаемой ветром воды и низкий рев огромных валов. Его могут слышать лишь люди, плавающие на небольших судах, палуба которых возвышается над водой не более чем на фут. Эта неопишуемая какофония слышна лишь у самой поверхности воды, и те, кто путешествует на больших пароходах, не имеют о ней ни малейшего представления.

С тех пор прошло десять лет, городская жизнь изгладила из памяти многие подробности, но этот шум до сих пор стоит у нас в ушах. Я бы сказал, самый страшный момент во время шторма — это когда сквозь туман начинаешь различать контуры набегающей волны. Волна утончается сверху, загибается и с яростным ревом сметает все на своем пути. Глухой, угрюмый и мощный рев. Вместе с ним раздается низкий тоскливый свист в снастях, то нарастающий, то падающий со скоростью урагана. С этим свистом может сравниться только лишь вой бурана под стрехой крыши. Само судно тоже полно звуков — громко скрипит дерево, стонут мачты и рангоут, поют натянутые снасти, а из-под палубы, где болтается в трюме незакрепленный груз, доносится стук и грохот.

Этот порыв ветра едва не прикончил нас. Но «Василиск» выдержал и остался невредим. Мы с Колманом ослабели от холода и усталости. Наверху оставаться было невозможно: громадные волны, перекатывавшиеся через палубу, грозили в любую минуту смыть нас за борт. Но мы были подготовлены к такой ситуации и освободили плавучий якорь, укрепленный на крыше каюты; привязав его к толстому тросу, мы выбросили якорь за борт с носа. Судно несло кормой вперед, и большой парусиновый конус быстро наполнялся водой, по мере того, как нас сносило ветром. Трос натянулся, и судно повернулось носом к ветру. Теперь мы могли сойти в каюту и предоставить шторму бесноваться сколько угодно.

⁴ Саргассы — желто-бурые небольшие водоросли, растущие у берегов тропических и субтропических стран. На ветвях саргассов развиваются воздухоносные камеры, которые, как поплавки, поддерживают их в воде в вертикальном положении. Эти поплавки видом своим напоминают мелкий виноград, по-португальски саргасо, откуда и пошло название водорослей.

Часто плавучесть воздухоносных пузырьков превышает силу «прилипания» к камню корней водоросли — ризоидов, и растение всплывает. Океанские течения, например Гольфстрим, несут миллионы тонн саргассовых водорослей, которые даже размножаются отводками во время своего тысячемильного дрейфа.

Когда каравеллы Колумба в 1492 году приближались к Америке, моряки были напуганы бесчисленным множеством плавающих водорослей: испанцы решили, что где-то поблизости находятся подводные рифы. Но до рифов было еще очень далеко. Это морские течения принесли сюда, на северо-запад Атлантики, бурую «траву». Испанцы назвали это место Травянистым, а позднее Саргассовым морем.

Саргассово море, прозванное также «Морем без берегов», располагается гигантским овалом длиной в пять и шириной в две тысячи километров, между 23 и 35° северной широты, 30 и 68° западной долготы. Глубина Саргассова моря — две-шесть тысяч метров. Окаймляют его океанские течения: с юга — Северозэкваториальное, с запада и севера — Гольфстрим, а с востока — Канарское течение. В центре вода совершенно неподвижна и удивительно прозрачна — самая, пожалуй, прозрачная в мире. Над морем всегда ясное небо, погода здесь обычно штилевая. А в лазурных волнах плавают бесчисленные «кустики» саргассов: на каждом квадратном километре по 10–20 тысяч, то есть одна-две тонны. Всего плавает приблизительно 12–15 миллионов тонн саргассовых водорослей.

Наверху делать было больше нечего. Ветер настолько усилился, что держаться на ногах на палубе стало совершенно невозможно. Мы открыли люк, быстро скользнули вниз и захлопнули его, прежде чем набежала новая волна.

Во что превратилась наша удобная каюта! В ней царил кавардак. Большая часть груза, который мы так старательно прятали и упаковывали, была разметана. Котелки и сковородки, бочонок с картофелем, конфорки от камбуза, блокноты, карты и жестяные банки навалом лежали на полу. При каждом крене они перекатывались из одного конца каюты в другой, на мгновение замирали на месте и снова неслись обратно. И так без конца — в грохоте, звоне стекла и тупом стуке металла. Не могу понять, каким образом всей этой уйме вещей удалось вырваться из заколоченных ящиков. Но факт остается фактом — они вырвались.

Сам камбуз доставил нам немало неприятностей. Его железные дверцы хлопали с таким грохотом, какой может устроить разве что бригада клепальщиков на сверхурочной работе. Вода лилась через трубу и растекалась по каюте. Пришлось снова прогуляться на палубу с парусиной и веревками. Мы попытались водворить на место хотя бы часть валявшихся вещей, но безуспешно. Пока мы ловили и закрепляли один предмет, срывался другой. Конфорки, которые мы положили на место, выскочили при первом же сильном крене, а мы сами покатались в дальний угол каюты и столкнулись друг с другом. Удержаться на ногах было невозможно. Лучше всего было уцепиться за что-нибудь и ждать временного затишья. А еще лучше ползать. Но даже и тогда нас бросало от одной переборки к другой и обратно. В конце концов мы сдались и решили оставить все как есть.

Наши койки были сделаны из холста, натянутого на металлическую раму. В промежутках между волнами, стоя па коленях, мы ослабили холст, чтобы он провис, и влезли в образовавшиеся кошельки. Иначе на койке нельзя было улежать. Но даже и теперь приходилось все время держаться за края, чтобы не очутиться на полу. Спать мы не могли, задремать и то было трудно. Монотонной чередой проходили часы. Время от времени сквозь вой ветра мы слышали, как что-то рвется и раскалывается наверху. Снова и снова на палубу обрушивались громадные волны. Через иллюминаторы мы видели, как они приближаются. Слава богу, у нас стояли настоящие пароходные иллюминаторы из стекла в два сантиметра толщиной, а не из того хрупкого, которое бывает на маленьких судах. Мы видели, как зарывается нос, как волна громоздится все выше и выше, как ее гребень загибается и обрушивается на палубу темно- синей мешаниной воды и пены. Когда волна накрывала судно, казалось, будто мы налетали на каменную стену. Как только железо и дерево выдерживали такие удары — уму непостижимо! Когда масса воды перекатывалась через палубу, в каюте темнело и иллюминаторы становились зелеными светящимися проемами, в которых плясали сотни пузырьков. Потом судно, вздрагивая, выпрямлялось и сбрасывало с палубы воду и пену.

Примерно в два часа с глухим треском лопнул трос плавучего якоря. Наш парусник мгновенно развернулся бортом к ветру, и на палубу обрушилась чудовищная волна.

Я полетел с койки через всю каюту прямо на Колмана. При обратном крене мы оба очутились на полу, с трудом нам удалось подняться на ноги, и, как только волна схлынула, мы выскочили на палубу, быстро захлопнув за собой люк.

Нашим глазам предстала картина ужасающего опустошения. Ватер-бакштаги с одной стороны оторвались, перты болтались как попало. Часть дубовых поручней разлетелась в щепы. Два бочонка с пресной водой, привязанные к деревянным подставкам, разбились вдребезги; якорная цепь, вместо того чтобы лежать свернутой в бухту, свисала за борт. Весила она добрую тонну, и, выбирая ее, мы чуть не надорвались. Мы отклепали цепь от якоря еще до ухода из Хэмптон Роде, и теперь никак не могли накрутить ее обратно брашпилем.

Пока мы укрощали цепь, судно развернулось и, несмотря на то что паруса были убраны, понеслось по ветру. Это не сулило ничего хорошего. Где-то недалеко на западе, среди мелей и ревуших бурунов лежал мыс Гаттерас. Поэтому нам не оставалось ничего иного, как поставить паруса и повернуть против ветра. Взяв четыре рифа, мы снова пошли навстречу

шторму.

Начало темнеть. За все это время мы ничего не ели и даже ни разу не вспомнили о пище. Колман слазил в трюм и принес банку мясных консервов, которые мы проглотили, даже не разогрев.

Описывая свое кругосветное плавание на «Спрее», капитан Джошуа Слокам утверждает, что на протяжении сотен миль он не прикасался к штурвалу и судно само держало курс столь же точно, как если бы им управлял человек — при условии, конечно, что ветер не менял направления. Для этого нужно было установить руль и паруса таким образом, чтобы добиться абсолютного равновесия всех сил, действующих на судно. Правдивость этого рассказа не раз подвергалась сомнениям, и совершенно напрасно. Этой особенности парусного судна мы обязаны жизнью.

В тот вечер, измученные и продрогшие до мозга костей, не имея сил оставаться на палубе, мы закрепили руль и паруса так, как это делал капитан Слокам, и сквозь беснующийся шторм наш парусник прямо, как стрела, направился к центру океана.

Его трепал самый свирепый за 1929–1930 годы зимний шторм и тем не менее он шел всю ночь сам, никем не управляемый. За многие мили от нас большая шхуна «Пернел Т. Уайт», вместе с которой мы выходили в море, все еще продолжала безнадежную борьбу с ураганом. На юге и на севере, по всему безбрежному Атлантическому океану суда слали сигналы бедствия или тащились в порт со снесенными надстройками и развороченными палубами. А мы, словно живое свидетельство того, что старый капитан не лгал, продолжали идти вперед, наперекор огромным волнам, то взлетая на их гребни, то проваливаясь в глубокие долины между ними. Да, «Василиск» был стойкое суденышко. Побольше бы таких, как он!

Так прошел второй день шторма, третий, и когда в сером сумраке занялся четвертый, мы уже не верили, что доживем до вечера. Мы до того измучились, что едва могли ползать из каюты на палубу и обратно. Работа со шкотами требовала таких усилий, что каждый раз приходилось минут пятнадцать-двадцать лежать на палубе, чтобы отдышаться. Ветер не ослабевал ни на мгновение, на волны было просто страшно смотреть. Они громоздились все выше и выше, казалось, они хотят достать до неба. Мы чувствовали себя ничтожными и беспомощными. Одна из волн сломала верхушку мачты. Мачта в двенадцать метров восемнадцать сантиметров, а волна поднялась на целый метр выше нее! Колман в это время был внизу, а я стоял у штурвала и видел, как это произошло. Громадная стена воды выросла перед судном, выросла так внезапно, что, казалось, была выброшена из глубины. За какую-то долю секунды я разглядел, как просвечивает ее верхушка, разглядел пряди саргассовых водорослей высоко над головой. Потом с оглушительным грохотом волна обрушилась вниз. Она ударила по палубе, отбросила меня на кормовые леера и погребла судно под тоннами воды. Помню только, как я, захлебываясь, пытался встать на ноги, а вода все лилась и лилась через корму.

Минуту спустя ошеломленный Колман осторожно приоткрыл люк. Он был похож на пьяного, на лице у него красовалась огромная ссадина. Когда налетела волна, он лежал на койке. Внезапно свет померк, и на палубу обрушилась гора воды. Через щели люка вода потоками хлынула в каюту. С минуту было темно, затем невероятный крен сбросил Колмана с койки. Он вылез на палубу в полной уверенности, что меня смыло за борт. Три таких вала обрушились на нас этой ночью, расшатывая рангоут и открывая новые пазы в палубе. Тогда-то мы и увидели, как картина «Гольфстрим» плавает в воде. В воде самого Гольфстрима! Настала очередь моря посмеяться над нами.

Хотя мы уже не рассчитывали пережить эту ночь, судно продолжало держаться и уходило все дальше и дальше в океан. Все это время у нас не было никаких ориентиров, и мы могли лишь приблизительно считать пройденный путь. Наконец мы решили, что уже можно повернуть по ветру. Как выразился Колман: «Если уж нам суждено отправиться к господу богу, то лучше лететь». Идти по ветру было легче, но и опаснее. Опасен был поворот фордевинд, и вдобавок мы рисковали, что волна ударит нас в корму. Но теперь нам

было все равно. Только бы не идти против шторма. Много часов изнурительной гонки и ни малейших признаков, что она когда-либо кончится. Мы направили «Василиск» прямо на юг, и тут начались самые потрясающие часы нашего путешествия.

Со скоростью экспресса мы мчались по волнам. Одна за другой оставались за кормой мили. Нам довелось увидеть одно из самых великолепных зрелищ, какие только случаются на море. Как-то раз, когда мы поднялись на гребень особенно высокого вала, перед носом парусника ударил большой дельфин. За ним выскочил еще один, потом еще один, и вскоре вода буквально кипела от них. Повсюду, насколько хватал глаз, из глубин океана, казавшихся доселе безжизненными, вырывались и выпрыгивали навстречу нам дельфины. Их были сотни. Гладкие черные тела их резво, без усилий взлетали над водой и столь же легко погружались в нее. Плотной массой дельфины собрались возле носа парусника, грациозные, быстрые, свободные. И как ни измучены мы были, мы не могли не любоваться ими. Исчезли они так же таинственно, как и появились, все разом, словно по сигналу, скрывшись в пучине и оставив после себя лишь легкую пену.

Дельфины вселили в нас бодрость, прогнали ощущение одиночества, вызванное усталостью. Ведь они были первыми живыми существами, которых мы увидели с тех пор, как покинули землю. В тот же день мы заметили двух качурок,⁵ мелькнувших за завесой брызг, и услышали их печальный, жалобный крик. Как им удавалось оставаться в живых среди этого водяного хаоса, в сотнях миль от берега, как они могли выдерживать шторм, от которого некуда было укрыться? Как бы там ни было, это им удавалось. Порхая на своих серповидных крыльях над самой поверхностью воды, они высматривают лакомые кусочки, которые дает им море — крохотных рачков, рыбьих мальков и пелагическую икру. Шторм или штиль, ураган или полное безветрие — им все равно, этим храбрым птицам. Они не избалованы жизнью.

Шторм длился около полутора недель. Девять дней мучений и жалкого бессилия. Иногда мы думали, что следующая волна уж наверняка разнесет наше судно и мы пойдем ко дну. Мы набрали в трюм сотни галлонов воды. Доски пола плавали по каюте вместе с другими обломками дерева. Мы измучились и были по горло сыты штормом и морем. Мы не знали, где находимся. Солнца не было видно, и мы не могли ориентироваться. Хронометр остановился, не выдержав чудовищной болтанки. Однако начало теплеть. Уже не нужно было надевать пальто, выходя на палубу. Между прочим, последние дни мы избегали надевать на себя лишнюю одежду, в минуту опасности лучше не иметь на себе ничего лишнего. Мы отказались от обуви — босиком легче держаться на палубе. Наши руки представляли собой печальное зрелище: пальцы и ладони ободраны, покрыты волдырями, глубокими рубцами и мозолями, будто мы находимся в море не десять дней, а целую вечность. За десять дней мы пришли к первобытному состоянию. Где уж тут заниматься научными проблемами, — только бы остаться в живых.

Но однажды утром ветер спал, сквозь тучи проглянуло солнце, и природа снова улыбнулась. Мы наслаждались теплом, купаясь в золотом свете, струившемся с неба. Мы почти забыли, что такое солнце. Оно радовало нас безмерно. И хотя с севера все еще шли

⁵ Качурки — самые маленькие представители отряда трубконосых птиц, ближайшие родственники буревестников. Малая качурка (*Hydrobates pelagicus*) размером с воробья, другие чуть больше — со стрижа. Длина тела большой северной качурки (*Oceanodroma leucorhoa*) 23 сантиметра. Полет качурок причудлив и неровен: они то взмывают в небо, то падают вниз, делая стремительные повороты и зигзаги, но чаще парят над волнами, едва не залезая их крыльями. Качурки отлично плавают. Большую часть года (когда не высидивают птенцов) проводят в океане, далеко от берегов. Отдыхают и даже спят на воде. И в тихую, и в бурную погоду ловят креветок, мелких медуз.

Лишь для гнездования прилетают качурки к берегам. Роют здесь в земле норы и устраивают в них гнезда.

Русское название качурок происходит от слова «окочуриться» — умереть. Прежде в Европе широко было распространено поверье, что качурки — это души погибших на море матросов. Английские моряки называют качурок птенцами богоматери (*Mother Carey's chicken* или *Carey's chicken*, от латинского названия божьей матери, *Mater Saга* — мать милостивая).

большие волны, они уже не швыряли парусник, а только плавно подымали его на своих гребнях, как бы говоря: «Не бойтесь, мы ничего вам не сделаем».

Перескакивая с гребня на гребень, появились летучие рыбы. Они тоже обрадовали нас. Приятно видеть живые существа, пусть даже это всего-навсего рыбы, с возродившейся надеждой мы принялись приводить судно в порядок — геркулесова работа. Осторожно, все еще не доверяя морю, открыли люк и принялись откачивать воду, галлон за галлоном возвращая ее морю. Но даже после того как вся вода была выкачана, каюта оставалась совершенно сырой, до того сырой, что мы решили спать на палубе.

Человек быстро приспосабливается к новым условиям. Жизнь перестала быть для нас борьбой за существование, и наши мысли снова вернулись к задачам экспедиции. Где находится наше судно? Первоначально мы направлялись к острову Сан-Сальвадор (на котором в памятное утро 1492 года впервые высадился Христофор Колумб), собираясь выяснить там некоторые особенности фауны, а затем продолжить исследования на других островах. Насколько можно было судить, мы находились милях в восьмистах от побережья Флориды. Долготу без хронометра определить невозможно. С широтой дело обстояло лучше, хотя для того, чтобы достать секстан, пришлось взломать ящик стола, так как он разбух. Полуденные наблюдения дали широту Нассау. Решили по-прежнему идти на юг, пока не достигнем широты Сан-Сальвадора, а там, воспользовавшись господствующими пассатами, повернуть на запад.

Итак, мы плыли все дальше на юг. Шторм до того напугал нас, что на первых порах было даже боязно идти под полными парусами. Но яркое солнце рассеяло все наши опасения, и мы всецело доверились мягкому ветерку. Так прошло два дня, а земли по-прежнему не было видно. Однажды ранним утром, вскоре после восхода солнца, с запада прилетела желтоклювая тропическая птица. Покружив в небесной синеве, она повернула обратно. На следующее утро мы увидели фрегата,⁶ он точно так же покружил над нами и улетел на запад. Значит, где-то там — земля. Но далеко ли до нее — неизвестно. Пересекли параллели островов Эле-Утра и Кет, а земли все не видно. Очевидно, нас снесло слишком далеко к востоку. В полдень мы установили, что находимся на широте 24°3', Сан-Сальвадор был точно на западе.

Только мы повернули в сторону заходящего солнца, как пассат, нарушая все законы, переменился и начал дуть прямо в лоб. Продвижение вперед стало затруднительным. Посовещавшись, решили снова идти на юг, к острову Крукед-Айленд или острову Маягуане, а если пропустим их, то к группе островов Кайкос. Там мы смогли бы отдохнуть, привести в порядок судно, а затем, уже зная свои координаты, спокойно отправиться к Сан-Сальвадору. Все эти острова нам все равно придется исследовать, а в каком порядке—не так уж важно.

⁶ Фрегат (*Fregata minor*) принадлежит к отряду веслоногих птиц. Немногие пернатые так хорошо приспособлены к полету, как фрегат. У него сильные (в размахе больше двух метров) крылья и длинный вильчатый, как у ласточки, хвост. Кости фрегата наделены объемистыми воздушными полостями.

Часами парят фрегаты над океаном, ни разу не взмахнув крыльями. Иногда они играют друг с другом, выписывая в небе изумительные пируэты и виражи. Но плавают плохо и никогда не ныряют. Пищу добывают обычно в воздухе: ловят летучих рыб. Если фрегат схватил рыбу неудобно, он подбрасывает ее вверх и ловко хватает на лету. Если опять поймал неудачно, подбрасывает еще раз. Часто фрегаты отнимают рыбу у других морских птиц, иногда даже хищных. Часами патрулируют фрегаты морские побережья, карауля возвращающихся с добычей птиц. Увидев с высоты спешащего к берегу баклана или чайку, фрегат быстро снижается и атакует противника, толкает его и бьет крыльями. Испуганная птица бросает добычу, а фрегат ловко подхватывает ее на лету. Если рыба уже съедена «рыболовом», фрегат будет толкать его до тех пор, пока он не отрыгнет проглоченную пищу, которая, не успев коснуться воды, попадает в глотку фрегата.

Гнездятся фрегаты на тропических островах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. С земли они подняться не могут, поэтому гнезда выют на отвесных скалах или на деревьях. Ветки для гнезд ломают на лету или вылавливают из моря.

Название фрегата дано птице за ее стремительный полет в честь знаменитых когда-то быстроходных кораблей фрегатов.

Мы снова направились на юг. Земля все не показывалась. Ветер продолжал дуть с запада, подымая легкую, неопасную волну. Мы плыли час за часом, высматривая на горизонте зеленую полоску земли. Но вокруг не было видно ничего, кроме волн, белых барашков и желтых саргассовых водорослей. Колман несколько раз взбирался на мачту, но все напрасно: не видно ни Крукед-Айленда, ни Маягуаны. Оставалась надежда только на острова Кайкос. Снова определили свое местонахождение по солнцу и обнаружили, что находимся как раз на их широте. А кругом ничего, кроме воды. Вот уж никогда не думал, что на свете столько воды.

Разочарованные, мы занялись судном. Уж во всяком случае мимо острова Эспаньола никак невозможно пройти. Мы увидим его на закате. Колман спустился вниз, а я стал проверять штуртросы, которые очень ослабли и требовали внимания. Солнце уже садилось, прячась за клубами оранжевых и красных облаков. Прежде чем стемнеет, мне хотелось привести руль в порядок. Я натягивал трос и поправлял его на штурвале, как вдруг, случайно подняв глаза, увидел вдали землю: маленькие бугорки суши, разбросанные по горизонту.

— Земля! — крикнул я Колману в каюту.

Он мигом выскочил и вскарабкался на мачту. Да, земля, настоящая твердая земля, вырисовывающаяся на фоне заката. Никогда не думал, что земля может так ласкать глаз своим видом! Широко улыбаясь, мы пожали друг другу руки. Колман сбегал вниз и принес карандаш и кусок размокшей бумаги, чтобы запечатлеть эту картину. Он сказал, что хотел бы навсегда запомнить эти радостные минуты. Что касается меня, то я не делал ничего, а просто стоял и смотрел. Наконец-то мы сможем отдохнуть и приняться за работу.

Но как мало мы знаем, что ждет нас впереди!

Глава III КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

На исходе следующего дня мы медленно выбрались на низкий песчаный откос, и, достигнув вершины, устало опустились на землю. Перед нами раскинулся пологий песчаный берег, на котором лежали уже заметно удлинившиеся тени. Внизу тихо вздыхал и шелестел прибой. В его волнах качалось множество необычных предметов, которые выносились водой на песок и оставались на берегу, когда вода уходила обратно. Кораблекрушение! Море разделалось с судном и возвращало его обломки земле. Куски дерева, обрывки веревок, размокшие книги, жестянки, инструменты, бутылки, коробки, картина «Гольфстрим», изображающая судно со снесенными мачтами и человека на палубе, угрюмо наблюдающего за акулой, которая ходит вокруг. Опять море посмеялось над нами! Конец путешествию.

Да, конец путешествию. За волнами, которые тихо плещут о берег, за бледно-зеленой водой лагуны сверкает белая полоса бурунов. Подвижная и пульсирующая, она неумолчно ревет, разбиваясь о коралловые рифы. Там, как раз посреди нее, лежит то, что осталось от нашего парусника. Его то приподнимает волною, то с громким треском бросает на рифы. Печальный конец для судна, выдержавшего суровый зимний шторм, от которого погибли большие суда с хорошо обученными командами.

Конец путешествию, крушение всех надежд. Мы никогда уже не поплывем в Вест-Индию. Обидно потерпеть крах в самый последний момент, преодолев тяжелый шторм и все муки холода и усталости. И не смешно ли, что сейчас дул и разбивал буруны о рифы тот самый пассат, который должен был доставить нас на Сан-Сальвадор? Теперь он нам уже ни к чему. Теперь он только может добить наше судно да пустить ко дну остатки имущества.

Но больше всего нас угнетало то, что мы разбились почти в штиль. Если бы мы разбились в шторм или при большой волне — это еще куда ни шло. Но море было спокойно, как мельничный пруд, когда Немезида поднялась к нам на борт. Оно было совершенно спокойно, если не считать небольшого волнения, шедшего с востока. Коварный океан! Ему не удалось одолеть нас с помощью ветра и волн, но он держал про запас еще один козырь, о

котором нам следовало бы знать. Течение — тихо скользящее течение, которое, подымаясь из холодных глубин, незримо прокладывает себе путь к поверхности. Оно захватило нас врасплох. Это произошло в долгие холодные предутренние часы, — оно подхватило нас, совлекло с пути и втихомолку потащило к рифам. Потом, словно собрав остаток сил, волны швырнули парусник на камни. А море с последним торжествующим криком послало ветер, чтобы закрепить свою победу. Море победило.

В тот вечер, увидев землю, мы после первой радости почувствовали страшную усталость и крепко заснули. На закате ветер утих, оставив нас качаться на волнах успокаивавшегося океана. Впервые после шторма мы легли в каюте. Убрав паруса, мы уснули в полной уверенности, что утро застанет судно на том же самом месте. Утром мы подойдем к земле, выясним наше местоположение и отправимся в ближайший порт. А тем временем сильное течение несло нас на север, к тому месту, где оно огибало клочок суши. Нас несло все ближе и ближе к берегу, и с палубы можно было бы слышать рев прибоя. Но мы крепко спали внизу, измученные многодневным штормом.

С устрашающим треском парусник налетел на риф. Мы оба очутились на полу. Ошалевшие спросонок, пораженные доносящимся снаружи ревом, мы выскочили на палубу. И сразу же новый вал поднял судно и положил его на бок. Колман схватился за поручни и устоял, а я через всю палубу, через бак, через кливер-шкоты, полетел прямо на борт. Какой-то миг, помнится, я летел по воздуху, перед глазами мелькнул бурун, и я бухнулся в воду. Прибой завертел меня и бросил в цепкие ветви коралла. Мгновение я лежал ошеломленный. В темноте возникли очертания следующего вала, черного на фоне звездного неба. Он надвигался все ближе, рос, и верхушка его загибалась. Я с криком вырвался из цепких объятий кораллов и нырнул в сторону. В следующее мгновение волна подняла судно и бросила на риф, тот самый, где я только что находился. Немного — и от меня осталось бы мокрое место. Меня протащило еще несколько футов и швырнуло к носу парусника. Я схватился за цепь и вскарабкался на палубу.

У нас еще оставалась возможность спасти парусник. Если бы удалось спустить шлюпку с якорем и бросить его позади рифа, то, выбирая якорную цепь, можно было бы стащить судно с камней. Колман бросился в каюту за ножом. Обрезав найтовы первой шлюпки, мы перебросили ее через леера, но волна тут же слегка приподняла парусник и бросила его на шлюпку. Ее расплющило в лепешку. Такая же участь постигла и другую шлюпку.

Все было кончено. Мы сидели прочно. Каждый новый вал продвигал парусник на полметра вперед. Руль оторвало и унесло в лагуну за рифами, где он и затонул. Нам оставалось только спасать снаряжение. Поднялся ветер — ветер, которого мы так ждали. Теперь, если мы хотим вытащить что-либо на берег, надо спешить. Прежде всего — вода и провиант. Особенно вода. Мы знали, что некоторые из этих островов безводны — сухие клочки суши, на которых легко умереть от жажды. Быстро, насколько это было возможно на стоящей торчком палубе, мы обрезали найтовы, которыми были привязаны бочонки с водой, и бросили бочонки подальше в прибой. Потом прыгнули за борт и, ранясь об острые кораллы, затащили бочонки в спокойную воду лагуны. Убедившись, что они не могут уплыть обратно в море и разбиться о камни, мы поспешили обратно на судно. Наши руки, ноги, тело сплошь были покрыты кровоточащими порезами. Взобравшись на парусник, мы ринулись в каюту. Ее затопило. В обшивке где-то была пробоина, и теперь вода быстро наполняла судно.

Доски пайола всплыли и носились взад и вперед, ударяясь в переборки с силой тарана. На каюту было страшно смотреть. Мы бросились спасать самое ценное. Я стал разламывать стол, отыскивая свой фотоаппарат. Он сопровождал меня в странствиях по Гаити, Южной Америке и Соединенным Штатам. Я предпочел бы лишиться пальца, чем фотоаппарата. Колман, ныряя, выудил из воды микроскоп и другие ценные вещи. Держа их высоко над головой, мы стали выбираться на палубу. Она наклонилась так, что ходить по ней было невозможно. Мы съехали в воду и двинулись к лагуне.

Затем — снова на парусник. На этот раз — за секстаном, кинокамерой, судовыми

документами, инструментами для сбора образцов и книгами. Кое-что нам удалось спасти. Это была адская работа. Хуже всего было перебираться через риф, хотя плыть по лагуне было тоже нелегко. Когда мы вернулись на судно в третий раз, оно уже накренилось настолько, что можно было прямо подплыть к входу в каюту. Она представляла собою печальное зрелище. Наши ценные инструменты и снаряжение болтались в воде. Волны, хлеставшие в каюту через открытый ход, вырывали их прямо из рук и сносили к рифу. На многие метры вокруг белое песчаное дно усеяли блестящие жестянки, медяшки, бумага. Находиться в каюте стало опасно. Всплывшие доски, коробки и тяжелые ящики швыряло во все стороны при каждой новой волне. Судно то и дело накренилось с боку на бок. При этом все вещи неслись через каюту и ударялись в противоположный борт.

С Колманом едва не случилось несчастье. Он был один в каюте, пытаясь достать какой-то прибор, спрятанный на самом дне одного из ящичков. Он никак не мог его отыскать и, набрав воздуха, стал под водой на колени, чтобы удобнее было шарить руками. В это время парусник неожиданно накренился, и вся вода перелилась в ту часть каюты, где находился Колман. Туда же последовали доски и всплывший тюфяк. Тюфяк и одна из досок остановились над Колманом, притиснули его к шкафу. Он стал отчаянно трепыхаться под ними пытаясь вылезти наверх, но не мог. Воздух из его легких выходил, поднимаясь вверх стаей пузырьков, он чувствовал, что слабеет с каждым мигом. У него потемнело в глазах. Но когда он был уже готов потерять сознание, новая волна освободила его. Он выбрался на палубу и лег там, тяжело дыша и выплевывая воду.

День был на исходе, а мы все еще продолжали спасательные работы. Все это время ветер мало-помалу крепчал и наконец достиг такой силы, что возвращаться на судно стало опасно. Измученные, мы подплыли к берегу, вышли на песок, поднялись на кручу и бросились на землю.

Море победило.

Некоторое время мы лежали неподвижно, не в силах пошевелиться от усталости. Солнце садилось, тени становились все длиннее и длиннее. Очнувшись, мы стали осматриваться, — нет ли следов человеческого существования? Их не было. Позади берег полого спускался к полукруглой изумрудной лагуне, ограниченной с противоположной стороны белой полосой песка. За ней снова начиналось открытое море. Милях в пяти смутно виднелись очертания небольшого острова. Суша уходила к югу, изборожденная неглубокими долинами и низкими гребнями. Мы находились на самом возвышенном месте какого-то острова. Пройди судно сотней ярдов севернее, оно миновало бы рифы.

Но что толку в запоздалых сожалениях? Экспедиция потерпела неудачу. Сквозь заросли пальм, эфедры и кактусов мы спустились к лагуне. Прекрасное место для якорной стоянки! Быть может, на песке нам удастся обнаружить признаки существования человека. Так и есть. Куча тростника, срезанного, по-видимому, несколько месяцев назад, разбитые раковины. Больше ничего.

В тот же вечер нам пришлось стать свидетелями одного из самых прекрасных зрелищ на земле, какое может увидеть человек, восприимчивый к краскам. Мы понуро возвращались на берег, стараясь не глядеть на останки судна. Солнце садилось, заливая все вокруг золотом. Внезапно откуда-то сверху, из самой небесной выси донесся слабый жалобный крик, похожий на крик диких гусей, когда дует северный ветер. Мы взглянули на небо и замерли. Над островом пролетала стая красных фламинго, и их крылья пламенели в лучах заходящего солнца. Подобно гусям, они летели клином с вожаком впереди. Их были сотни. Крылья птиц горели багровым огнем, а самые их кончики были бархатно черные.

Не переставая кричать, фламинго пролетели над нами, достигли края острова и повернули обратно. В тот же момент солнце скрылось за горизонтом, унеся вместе с собой свет и погрузив землю и море в темноту.

Под яркими звездами, под песнь ветра, шелестевшего в траве и перекатывавшего песчинки по дюнам, мы заснули как убитые на твердой земле, пахнувшей прелыми листьями. И хотя море всю ночь колотило о риф останки нашего судна, мы ни разу не

проснулись.

Мы поднялись на другое утро отдохнувшими, и будущее рисовалось нам не в таких мрачных тонах. Новый день приносит с собой новые проблемы, новые задачи, новые идеи. Во всяком случае, пока что с морем покончено. Нам остается суша. Что делать дальше?

Прежде всего — где мы находимся? Нам было известно только, что мы попали на один из Багамских островов. Но на который именно? Из кучи спасенных вещей мы вытащили карту. Полуденные наблюдения дали широту группы островов Кайкос. Я склонился к мнению, что мы на Большом Кайкосе — на востоке Багамского архипелага. Колман, полагая, что мы ошибаемся в определении широты, утверждал, что нас выбросило на Маягуану. Но тогда что это за остров в пяти милях к северу? Будь мы на Большом Кайкосе, он лежал бы на северо-западе. А с Маягуаны вообще не должно быть видно никакого острова, потому что ближайшая группа островов — Планас — лежит от Маягуаны милях в двадцати и притом скорее к западу, чем к северу. Единственный остров, имеющий соседа на севере, — Большой Инагуа; это второй, и последний, из крупных островов Багамского архипелага. Но мы не могли попасть на Инагуа. Чтобы попасть на Инагуа, плывя прямо на юг, нужно пройти не более чем в миле от Маягуаны или одного из островов Кайкос. И, конечно, мы не могли миновать их, не заметив. Непонятно, где же мы?

Что делать? Недолго думая, мы решили, что Колман останется на месте и займется спасением остального имущества, а я пойду искать людей, если они здесь окажутся. Через полчаса я уже полностью собрался в дорогу и вскинул на плечи узел с провизией, одеялом и двухлитровой флягой, наполненной водой, решив идти вдоль берега, пока не встречу какое-нибудь селение. Если такового не окажется, обойду остров и вернусь на это же самое место.

Но сначала я пошел на берег, чтобы среди остатков спасенного снаряжения найти себе одежду. Мы оба остались в лохмотьях. Брюки порвались и висели лоскутами, рубашки выглядели немногим лучше. Вытащив на берег самые ценные инструменты, мы дальше уже хватали все, что попадало под руку.

Мы особенно нуждались в тапочках, потому что те, что были у нас на ногах, совершенно изодрались об острые кораллы. Несколько пар валялось на песке, мы вымыли их и надели. Это придавало нам более respectable вид. Но тем не менее даже и теперь мы едва ли могли показаться в своем одеянии на вечернем приеме.

На верху откоса мы попрощались. В какую сторону идти? Мне было безразлично. Пожалуй, лучше на юг, особенно если мы и вправду находимся на Большом Кайкосе. Я слышал, что на нескольких соседних островах есть селения. Тогда, может быть, мне удастся переплыть на один из них. Я поднялся па песчаный гребень, тянувшийся параллельно берегу. Колман в это время входил в воду лагуны, собираясь плыть к рифу. Он был уже около бурунов и искал более или менее тихое место, чтобы пробраться к паруснику, не разбившись о кораллы.

Параллельно гребню, по которому я шел, тянулся нескончаемый песчаный берег — белая полоса, опоясавшая зеленые заросли. Рядом раскинулись тихие воды лагуны, ярко-изумрудные там, где дно было песчаное, и светло-зеленые — где оно поросло водорослями. С внешней стороны лагуну окаймлял волнистый барьерный риф. Волны разбивались об него, и пена казалась особенно белой в сравнении с темно-синей водой моря. За рифом дно круто уходило вниз — согласно карте, на две тысячи морских саженей, или на три с половиной тысячи метров.

Приятно было снова оказаться на земле, хоть высадка прошла и не совсем так, как нам того хотелось.

Из глубины острова доносились густые, резкие запахи земли — запах засохшей грязи, нагретой солнцем травы, аромат множества цветов. Приятно было снова чувствовать, как хрустит под ногами песок, видеть живые существа — десятки ящериц, гревшихся на солнце, убегали из-под ног, ища укрытия.

Одна из них меня очень заинтересовала. Она принадлежала к какой-то новой

разновидности, еще никем не описанной. Я попробовал поймать ее, но она быстро скрылась в кустарнике. Ну и пусть, у меня все равно нет формалина, чтобы законсервировать ящерицу. К тому же мы, вероятно, пробудем здесь довольно долго, и мне еще не раз представится возможность встретить такую же ящерицу.

Эта ящерица навела меня на прекрасную мысль. В нашем распоряжении остров. Нам уже не удастся побывать в Вест-Индии. Наша научная программа засохла на корню. Зато у нас под ногами совершенно неисследованный клочок суши. Здесь, на острове, должен существовать свой собственный мир живых существ, бегающих, ползающих, лазающих, составляющий единое целое в экологическом отношении. Мы должны узнать об этом острове все, что возможно. Исследовать остров, окруженный со всех сторон океаном, совершенно изолированный от мира, — ведь это так заманчиво! Острова тем и интересны для исследователей, что жизнь на них изолирована и сконцентрирована.

Большие пурпурные крабы бегали среди травы и, подобно ящерицам, прятались, завидев меня. Каково их место в этом островном мире? А эти улитки, гроздьями висящие на стеблях травы! Что им здесь понадобилось? Зачем они на траве?

Весь остров предоставлен нам: и земля, и вода, и небо, и бледно-зеленые лагуны. Вот движется в воде неясный силуэт гигантской морской черепахи — наверное, она возвращается с утренней кладки яиц. И берег — живая пульсирующая полоска, не принадлежащая ни земле, ни морю, а по очереди тому и другому. Все это наши владения.

Как бы желая показать мне тщеславность моего стремления узнать обо всем, что есть на острове, из купы кактусов выпорхнул колибри⁷ и повис перед самым лицом. Он гудел и жужжал, как рассерженная пчела. И хотя крылья птички мелькали, слившись в расплывчатое пятно, можно было различить мельчайшую подробность ее оперения. Я хотел определить, к какому виду может он относиться, судя по расцветке горла, затылка и полоски перьев вокруг шеи, но так ни к чему и не пришел. Я не знал даже, к какому роду его отнести. Легко повернувшись, птичка упорхнула обратно в кактусы, как бы спрашивая: «Ну, что,

⁷ Орнитологи описали уже более 500 видов колибри (Trochilidae). Они обитают только в Америке, это самые маленькие птички: многие из них не больше шмеля, другие — с пеночку, крапивника, но ни одна не крупнее ласточки. Лапки у колибри маленькие, крылья длинные, заостренные, как у стрижей, ближайших их родичей. Клюв длинный, обычно прямой или слабо изогнутый, иногда серповидный. Ни у одной из птиц, кроме нектарина, похожих на колибри птичек восточного полушария, нет такого языка, как у колибри: у некоторых видов в вытянутом состоянии он длиннее тела. Своим трубчатым, как у бабочек, языком колибри высасывают нектар из цветов. Раньше думали, что колибри питаются только сладким соком растений, но оказалось, что они едят главным образом (а некоторые виды и исключительно) мелких насекомых. Нектаром они, так сказать, лишь подслащивают свой обед как десертом. Но насекомых ловят преимущественно в цветах. Колибри, которых кормили одним лишь сахарным сиропом, погибали от недостатка белковой пищи через один-два месяца.

Окраска колибри великолепна. В их оперении представлены цвета и оттенки всех драгоценных камней, о чем можно судить по названиям этих птичек: топазовый, аметистовый, берилловый, смарагдовый, сапфировый, рубиновый, гранатовый колибри.

Колибри вьют из растительных волокон миниатюрные и изящные гнездышки, некоторые величиной не больше половины грецкого ореха, и подвешивают их, подобно гамакам, к свисающим над водой лианам, к кончикам пальмовых листьев или к скалам.

Эти крохотные птички очень смелы и воинственны: самцы отчаянно дерутся не только друг с другом, но и отважно нападают на других птиц, даже на хищных. Защищая гнезда, атакуют и древесных змей, целясь тонким клювом в глаз!

Большинство колибри обитают в тропиках, но некоторые виды летом залетают в умеренные и холодные страны. На севере американского континента встречаются два вида перелетных колибри: рубиновошейный — *Archilochus colubris* (на востоке США и Канады) и красный огненосец — *Selasphorus rufus* (на северо-западе США и в западных штатах Канады). Последний мигрирует вдоль побережья до острова Ситха и даже дальше. Зимуют эти колибри в Мексике, преодолевая каждый раз весной и осенью более четырех тысяч километров над морем и сушей. Некоторые колибри южного полушария тоже мигрируют в холодные края. Их видели во время снежного бурана на берегах Огненной земли порхающими вокруг цветов фуксии.

Название колибри заимствовано из языка индейцев карибов.

собираешься все узнать? Да?»

Я стал присматриваться к растительности. Это была тропическая растительность, правда, не столь буйная и пышная, как на соседнем Гаити или Санто-Доминго, а скорее утонченного типа, так называемого ксерофитного:⁸ острые иглы, ярко окрашенная кора, мясистые листья, колючие шипы кактусов. Шипы! Они были душой этого растительного мира и безмолвно повествовали о скудном существовании, о палящем солнце и жгучих ветрах, об иссушенной зноем почве. Растительность пустыни... Я инстинктивно ощупал свою флягу — есть ли в ней вода? Кроны пальм на гребнях холмов отчетливо вырисовывались на фоне неба. В здешней растительности ощущалось что-то дикое, гнетущее и вместе с тем привлекательное. Может быть, причиной тому шипы и колючки, а возможно, песок и голый камень, проглядывавшие там и тут между стволами деревьев. Были здесь и цветы, даже на кактусах, — желтые и красные. Приятный пейзаж, тропический, но не кричащий, не из тех, что быстро приедаются.

В глаза бросалась одна особенность. Все растения на гребне дюны и поблизости от нее низко пригибались к земле. Это свидетельствовало о непрерывных пассатах, дующих с моря и подчиняющих своей воле листья и ветви. День за днем дует ветер, и, защищаясь, растения поворачиваются к нему спиной, прячутся под укрытие скал. Вот первый пример взаимосвязей жизни островного мира, несколько звеньев цепочки, накрепко соединенных друг с другом: ветер возвел песчаные дюны — дюны дали растениям приют и минеральные соли для питания, а растения искривились и согнулись под напором все того же ветра.

Я зашагал дальше. Вскоре гребень дюны стал понижаться, перешел в равнину, а потом — в болото. Болото уступило место узкому, как лента, озеру. На дальнем берегу озера кормились фламинго — те самые, которых мы видели вчера вечером. Они расхаживали по-журавлиному в воде, то опуская, то подымая свои лопатообразные клювы. Я подкрался поближе, протискиваясь между мангровыми деревьями,⁹ но они всполошились и улетели.

«А не теряю ли я попусту время? — спохватился я. — Может быть, все равно, когда я найду людей — сегодня, завтра или послезавтра?» Но, подумав, решил, что нам в любом случае надо есть, и если удастся быстро найти людей, мы еще успеем достать со дна консервы. А там видно будет, что делать дальше. Да и по отношению к Колману было бы не честно болтаться здесь без дела. Я зашагал вперед. В полдень я поел и присел отдохнуть на верхушке дюны. Вдруг мне показалось, что вдали на берегу виднеются какие-то фигуры. Люди. Двое. С криком я бросился вниз по склону, прыгая и размахивая руками. Но, к моему удивлению, люди повернулись на секунду в мою сторону и тотчас нырнули в заросли.

Глава IV ИНАГУА — ЗАБАВНЫЙ ОСТРОВ

⁸ Ксерофитная — значит засухоустойчивая, засухолюбивая растительность.

⁹ Мангровые леса встречаются в тропиках по низменным морским побережьям, затопляемым в прилив морем, всегда в защищенных от прибоя местах. Мангры очень трудно проходимы. Поскольку деревья растут на гниющем иле, их корням не хватает кислорода, и у мангров развиваются дополнительные, так называемые дыхательные корни. Растут они снизу вверх от подземных корней.

Есть у мангров и воздушные корни — эти растут сверху вниз от ветвей в землю, и служат опорой для дерева, которому было бы нелегко без подпорок удержаться в полужидком грунте. Развиваются еще и ходульные корни — дугообразные, похожие на паучьи лапы надземные отростки погруженных в ил корней.

Мангровые леса состоят не из одного, а из нескольких видов кустарников или деревьев (*Avicennia*, *Bruguiera*, *Sonneratia*, *Rhizophora*), иные из них высотой до 30 метров. Некоторые мангры «живородящи»: их плоды прорастают еще на ветках и висят на дереве в виде увесистых дубинок, затем падают и вонзаются в ил уже сформированным острым корнем. О размножении мангров хорошо пишет Д. Клинджел дальше, в VII главе: «Рождение острова».

Я остановился, в недоумении глядя в ту сторону, куда скрылись фигуры людей. Затем улыбнулся. Ничего удивительного! Вид у меня совершенно дикий. Одежда разодрана в клочья о кораллы; мятая шляпа лихо заломлена, борода двухнедельной давности скрывает мое лицо. На шее болтается грязный синий шарф. Я нашел его на песке и повязался, чтобы не обгорела шея. Изодранные парусиновые брюки лоскутами свисают до колен. До сих пор я не задумывался над тем, как выгляжу; не до этого было—сначала спасал снаряжение, затем отправился на поиски людей. А выглядел я, несомненно, как самый настоящий бродяга. Во всяком случае, достаточно страшно, чтобы напугать робких островитян. Какое-то время я стоял, выжидая. Никакого движения вокруг, только волны взбегали на песок да трава колыхалась под ветром.

Не спеша двинулся дальше. Вскоре на сыром песке появились следы — отпечатки широких босых ступней с далеко отставленным большим пальцем. Следы вели к купе карликовых пальм и мангровых деревьев. Я остановился в нерешительности и стал раздумывать над тем, как лучше всего обратиться к жителям неизвестного острова. Сказать ли им: «Доброе утро! Не будете ли вы добры сообщить мне, как называется этот остров?» Или лучше: «Прошу прощения, я потерпел кораблекрушение»? И то и другое звучало бы страшно глупо, но ничего больше в голову не приходило. Чувствуя себя ослом, я сделал шаг к зарослям и крикнул в сторону мангровых деревьев: «Эй! Кто там?» Молчание. Снова крикнул, и снова никакого ответа. «Эй, где вы там?» — закричал я в третий раз. С минуту все было тихо, затем из-за пальмы нерешительно вышли два маленьких мальчика.

Я оглядел их с любопытством: черны, как тушь, и почти столь же оборванны, как и я сам. Один был без штанов, но вскоре я разглядел, что штаны спрятаны в корзиночке у него за плечами. Оба казались испуганными я готовыми броситься в бегство при малейшем моем движении.

— Я ничего вам не сделаю, — сказал я.

Это, по-видимому, их успокоило, и выражение ужаса сошло с их лиц. Мальчик без штанов вдруг вспомнил о недостающей части своего туалета и торопливо ее надел. Я улыбнулся, видя его замешательство, и они оба в ответ тоже расплылись в широких улыбках.

— Не скажете ли вы мне, что это за остров? — спросил я.

Улыбка немедленно сошла с их лиц, и мальчики приготовились к бегству. Вопрос казался им совершенно бессмысленным. Они взглянули друг на друга, затем на меня, словно сомневаясь в моих умственных способностях.

— Не убегайте, — быстро заговорил я. — Наша лодка разбилась на рифе. — Вон там, — я указал в направлении, откуда пришел, — Мы разбились вчера утром, в темноте.

Их лица омрачились скорбью, и старший произнес:

— Очень, очень жаль вас, сэр, очень, очень жаль вас.

Вскоре у них развязались языки, и они рассказали, что, когда я их увидел, они собирали черепаши яйца и что они с фермы, которая находится неподалеку отсюда. Там же живут и их родители и целая куча теток и дядьев, но только летом, а сейчас зима, очень холодно (около тридцати градусов в тени), и они пришли на ферму для того только, чтобы прогнать диких свиней, которые подрывают их посевы. Остров называется Инагуа — это всякий знает.

Итак, мы все же на Инагуа. Теперь понятно, почему мы видели островок на севере. Но каким образом, идя прямо на юг, мы могли проскользнуть между Кайкосом и Маягуаной, не заметив их, — этого я не могу взять в толк и поныне. Мы потерпели крушение у северной оконечности острова. Лагуна, где мне попались фламинго, называется Кристоф. Я спросил мальчиков, почему она так называется, но они не могли дать вразумительного ответа. Она всегда так называлась, и все тут. Я решил, что она названа в честь черного императора Гаити Анри-Кристофа, — ведь Гаити лежит от Инагуа всего в восьмидесяти или девяноста милях. Впоследствии оказалось, что я был прав. Предание гласит, что основатель знаменитой цитадели на Кейп Гаитиан построил здесь летний дворец. Здесь же, гласит предание, император прятал про черный день деньги и слитки. Правда ли это — не знаю, но несколько

месяцев спустя недалеко от лагуны я наткнулся на обтесанные камни и развалины, поросшие карликовыми пальмами и железным деревом.

Я достал из своего узла карту. На ней был изображен прихотливых очертаний остров. «Равнинный и лесистый», — было написано в легенде. В остальном, кроме, пожалуй, еще размеров, он мало чем отличался от прочих островов Багамского архипелага. На другой стороне острова стоял поселок Метьютаун. Я спросил ребят, далеко ли до него. Они ответили, что далеко-далеко-далеко. Такое обилие повторов меня несколько удивило; впоследствии я узнал, что жители Инагуа прибегают к ним всякий раз, когда хотят дать наглядное представление о количестве или расстоянии. Лагуна Кристоф была просто далеко, ферма — далеко-далеко, а Метьютаун — далеко-далеко-далеко.

Ребята сказали мне, что на ферме есть парусные лодки, и с радостью вызвались меня проводить. Через заросли, через мелкую лагуны мы вышли на едва заметную тропинку. Мягко выражаясь, дорога была не из лучших; пользовались ею, наверно, только звери, потому что на высоте плеч кактусы сплетались, образуя довольно колючую крышу. Идти поэтому приходилось согнувшись, а это уже через несколько минут становилось утомительным.

Местами тропинка проходила через топкие низины или болотины, поросшие мангровыми деревьями. Местами она пропадала совсем или становилась едва различимой. Несколько раз мы вспугнули птиц — стаи земляных голубей подымались в воздух при звуке наших шагов, отлетали на несколько метров, садились и потом снова взлетали. А однажды мы набрали на сотню маленьких попугаев, и они, испугавшись вас, взлетели все разом и подняли невообразимый гвалт.

Нам часто встречались небольшие озера и пруды, на берегах которых, как на японских гравюрах, стояли белые цапли. Почти ручные, они позволяли нам подходить совсем близко, но в конце концов улетали, грациозно взмахивая крыльями. Инагуа сущий рай для орнитолога. По берегам прудов сновали стаи куликов-песочников.¹⁰ Среди ветвей со свистом и щебетом порхали американские славки (я был поражен, заметив среди них мерилендскую желтошейку¹¹), тучи колибри носились среди колючих деревьев или неподвижно висели в воздухе, наблюдая за нами.

Вскоре тропинка снова вышла на берег, но уже на северный. Теперь наш путь лежал на запад. Здесь берег был совсем другой, чудесный, белый песок не покрывал его. Не тянулись здесь и барьеры рифов, смягчавших силу прибоя, и волны всей своей массой обрушивались на низкую выветренную каменную террасу, тянущуюся вдоль линии берега. Глубокие неровные отверстия источили всю террасу, и мы то и дело слышали, как вода ревет под самыми нашими ногами. В некоторых местах волны пробили сквозные ходы, и вода била вверх большими сверкающими фонтанами. Однажды такой фонтан заработал прямо подо мной и окатил меня с головы до ног. Ребята завопили от восторга, считая, должно быть, что

¹⁰ Песочники — небольшие кулички рода *Calidris*. Гнездятся в тундре вдоль всего побережья Ледовитого океана. Зимовать улетают в Южную и Центральную Америку, в Южную Европу, Африку, Индию, Индонезию, а некоторые летят еще дальше — в Австралию и даже залетают в Новую Зеландию. Во время пролета и на местах зимовок держатся обычно по морским заливам, берегам рек и озер, сырым лугам. Питаются червями, насекомыми, рачками, моллюсками.

¹¹ Американские славки, или уорблеры (*Parulidae*), составляют обширную группу певчих птиц американского континента (всего 109 видов). Распространены они от северной Канады до Бразилии и Аргентины. Прекрасные певцы. Окраска яркая, у многих видов преобладают оливково-желтые тона. Американские орнитологи называют уорблеров «драгоценными камнями пернатого царства». Гнезда вьют на деревьях, кустах, реже на земле. Питаются насекомыми.

Мэриландская желтошейка, или платановый уорблер (*Dendroica dominica*) — серая птичка с ярко-желтым горлом и грудью. Гнездится на юго востоке США, зимовать улетаёт во Флориду, южную Мексику и на Антильские острова. В местах гнездовой держится по равнинным лесам. Гнезда вьет на соснах, дубах и платанах на высоте от трех до сорока метров от земли. Одна из самых подвижных и звонкоголосых уорблеров.

это очень смешно.

Еще несколько миль — и идти стало трудно. Кораллы легко разрушаются под действием прибоя и становятся похожими на огромные губки — только губки, сплошь утыканные острыми каменными иглами. Промоины и целые ямы, прикрытые сверху тончайшим слоем камней, на каждом шагу подстерегают идущего. И если нога провалится в такой утыканный иглами каменный мешок, она будет искромсана до кости. Через подошву тапочек я ощущал малейшую неровность почвы. Меня поражало, каким образом мальчики могут ходить по таким камням босиком. Но, осмотрев подошвы их ног, я все понял. Они были покрыты сантиметровым слоем ороговевшей кожи. Этот слой распространялся и на верхнюю часть стопы, доходя до самого подъема. Кожа защищала их от камней куда лучше, чем любая обувь.

Наконец мы подошли к «ферме». Сперва показались четыре дома, прятавшиеся в тени кокосовых пальм. В этом месте каменная терраса снова уступала место ровному берегу, а круглый коралловый риф образовывал довольно примитивную, но достаточно безопасную естественную гавань. Дома были обычные для этой части света — маленькие однокомнатные хижины из белого коралла, крытые пальмовыми листьями. Они выглядели очень живописно и отлично гармонировали с окружающим пейзажем. Вдали, сквозь дрожавшее над берегом море, показалось еще несколько хижин.

Людей не было видно, но ребята сказали, что их родители в лесу — работают на ферме. Мы снова вступили в заросли и несколько минут шли, раздвигая колючие ветви и лозы, продираясь сквозь опунции.¹²

— Где же ферма? — спросил я.

Они посмотрели на меня с удивлением, затем указали на колючие заросли вокруг.

— Тут, сэр.

Теперь пришел мой черед удивляться: вокруг не было ничего, кроме колючих кактусов и вьющихся лоз. Но вскоре я стал различать в чаще кактусов одиночные стебли кукурузы и росшие кустиками по два-три вместе какие-то зерновые растения, а у самой земли — сладкий картофель. Это было все. На Багамских островах мало хорошей земли; на некоторых из них ее можно найти только в эрозийных углублениях, которые называются «банановыми норами». Слой почвы не толще двух-трех сантиметров, что, конечно, недостаточно для нормального земледелия. Поэтому островитяне используют под посевы каждую ямку, в которой скопилось хоть немного грязи. Один стебель кукурузы стоит зачастую в двадцати метрах от другого. Земельный участок, который в других странах занял бы пять квадратных футов, здесь растянется на многие акры.

Внезапно из чащи донеслись громкие крики, треск ветвей, топот бегущих ног, испуганный визг. Шум все приближался, и наконец из зарослей выскочила тощая дикая свинья с бататом во рту. Заметив нас, она на ходу повернула и снова скрылась в чаще. За ней с камнями и палками бежали двое мужчин и женщина; при виде нас они остановились. Свинья продолжала с треском продирается сквозь чашу.

— Чертовы свиньи. Все сожрали, — сказал старший из мужчин.

Он шагнул вперед и протянул мне руку. Другие последовали его примеру. Взрослые были черны, оборванны и столь же симпатичны, как и ребята, приведшие меня сюда. Они представились: Томас Дэксон, Дэвид Дэксон, Офелия. Офелия была долговяза и одета в платье времен королевы Виктории; головным убором ей служил голубой шарф. Томас был

¹² Опунция — разновидность кактуса; у нее плоские лепешковидные ветви, растущие одна из другой под разными углами. Плоды опунций, величиной с кулак, называют колючими грушами, тунами или индейскими фидами. Собирают их в перчатках с деревянными планками, привязанными к пальцам и ладоням. Затем плоды очищают от колючек и сушат, а незрелые варят с мясом. Из сушеной туны пекут кексы. Вареная туна напоминает по вкусу яблоки.

Из мякоти опунция делают пастилу, из сока — сироп, молодые стебли поджаривают, как кабачки, маринуют, как огурцы, а из волокна опунций изготавливают бумагу высшего качества для денежных знаков.

невысокий малый с козлиной бородкой и круглым, как у херувима, лицом, светившимся жизнерадостностью. Дэвид Дэксон произвел на меня менее благоприятное впечатление: нескладный верзила с хитрым выражением лица.

Я коротко рассказал им о кораблекрушении, Томас печально покачал головой:

— Ничего нет ужаснее, чем потерять лодку, — сказал он. — Очень, очень жаль вас, сэр. Мы вам поможем, мы вытащим ваши вещи. Мы спасли уже много лодок, сэр.

Последнее замечание меня отнюдь не обрадовало, в нем сквозило чересчур большое рвение. Я, правда, не сказал ни слова, но, по-видимому, чем-то выдал себя, ибо он сразу же прибавил, что он, Томас, человек очень порядочный и к тому же евангелистский священник. Я вскинул на него глаза: он был похож на кого угодно, только не на евангелистского священника. На нем была выгоревшая синяя хлопчатобумажная рубашка и еще более выгоревшие штаны с разноцветными заплатами на заду и коленях. Огромные покрытые шрамами ноги выдавали полное незнакомство с обувью. Громила Дэвид оказался дьяконом. Для этой роли он подходил еще меньше, чем маленький, добродушный Томас для своей. Однако я не стал вдаваться в обсуждение этого вопроса, а договорился с ними о помощи и о найме лодок, которые лежали тут же на берегу.

Пока инагуанцы приводили в готовность свои суда, я сидел и отдыхал в тени пальмы. Вскоре на помощь подоспели другие островитяне. Я заметил, как Дэвид отвел двух из них в сторону и что-то зашептал им. Это мне не понравилось, и я решил про себя быть настороже. Однако в дальнейшем ничто не возбуждало у меня подозрений, и а суматохе, сопровождавшей спуск лодок на воду, я забыл об этом.

Три часа спустя, на закате, мы вошли в лагуну Кристоф. У нас было две лодки. Томас и я плыли в маленьком шлюпе, изодранный парус которого каждую минуту грозил улететь вместе с ветром. Дэвид Дэксон со своими племянниками и кучей других родичей плыли на судне, которое тоже трещало по всем швам и было готово развалиться на части. Приблизившись к рифу со стороны лагуны, мы высмотрели проход в нем и быстро проскочили на ту сторону. Две большие черепахи с зелеными спинами выползли из-под росших на дне водорослей, покрутились на месте и, размашисто работая плавниками, скользнули в глубину океана.

— Кушают траву, — проинформировал меня Томас, указывая на водоросли.

В это время Колман заметил нас и через заросли карликовых пальм бросился к воде.

Встреча была радостная. Он не рассчитывал увидеть меня раньше, чем через несколько дней, и серьезно занялся спасением нашего имущества. Он сделал не один рейс к паруснику, каждый раз возвращаясь, нагруженный консервами и снаряжением. Вид у него был измученный, и я заметил, что кожа его пальцев от долгого пребывания в воде размокла и одрябла, как у прачки. Лицо и шея обгорели докрасна, плечи устало поникли. Но внушительная груда вещей на берегу свидетельствовала о том, что его усилия не пропали даром.

Я представил ему Томаса, Дэвида и Офелию, которая не захотела сесть в лодку, а предпочла идти по острым камням, потому что, как она выразилась, от лодки у нее «в животе толкучка».

Начало смеркаться. Офелия развела костер на песчаной полосе посреди мангровой рощи и спросила, не надо ли нам чего-нибудь сготовить. Мы выдали ей консервы и муку, которая хранилась теперь в водонепроницаемом баке, первоначально предназначавшемся для образцов. Из муки Офелия собиралась испечь хлеб, и мы недоумевали, как она справится, без печи и посуды. И тут мы получили первый урок в нашей островной жизни.

Высыпав муку в платок, она положила его на плоский камень у самого берега лагуны, плеснула в муку морской воды и месила тесто до нужной консистенции. Мы смотрели на нее, как зачарованные. В морской воде содержится соль, пояснила она. Я подумал о том, сколько в ней содержится разной живности, но промолчал. Когда тесто было готово, Офелия вернулась к костру, от которого к тому времени осталась лишь куча углей. Палочкой она расчистила посреди углей местечко, положила туда тесто, присыпала его песком и набросала

раскаленных углей. Затем подбросила в костер дров и присела в стороне на корточки.

— Скоро будет готов, — сказала она с улыбкой.

Остальная еда была приготовлена в жестянках. При этом мне вспомнился философ Диоген, который жил в бочке и проповедовал отказ от всякой собственности. Рассказывают, что ученый муж оставил себе лишь бочку да чашу, из которой пил. Но однажды он увидел, как мальчик пьет воду прямо из фонтана — горстями. Пристыженный мудрец вернулся домой и разбил чашу.

Через некоторое время Офелия поднялась, раскидала угли и, сияя от гордости, извлекла отлично поджарившийся хлеб, Колман поинтересовался, откуда она знает, что хлеб готов.

— Судя по времени, сэр, — ответила Офелия и, улыбаясь до ушей, вручила нам хлеб.

К его поверхности не пристало ни одной песчинки, лишь зола, слегка припорошившая его бока, свидетельствовала о том, что он был испечен на углях. Мы рассыпались в комплиментах, и от удовольствия она чуть не свалилась в воду. Хлеб показался нам немного пресным, но банка повидла, которую Колман выудил из песка, поправила дело. Внутри хлеб был белый и мягкий, как из булочной.

Следующее доказательство того, что островитяне неплохо приспособлены к местным условиям, мы получили после ужина. Мы расставили две раскладные кровати, которые Колману удалось спасти, и, застелив их одеялами, собрались лечь спать. К этому времени Офелия с Томасом уже храпели, растянувшись на земле, а верзила Дэвид шумно им сопровождал. Покрывались они на манер страусов — намотав все свои тряпки только на голову. Остальные негры расположились таким же образом — прямо на голом песке.

Мы с Колманом очень устали и первое время мужественно пытались заснуть. Но москиты и мухи были против этого. Они полчищами налетали из мангровой роши и с низин, жужжали нам в уши и забирались под одеяла. Мы попробовали накрыться с головой, как местные жители, но так было слишком жарко. Мы взглянули на фигуры, распростертые на песке: им было все равно. Москиты и мухи тревожили их не больше, чем марсиане. Наконец мы не выдержали.

— Давай уйдем отсюда! — воскликнул Колман и вскочил на ноги.

Вытащив в темноте кровати на кручу, недалеко от места кораблекрушения, мы обрели покой — холодный ветер, дувший с океана, отгонял от нас буйные орды насекомых.

Рано утром Офелия разбудила нас и сказала, что завтрак готов. Она была свежа, как маргаритка. Мы спросили, не мешают ли ей москиты.

— Москиты? — ответила она, улыбаясь. — Сейчас они не сердитые. Вот подождите, когда пойдут дожди...

Несколько дней спустя все наше имущество было сложено в одном месте на берегу лагуны Кристоф. Его оказалось довольно много. Громадная куча сверкающих консервных банок на некоторое время гарантировала нам пропитание, хотя многие из них уже пропали, взорвавшись на солнце. Временами одиночные взрывы сменялись целой канонадой. Стрельба прекратилась лишь после того, как мы прикрыли банки пальмовыми листьями. Наши драгоценные книги, подмоченные, хрустящие от песка, грудями валялись на берегу. А рядом, накрытые парусиной, лежали спасенные инструменты и приборы. На рифе покоились останки «Василиска». Мы сняли с него паруса, бегучий такелаж и вообще все, что можно было снять. Прибой уже сильно потрепал судно и проделал в борту большую дыру. Удивительно, как далеко разбросали волны обломки. Лоскуты бумаги, куски дерева, разные жестянки были раскиданы по всему берегу, миль на десять в обе стороны от места крушения. Мы собрали все более или менее ценное и тоже сложили у лагуны Кристоф. Потом погрузили весь скарб в ветхие лодки островитян — консервы на дно, более хрупкие вещи сверху. Судовые документы и секстан я тщательно завернул в парусину и спрятал на полку под один из бимсов. К концу погрузки планширы лодок возвышались над водой всего на несколько дюймов, и нас взяло сомнение, доплывем ли мы хотя бы до «фермы».

Мы тронулись в путь на следующее утро, вскоре после восхода солнца. Перед самым отплытием мы с Колманом в последний раз поднялись на обрыв, чтобы бросить прощальный

взгляд на обломки «Василиска». Тяжело было расставаться с нашим маленьким суденышком, хотя мы и пережили на его борту немало тяжелых минут. На нем мы пробивались сквозь угрюмый ноябрьский туман и боролись со штормом; теперь же он лежал на рифе разбитый и брошенный, и нам стало жаль покидать его. Но делать было нечего, — в конце концов мы тихо повернулись и пошли к лагуне. Негры поняли наше состояние и встретили нас у лодок сочувственным молчанием.

При попутном ветре мы вышли из лагуны и повернули на запад. В миле перед нами белело платье Офелии, которая, как коза, бежала по берегу, прыгая с камня на камень. Хотя ветер дул довольно сильно, нам так и не удалось догнать ее, настолько нагружены были лодки. У «фермы» мы остановились на несколько часов, и негры вернулись к прерванной, охоте на свиней. Пока они прочесывали заросли, мы с Колманом решили осмотреть поселок. Он состоял из шести маленьких домиков, сбившихся в кучу в нескольких ярдах от берега. Их стены были сложены из кусков коралла и побелены известью. Известь, как мы узнали, здесь получают из коралла путем обжига. Четыре дома были крыты пальмовыми листьями, просто, но остроумно привязанными при помощи волокон к решетчатой раме, остальные два — травой и тростником. Двери и окна были сделаны из досок, выброшенных на берег прибоем (на некоторых еще оставались явственные следы морских желудей¹³), и навешены при помощи самодельных деревянных петель. Одним словом, строительный материал не стоил ничего. Мебели не было, если не считать одного или двух рахитичных столов, сделанных тоже из даров моря. Жители Инагуа, как и большинство крестьян на островах, мало затронутых цивилизацией, спят прямо на полу, на травяных циновках, которые утром сворачивают и убирают. Жизнь здесь не отличается чрезмерным комфортом.

Через некоторое время, сочтя, что свиньям внушено достаточное уважение к человеку, вся ватага вернулась. Мы снова подняли изодранные паруса и поплыли вдоль берега. Я сидел на палубе и размышлял. Все наши планы пошли прахом. Сначала я даже подумал о том, не продолжить ли нам плавание на одной из этих лоханок, но, увидев, что каждые двадцать-тридцать минут из них надо вычерпывать воду, чтобы не пойти ко дну, понял всю безнадежность такой затеи. Придется сидеть на этом острове — другого выхода нет. Тогда я стал следить за берегом более внимательно.

Он тянулся миля за милей — узенькая полоска зелени, тающая на горизонте. В глубине острова возвышалось несколько небольших холмов. Изредка появлялись купы пальм, торчавшие над берегом, словно повисшие в воздухе зеленые ракеты. Позади них лениво дремали на солнце непроходимые джунгли. В общем, пейзаж довольно приятный. Морские валы налетали на бурые скалы, подымая целые фонтаны брызг, и откатывались обратно, одетые белой пеной. Домов на берегу не было видно. Дэвид Дэксон сказал нам, что их не будет до самого «города», то есть до Метьютауна.

В полдень Дэксон объявил, что собирается жарить кукурузу. Из рухляди, загромождавшей палубу, он извлек несколько обломков дерева и ящик с песком. В нем он развел громадный костер, от которого мы едва не сбежали с палубы. Перхая, со слезящимися от дыма глазами, мы следили за его действиями. Когда початок слегка обуглился, Дэксон набросился на еду, причмокивая губами от удовольствия. Мы тоже отведали жареной кукурузы, но, по-видимому, цивилизация нас слишком испортила: кукуруза показалась нам сухой и безвкусной, как опилки, и глоталась с трудом. Колман спустился вниз и принес

¹³ Морские желуды (*Balanus*) и близкие к ним морские уточки (*Lepas*) — очень своеобразные животные из отряда усоногих раков (*Cirripedia*). Зоологи долго ломали голову над тем, к какой группе отнести эти создания. Лишь изучив историю развития морских желудей и морских уточек, установили, что это раки, только очень странные; живут они в раковинах, как моллюски, прикрепляясь головой к скалам, днищам кораблей, к саргассовым водорослям или китам и черепахам, прирастают прочно и уже не могут по своей воле переменить местожительство. Ножки их превратились в двуветвистые усики, которые загоняют пищу в рот. Голова и рот у усоногого рака в самом низу, он, можно сказать, всегда стоит на голове. Подробнее Д. Клинджел пишет об усоногих раках в главе «Чудо приливов».

банку консервов без этикетки. В банке оказались груши, которые гораздо больше отвечали нашему вкусу.

Дэксон сказал, что мы прибудем в Метьютаун часов через восемь, но вот уже близился вечер, а берег был по-прежнему пуст. Перед закатом на горизонте стали собираться черные тучи. Они громоздились все выше и выше, в надвигающемся мраке засверкали молнии. Я спросил Дэксона, не лучше ли подойти к берегу и переждать ночь, чтобы не попасть в шторм. Вместо ответа он степенно указал на едва заметную полоску барьерного рифа, о который разбивался и мерно грохотал прибой. Сплошной извилистой линией, без единого просвета, риф тянулся к западу. Ближайший проход, сказал Дэксон, находится в трех милях отсюда, возле островка Шип-Кей. И если прилив стоит достаточно высоко, там можно будет найти безопасное место для стоянки.

Мы с беспокойством поглядывали на небо; тучи все росли и росли, застилая горизонт. Вскоре раздался гром, его раскаты, то затихающие, то нарастающие, пронесли над самой водой. Наконец при вспышке молнии мы разглядели невысокие очертания Шип-Кея, маленького островка, лежащего рядом с Инагуа. Барьерный риф заканчивался у самого острова и возобновлялся с другой его стороны. Сколько мы ни напрягали зрение, мы не могли обнаружить ни малейших признаков прохода, но Дэксон, по-видимому, зная, что к чему, правил прямо на риф. Мы долго плыли в темноте, затем при вспышке молнии перед нами мелькнул риф. Волны набегали на него и разбивались в мельчайшую водяную пыль.

— Надеюсь, малый знает, что делает, — прошептал Колман. — Хватит с меня рифов на ближайшее время.

Подпрыгивая на волнах, лодки подходили все ближе и ближе к берегу. По воде зашлепал дождь; налетел порыв холодного ветра и тут же стих. Новая вспышка молнии осветила риф — он был не более чем в пятидесяти футах от нас — и по-прежнему никаких признаков прохода. Но Дэксон продолжал идти прямо на берег. Он немного переложил румпель, и при вспышке молнии мы увидели, что нос лодки направлен прямо на небольшую пальмовую рощицу на берегу. Теперь мы плыли очень медленно, так как ветер стих совершенно. При следующей вспышке молнии мы увидели, что между нами и рифом — три гребня волн, потом осталось два, и только в последнюю минуту, когда, казалось, мы вот-вот разобьемся о рифы, открылся крошечный просвет, в который бурным потоком хлестала пена. Волны ходили тут всюду, и при вспышках молнии мы могли разглядеть широкие ветви кораллов, торчащие из воды.¹⁴ На мгновение лодка словно повисла над проходом, а затем

¹⁴ Во время отлива можно подойти к самому краю кораллового рифа, отвесная бугристая стена которого опускается в океан. Она изрезана каналами, гrotами, поросла каменными «деревьями». Ветки этих деревьев усажены бесчисленными «цветами» самых различных расцветок — синими, лиловыми, бурными, красными. Это коралловые полипы. Они высунулись в поисках пищи из пор известковых деревьев, которые сами построили, извлекая известь из морской воды.

Кораллы принадлежат к типу кишечнополостных животных, к которому зоологи относят и медуз. Тело кораллового полипа строением своим напоминает мешок, разделенный внутри шестью (или числом, кратным шести) либо восьмью неполными перегородками. Отверстие мешка — рот коралла. Он окружен венчиком нежных щупалец, похожих на узкие лепестки цветка. Мягкое тело коралла укреплено снаружи или внутри известковым скелетом. Кораллы живут колониями. Колония вырастает в год в среднем только на 3—10 сантиметров, но их такое множество в океане и они занимаются строительством уже так давно, что воздвигли на нашей планете поистине колоссальные сооружения. Например, знаменитый Большой Барьерный риф, окаймляющий восточное побережье Австралии, протянулся с севера на юг на 2,5 тысячи километров, а лагуна атолла Люсансен (к северу от Новой Гвинеи) по площади превосходит Азовское море.

Благородный коралл, из которого делают украшения, не принимает участия в образовании коралловых рифов. Их строят в основном мадрепоровые кораллы (древовидные колонии мадрепоров достигают пяти метров в высоту), альционарии и в меньшей мере горгонии. Не все кораллы имеют известковый скелет. Колония морских перьев (*Pennatularia*) состоит из главного полипа, родоначальника всего «пера», и дочерних полипов, отпочковавшихся от него по бокам. По оси колонии проходит опорный роговой стержень. Рог более упругий материал, чем известь, и поэтому морские перья могут колыхаться в ритм с движением воды, о чем пишет дальше Д. Клинджел.

Актинии, или морские анемоны, близкие родичи шестилучевых мадрепоровых кораллов. Это как бы

вместе с клочьями пены плавно скользнула в лагуну.

— Ух! — вздохнул Колман, когда мы почти без сил опустились на палубу. — Ну и ночь!

Мы ожидали, что шторм разразится с минуты на минуту, но словно разочарованные тем, что нам удалось укрыться, тучи рассеялись. Выглянула луна. Однако приключения на этом не кончились — не успели мы поздравить друг друга с таким счастливым оборотом дела, как крепко сели на песчаную мель. Мы толкали лодку вперед и назад, ругались на чем свет стоит, но все без толку. Дэксон устало вздохнул, пробормотал что-то насчет прилива и уселся на палубе. Вскоре он уже спал, мотая головой из стороны в сторону, в такт легкой качке. Родственники последовали его примеру, улегшись прямо на голых досках, и их дружный храп разнесся над покрытой рябью лагуной.

— Не поспать ли и нам? — сказал я Колману и спустился в трюм — единственное место, где можно было укрыться от ветра...

Меня разбудили голоса и топот ног на палубе. Напротив, на своем парусиновом ложе заворочался Колман. Было очень жарко, я весь вспотел. Кругом темно, хоть глаз выколи, воняло тухлой рыбой и гнилой водой. Я растолкал Колмана. Он пробормотал что-то насчет «идиотов, которые не дают людям спать», и пополз к люку. Мы выбрались на палубу. Еще не рассвело, над водой висел легкий туман, сквозь который доносился шум прибоя. Дэксон уже стоял у румпеля.

— Где мы? — спросил я у Дэксона.

— В заливе Мен-ов-Уор, — проворчал он. — На восходе будем в Метьютауне.

Слипающимися от сна глазами мы обвели смутно видневшийся берег и усеянное звездами небо. Смотреть было больше не на что, разве только на волны, которые с шипением скользили вдоль борта. Колман лег среди груды тел возле румпеля, а я устроился у мачты и, должно быть, вздремнул, потому что, когда снова открыл глаза, небо на востоке посветлело.

Метрах в ста от берега виднелся высокий утес, у которого лениво, словно устав от ночного штиля, плескался прибой. Мы обогнули мыс и направились на юг. Над горизонтом криво висел Южный Крест. Дэксон кивнул в его сторону и пробурчал:

— Метьютаун.

Сначала не было видно ничего, но потом в серой мгле замаячила масса домов. У самого берега высился большой квадратный дом с красными ставнями, позади него — еще несколько строений с длинными флагштоками, похожими на мачты разбитого, потерявшего паруса корабля. Рядом виднелись какие-то высокие тощие деревья, в которых благодаря причудливым формам мы признали казуарину.¹⁵ Между ними также теснились дома всевозможных размеров — самые маленькие из них представляли собой однокомнатные лачуги с крышей из пальмовых листьев.

Внезапно утреннюю тишину разорвал страшный грохот. С пустынных улиц донесся лязг металла, ужасающие звуки труб и звон колоколов. Грохот становился все громче, словно переходя с одной улицы на другую. Мы вскочили.

гигантские полипы, которые, не образуя колоний, стали жить в одиночестве. У них нет скелета, и они могут медленно ползать, сокращая подошву, то есть основание тела-мешка. Щупальца почти всех кишечнополостных, в том числе и медуз, кораллов и актиний, наделены стрекающими клетками — нематоцистами, микроскопическими капсулами с ядовитой жидкостью. Внутри капсулы свернута стрекающая нить, усаженная обращенными назад, как у гарпуна, шипами. Малейшее прикосновение к капсуле — и упругая нить разворачивается, как пружина, с силой выбрасывается наружу и пронзает, словно отравленная стрела, неосторожную жертву. Сотни ядовитых стрел вонзаются в рачка или рыбку и парализуют их. Вот почему все обитатели моря избегают приближаться к актинии, а рак-отшельник таскает ее на своей раковине как надежное оборонительное средство.

¹⁵ Казуарина (*Casuarina quadrivalves*) — австралийское дерево с характерными поникшими ветвями, похожими на рыхлые перья австралийского страуса казуара. Произрастает в засушливых районах. Древесина прочная, красная, используется в мебельной промышленности.

— Что за черт! — воскликнул Колман. — Что там происходит?

Меж тем шум усилился и перешел на ту улицу, где стоял дом с красными ставнями. Появилась пестрая группа людей, веселая темно-коричневая толпа, которая пела, махала флагами, била в барабаны и котелки, звенела огромными бубенцами, брэнчала на каких-то струнных инструментах и орала во все горло. Она двинулась по набережной, прошла квартал, другой и повернула в глубь острова.

— Что, демонстрация? — спросили мы Дэксона.

— Нет, сэр, — ухмыльнулся он. — Встречают рождество.

— Рождество! — ошеломленно повторил Колман. — Вот тебе и на! Про него-то я и забыл!

Я засмеялся, вспомнив о других рождествах, о долгих пасмурных днях в северных странах, где выпадает много снега и сосны темнеют на его фоне, о теплых каминах, у которых собираются семьи. Я вспомнил о святках в заброшенном городке на Гаити, где я и единственный во всем городе белый потащились высоко в горы, через зону пальм к холодным вершинам, чтобы привести сосну его детям. Я улыбнулся, вспомнив, как на ней вместо игрушек висели раскрашенные тыквы и груши и как этот человек делал блестящие из фольги от папиросных коробок. И опять я улыбнулся, вспомнив, как удивились рожденные в тропиках дети, увидев странное дерево, которое растет на высоте больше километра. Отовсюду приходили крестьяне, чтобы посмотреть на это зрелище — сосну, украшенную красными, синими и золотыми блестящими. Мне вспомнилось еще одно рождество, когда, покинув семейный очаг, погрузив в байдарку топор, одеяло и палатку, я поплыл к центру Большого восточного болота. И хотя в тот день дул ветер, валил снег и земля была усыпана бурыми листьями, это было самое мирное рождество в моей жизни. Я ощущал спокойное довольство от того, что кругом меня леса и луга, что поет ветер, кружатся снежные хлопья и шелестит сухая болотная трава. А однажды рождество застало меня в море, на грязном, качающемся траулере; день был мрачный, и мы без конца тянули сети и сортировали мокрую колючую рыбу.

Но это рождество, самое странное в моей жизни рождество на палубе дэксоновской лодки, медленно подплывающей к Метьютауну. Вскоре толпа скрылась на дальних улицах, шум стал затихать и прекратился так же внезапно, как начался. Дэксон сказал, что таков здешний обычай — несколько недель подряд на восходе и на закате люди приветствуют дух рождества. «Странный обычай», — подумал я, но тут же вспомнил, что в это же самое время далеко на севере галантерейщики и владельцы универмагов нанимают профессиональные хоры, которые поют перед входом в магазин гимны, чтобы торговля шла лучше. Они тоже приветствуют рождество; правда, их музыка более утонченна, но ведь островитяне по крайней мере не хотят заработать на своем грохоте.

Тут рождественские воспоминания были прерваны: навстречу нам от берега шла лодка. На корме сидел негр с тяжелой челюстью, держа на коленях сложенный зонт.

— Кто это? — спросил я Дэксона, который неподвижно сидел возле якорного каната.

— О, сэр, это большой человек.

Мы обернулись, еще раз взглянули на «большого человека» и окончательно решили, что он нам все равно не нравится. Хотя солнце стояло уже высоко, на нем было теплое пальто и фуфайка — одежда, вполне подходившая для северной зимы. Естественно, он чудовищно потел. На груди у него красовалась золотая цепочка от часов, какие были в моде в конце прошлого века, и это еще усугубляло импозантность, так и сочившуюся из всей его внешности.

— Что ему нужно? — снова прошептал Колман. — Может, он прибыл с официальным приветствием?

Лодка остановилась рядом, и человек, представившийся нам как мистер Ричардсон, сообщил, что занимается вопросами спасения имущества. Он пояснил, что обычно лица, потерпевшие кораблекрушение, уполномочивают вести свои дела специальных агентов (а он среди них — главный), которые ведают вопросами налогообложения, распродажей остатков

имущества и вознаграждением за его спасение. Мы, конечно, тоже получим свою долю — около восьми процентов общей стоимости имущества, а может, несколько меньше — в зависимости от результатов аукциона, который, о чем нам, безусловно, известно, состоится в ближайшем будущем. Когда комиссар даст нам разрешение на высадку, мы сможем застать мистера Ричардсона у себя — в большом белом доме около правительственного здания, и он будет счастлив обсудить все более подробно.

Сделав это ошеломляющее заявление, наш новый знакомый раскрыл зонтик и под его сенью отбыл на берег. С минуту мы безмолвствовали, затем Колман стал чертыхаться на чем свет стоит.

— Как этот малый разнюхал, что мы потерпели крушение?

— Понятия не имею, — ответил я. — Возможно, ему уже шепнул на ухо кто-нибудь из этой дэксоновской оравы. Во всяком случае, сперва надо попасть на берег, а там разберемся.

— Можем ли мы сойти на берег? — спросил я Дэксона.

— Да, сэр капитан, после того как получите разрешение комиссара, — он будет здесь, как только скушает завтрак.

Восемь часов. Девять. В полдесятого жара на палубе стала невыносимой. В десять мы с Колманом потеряли всякое терпение.

— Если этот тип не появится сейчас же, я сам сойду на берег, — проворчал Колман. — Неужели он думает, мы собираемся украсть его паршивый остров?

И он принялся отвязывать фалинь маленькой лодки, которую мы тащили за кормой. Но тут прибыла лодка с двумя посланиями — приглашением на обед от мистера Ричардсона и разрешением высадиться от комиссара. К посланию комиссара была приложена записка, в которой нам предлагалось в час дня явиться на суд в правительственное здание — то самое, с красными ставнями.

Мы недоуменно переглянулись.

— Что за чертовщина? — спросил я Колмана, — Ты что, убил кого-нибудь и меня припутал? За что нас будут судить?

— Вот те крест никого не убивал, — ответил он.

Через несколько секунд мы подошли к берегу и, выскочив из лодки, быстро вытащили ее на песок. Берег перед нами круто подымался вверх. Взойдя по склону, мы вышли на улицу города.

Это был умирающий город. Брошенные, обветшалые дома смотрели на нас пустыми глазницами окон. В скособочившихся крышах зияли большие дыры, сквозь них в темную пустоту помещений лились золотые потоки солнечного света. Садовые изгороди разрушились и превратились в груды обломков, цветы в буйном беспорядке смешались с сорняками и широколистными опунциями.

На улицах лежала печать запустения и нищеты, печать тем более явственная, что когда-то поселок благоденствовал и процветал, так как улицы были широки и хорошо вымощены, вдоль них были проложены водостоки и линия домов была строго выдержана. Но это было давным-давно, а теперь ставни, на которых еще сохранились следы краски, болтались по ветру на ржавых петлях, а иные так и вовсе валялись в траве. На многих домах ставней не было совсем — они давно упали или рассыпались в прах. Сквозь зияющие окна виднелись остатки полов, усыпанные мертвыми листьями и дранкой. Там и сям среди развалин попадались дома, еще обитаемые, но и от них, как от их соседей, веяло печалью. Только правительственное здание с его веселыми красными ставнями хоть в какой-то мере производило впечатление благополучия и основательности.

Притихшие, захваченные зрелищем умирающего поселка, мы не заметили, как к нам приблизился босоногий мулат с запиской от мистера Ричардсона, в которой напоминалось, что он ждет нас к себе и что обед уже готов. Вслед за слугой мы вошли в большой дом, стоявший в первой от берега линии домов, и поднялись по шатким ступеням. Нас ввели в обставленную в викторианском стиле гостиную, из которой открывался вид на море и побережье.

Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем занавес в дальнем конце комнаты раздвинулся и показался хозяин.

Он провел нас в другую комнату и представил своей жене — довольно миловидной сидящей женщине с неуловимым выражением усталости на лице, выражением, словно навеянным печальным зрелищем опустелых улиц. Это особенно бросалось в глаза рядом с тяжелым, обрюзгшим лицом Ричардсона. Губы у него были толстые, глаза с красными прожилками, а резко очерченные круги под ними свидетельствовали о том, что он пьет. Выглядел он не очень привлекательно, но держался весьма любезно. Нас пригласили к столу, на котором стояли миски с икрой, горохом, рисом и мясом, относительно которого хозяин дал нам разъяснение, что это мясо дикого быка.

Обед прошел вяло. Ни Колман, ни я не были расположены к беседе, да и наше недоверие к хозяину все более возрастало.

Очень скоро стало очевидно, что он пригласил нас на обед вовсе не из дружеских чувств, а единственно потому, что хотел узнать, кто мы такие и сколько стоит наше имущество.

В том, что рассказал нам Ричардсон, было мало утешительного. Оказывается, мы были далеко не первыми, кто разбился на рифах Инагуа; всего лишь год назад, рассказывал он, в заливе Мен-ов-Уор потерпело крушение четырехмачтовое судно, и за все спасенное имущество капитан получил двести пятьдесят долларов, которых едва хватило на дорогу домой. Команде пришлось возвращаться с попутными пароходами. Всеми этими делами занимался он, Ричардсон; порядок нам, конечно, известен. Правительство требует распродажи имущества, выручка делится между спасателями, агентом и правительством, остаток получают владельцы. Остаток этот, сообразили мы, должен быть весьма мал. Если уж капитан судна, стоящего сотни тысяч долларов, получает всего двести пятьдесят долларов, то наша выручка будет микроскопически ничтожна.

Конечно, все это весьма печально, с улыбкой пояснил Ричардсон, но нечего и думать о том, чтобы как-то обойти этот порядок. Таков обычай и закон. Более того, — при этом Ричардсон развалился на стуле и откусил кончик громадной сигары, — он, Ричардсон, владеет большей частью острова, заправляет всеми делами, все тут делается так, как ему хочется, и все возникающие вопросы решает он. Конечно, очень печально, что мы потерпели кораблекрушение, но уж он позаботится о нас, чтобы с нами обошлись справедливо...

Его снисходительный вид и высокомерная болтовня до того разозлили нас, что, боясь сорваться, мы не проронили ни единого слова. Но наше молчание его не смущало; как ни в чем не бывало он продолжал важничать и разглагольствовать. Он принялся рассказывать о том, как начинал жизнь, не имея за душой ничего кроме решимости пробиться наверх, как с помощью одного только ума преодолел громадные трудности, как мало-помалу добился власти над островом и сделался его повелителем. Он немилосердно хвастал, с наглой откровенностью рассказывал, как при помощи всяческих махинаций прибирал к рукам богатства острова. Я выглянул в окно и, увидев покинутые ветшающие дома, подумал — не он ли стал причиной упадка острова?

Ричардсон все говорил и говорил, пока мы с Колманом не начали беспокойно ерзать на стульях. А он, несомненно, чувствуя нашу беспомощность, весело и нахально ухмыльнулся. Развалясь на стуле, откусил от сигары еще кусок и осклабился снова.

— Да, Инагуа, знаете ли, забавный островок, — сказал Ричардсон, и ухмылка на его лице стала двусмысленной, — вот увидите, чертовски забавный.

Глава V

ЖИЗНЬ НА ОСТРОВЕ

Со временем мы убедились, что Инагуа не только «чертовски забавный островок», но и одно из тех странных, экзотических и поистине очаровательных мест, где от

действительного до чудесного один только шаг. Нашим глазам открылась картина невероятной красоты, на которой в дивном и замысловатом узоре сплелись цвет и движение — эти бесценные сокровища природы. Временами мне казалось, что остров только недавно появился на свет, что на нем свежа еще печать сурового моря, из лона которого он словно вчера был поднят творящей рукой природы. Но еще чаще Инагуа представлялся мне островом спокойствия, даже мирного счастья, загадочным клочком суши, где прекрасное, таинственное и просто эффектное сливаются и сменяют друг друга в калейдоскопическом многообразии форм.

Однако в тот момент мы ни о чем таком не думали и видели остров в свете рассказов Ричардсона. Инагуа — всего-навсего «чертовски забавный островок», это не вызывало у нас сомнений. Гора свалилась у нас с плеч, когда мы вышли из дома нашего гостеприимного хозяина. Как хорошо под вольным небом! Нам опять захотелось очутиться у лагуны Кристоф и никогда больше не видеть этого умирающего города. Но это было невозможно, и мы под взглядами зевак, толпившихся в тени казуарины, двинулись через улицу к правительственному зданию с красными ставнями. В чертах людей с поразительной отчетливостью проступали признаки смещения рас. С несомненно негритянских физиономий смотрели бледно-голубые глаза; упорно вьющиеся волосы при типично английском складе лица с тонким английским носом; британские веснушки боролись за превосходство с пигментом черной Африки; на бледнокожих англо-саксонских лицах — толстые негритянские губы.

Но не только это смещение рас бросилось нам в глаза. Лица этих людей, казалось, никогда не знали смеха — такими тусклыми и безрадостными они были. Разочарование и угрюмость сквозили в разрезе глаз и опущенных углах губ.

Зеваки расступились, и мы перешагнули через порог узкой, длинной комнаты. Сквозь маленькую дверь в дальнем ее конце виднелась жгучая синь океана. Было видно, как набегают на берег волны и рассыпаются на песке сверкающей пеной. Мы огляделись. Под британским колониальным флагом на месте судьи восседал безупречно одетый негр. Черты его были правильны и не лишены привлекательности. На лице застыла несколько высокомерная улыбка. Около него стоял другой негр средних лет в красно-синей форме с золотым кантом. Нам указали на места подле островитян.

— Вы готовы, капитан?

Я ответил, что вполне готов и хочу знать, в чем нас обвиняют.

Нам сообщили, что мы высадились на территории британской колонии, не имея на то соответствующего разрешения, и что необходимо расследовать «трагедию кораблекрушения». Я заверил судью, что «трагедия кораблекрушения» постигла нас не по нашей воле и что мы совершили незаконную высадку на территорию колонии Его Величества отнюдь не ради своего удовольствия. Улыбка на лице негра на некоторое время стала шире.

Негр в форме вывел Колмана из зала, и разбирательство началось. Я торжественно присягнул, что «буду говорить правду, всю правду и только правду», и поцеловал огромную Библию, лежавшую на столе. Затем по требованию комиссара рассказал всю историю кораблекрушения, начиная с момента отплытия, и все мои слова были прилежно записаны в книгу. Я рассказал, как мы вышли в море, как попали в шторм, как, усталые и измученные, закончили плаванье на рифах у лагуны Кристоф. Я рассказал о задачах экспедиции и о том, как мы оказались в лодке Дэксона. С таким же успехом я мог бы прочесть ему стишок «У Мэри был ягненочек» — комиссар был невозмутим. Улыбка словно застыла на его лице, а мои слова незамедлительно фиксировались в книжке.

Когда я кончил, мне знаком предложили вернуться на свое место. Ввели Колмана. И снова мы вышли с ним в море, снова единоборствовали с ураганом. Снова одно за другим заполняли книжку слова, заносились в нее образцовым спенсеровским почерком. И вот наконец мы опять разбились о рифы, путешествие окончено. Колман сел рядом со мной.

Комиссар закрыл книжку, передал ее негру в форме и задумчиво забарабанил пальцами

по столу. С берега через открытую дверь доносились вздохи и плеск прибоя. Прибой вздохнул не меньше двенадцати раз, прежде чем комиссар принял решение.

— Думаю, вас можно освободить, — сказал он, — но боюсь, что придется задержать ваше снаряжение до аукциона, — улыбка стала шире, — на котором, как вам уже, наверное, сообщили, оно будет распродано. Правительство удерживает одну треть выручки, столько же получают спасатели, остальное делится между вами и агентом. На обратную дорогу вам, может быть, и хватит.

Обескураженный таким поворотом дела, я достал пачку бумаг, среди которых была переписка государственного секретаря США с министром по делам колоний в Нассау, касающаяся нашей экспедиции.

— Может быть, эти документы что-нибудь изменят?

Комиссар с серьезным видом прочел их и, не меняя выражения лица, вернул мне.

— Очень жаль, но я все же вынужден задержать ваше снаряжение, пока не свяжусь с правительством. А теперь вы свободны.

Мы вышли на улицу.

— Ну, что будем делать? — спросил Колман.

— Не имею ни малейшего понятия, — ответил я, — но раз уж мы вынуждены ждать, то неплохо бы найти какое-нибудь пристанище. Так или иначе нам нужно где-то спать. Унывать нечего, подождем, пока комиссар сочтет возможным вернуть нам наше имущество.

Мы пошли по длинной прямой улице, тянувшейся среди разрушенных домов. Один из зевак двинулся за нами следом, окликнул нас, и мы остановились.

Человек подошел ближе — тонкое, изжелта-бледное лицо, босые в шрамах ноги — и назвал Дарврилем. Он хочет показать нам одну вещь, очень красивую вещь. В руке он сжимал туго завязанный платок. Он осторожно развернул его. Внутри оказался яйцевидный, мерцающий радужным блеском предмет — розовая жемчужина величиной с горошину. Цена — тридцать пять долларов.

Колман рассмеялся.

— Очень симпатичный шарик, мистер, — сказал он, — Но если бы у вас тут продавались сосиски, за полцента штука, я не смог бы заплатить даже за воду, в которой они варились.

Слово «сосиски» озадачило Дарвриля; он разочарованно завернул свою жемчужину. Она действительно была красива — нежного оттенка, с красноватыми переливами по краям. Дарвриль сказал нам, что раковины с жемчужинами попадают за рифами. Но мы не могли покупать жемчуг. У меня в кармане было около двадцати долларов, у Колмана — и того меньше. Все аккредитивы погибли при кораблекрушении, да и получить по ним на Инагуа было бы невозможно. Более того, мы не имели ни малейшего представления с том, где будем ужинать и где найдем себе ночлег. Так что жемчужный рынок Инагуа должен был как-нибудь обходиться без нас.

Дарвриль, потеряв к нам интерес, отстал, а через несколько минут остались позади и дома. Метьютаун — совсем крошечный городок, скорее даже поселок, заброшенный, хиреющий в ленивой дремоте и быстро возвращающийся в землю, которая его породила. Мы вздохнули с облегчением, выйдя из него, и быстрыми шагами двинулись вдоль берега.

Сперва мы шли по песку, но вскоре он сменился крутой стеной бурых коралловых утесов, о которую с громом разбивался прибой. Мощно вздымаясь, громоздясь все выше и выше, темно-синие валы стремительно бежали к берегу и с грохотом обрушивались на кораллы. Свет пронизывал обрушивающуюся на берег воду, затем она отступала в море, и свет тонул, растворялся в мерцающей синеве. Море дышало чистотой и свободой и имело так мало общего с картиной унылого, разрушающегося города, что у нас пропало всякое желание идти дальше, и мы легли на берегу, почти у самой воды.

Мы лежали молча, глядя на вспененную воду. Впервые за много недель мы получили возможность побыть наедине с собой, спокойно подумать. Экспедиция потерпела неудачу, на снаряжение наложен арест, денег нет, алчные люди того и гляди доберутся до нашего

имущества — тут было над чем призадуматься. Положение не из приятных. Как отнесутся к этому в музее? Что мы им напишем? Как объясним свою неудачу?

Колман стал мечтать вслух.

— Прелестное место, правда? — задумчиво сказал он. — Смотри, как плещет о скалы прибой; видишь, вон там, где утесы расступаются, берег песчаный, а позади — кактусы. Вокруг — ни души. Почему бы нам здесь не остаться? Построим из коралла дом и займемся исследованиями. С городом нас все равно ничто не связывает, да и народ там не слишком-то веселый. Как ты считаешь?

Я окинул взглядом море, бурые скалы, залитый солнцем берег и зеленые заросли. Прелестное место. Почему бы нам здесь не остаться? Кругом сколько угодно камня и карликовых пальм. В материале недостатка нет.

Действительно, почему бы нет? Я вскочил на ноги, передо мной снова забрезжил луч надежды. Но тут же я вспомнил, что у нас нет никаких инструментов, даже топора. Впрочем, может быть, удастся уговорить комиссара, чтобы нам позволили взять кое-что из нашего снаряжения, не дожидаясь указаний из Нассау. Было решено, что я пойду в город и поговорю с ним, а Колман тем временем поищет место для лагеря.

Темнолицый комиссар, по-прежнему слегка улыбаясь, выслушал меня и после минутного колебания согласился. При ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж бездушным. Вручив помощнику ключи, он объяснял ему, что мы можем взять из снаряжения, которое хранилось теперь в сарае, все, что попросим. Затем повернулся ко мне и выразил сожаление, что не может больше ничем помочь: если он вернет нам имущество, Ричардсон может поднять скандал. По-видимому, письмо государственного секретаря и другие бумаги произвели на него впечатление. Комиссар добавил, что постарается сделать для нас все, что в его силах, пока не получит распоряжения из Нассау.

Когда, шатаясь под тяжестью груза, я вернулся к утесу, Колмана нигде не было видно. Сбросив тюк на землю, я вытер пот, заливавший мне глаза, и позвал его. Колман тотчас же вынырнул из зарослей, его лицо сияло. Поманив меня рукой, он повернулся и снова исчез в зарослях лаванды и железного дерева. Я последовал за ним. Он вытянул вперед руку: футах в пятидесяти от нас, между двумя массивными кактусами, ютилась крохотная коралловая хижина, крытая пальмовыми листьями.

Из глубины памяти всплыли слова какой-то давно прочитанной книги — дома строят не для людей, а для пауков. Люди строят дом, поселяются в нем, наполняют его своими голосами, своим смехом, плачем, ссорами, гневом, они укрываются в нем от непогоды, рожают и вскармливают детей, спят и в конце концов оставляют дом последнему жильцу — восьминогому пауку. Такова судьба всех домов, если только они не гибнут раньше времени от пожара, войны или землетрясения. Рано или поздно веселые голоса затихают, удаляются и замолкают навсегда. Дети, как птенцы, покидают гнездо, старики умирают или переселяются в более плодородные долины — и тогда дом занимают пауки, чтобы прясть свою осеннюю паутину — саван для забытых, рассыпающихся в прах вещей.

Этот дом давно уже был занят пауками. Один из них, большой, черный, бесшумно скользнул в сторону и скрылся в щели, когда мы открыли скрипучую дверь. Я видел слабое мерцание его немигающих глаз. Липкая паутина коснулась моей щеки. Я хотел стряхнуть ее, но она прилипла к пальцам. В конце концов паутина упала, и на косяке стали видны полустершиеся карандашные отметки, расположенные примерно в сантиметре друг от друга, и тут же неразборчиво нацарапанные даты. Такие же отметки делались на косяке двери в моем собственном доме — в тысяча восьмистах милях к северу отсюда. По ним следили, как растут дети. У нас верхняя черта была поставлена в августе 1914 года — в этом месяце началась первая мировая война.

Я толкнул ставню, она с треском отвалилась и упала в траву. Солнечный свет хлынул в окно, ярко осветив две пыльные комнатухи. Убогий дом! — четыре голых стены, крыша — и больше ничего. Но деревянный пол, хоть и скрипел, был еще крепок, а крыша сохранилась почти в целости. Положить на нее несколько пальмовых листьев — и она будет в полном

порядке. Стены были сложены из коралла, слабо мерцавшего побелкой из-под десятилетнего слоя пыли.

Метлой, сделанной из палки и пучка листьев, мы очистили дом от паутины и прогнали пауков вниз, под каменные стены, откуда они первоначально появились. Только одному из них, черно-желтому, разрешили остаться. Мы долго пытались выманить его из щели, но он только глубже забирался в нее и угрюмо взирал на нахальных пришельцев. Затем мы спустились с куском парусины к морю, набрали в него воды и, вернувшись в дом, обильно сполоснули пол теплой морской водой. При этом из одного угла выбросили останки желто-оранжевого краба; его панцирь, застучав по полу, рассыпался на куски.

Покончив с уборкой, мы отошли подальше, чтобы полюбоваться нашим вновь обретенным жилищем. Лучшего места нельзя было и желать. Дом, прикрытый с востока от пассатов кактусами, так хорошо вписывался в ландшафт, что уже на расстоянии нескольких шагов его трудно было заметить. Буйно разросшиеся опунции и сорная трава со всех сторон окружали его и затрудняли проход во двор, однако за какой-нибудь час мы основательно поправили дело при помощи мачете. Когда мы кончили, солнце уже садилось, по земле стлались длинные тени.

— Недурно, — сказал Колман. — Теперь не мешало бы и поесть.

— Это можно, — улыбнулся я и повел его на берег, где оставил банки с консервами.

Не зная, что окажется внутри, мы открыли наугад две банки — этикетки были с них смыты. В одной оказалась лососина, в другой — груши. Это было довольно странное меню, но мы мигом все проглотили и выкинули пустые банки в море...

Наступало утро. Солнечные лучи проникли в открытые окна, медленно передвигаясь по полу, переползли через наши тела и золотыми пятнами расцвели коралловые стены. Хорошо было дремать, греясь в лучах утреннего солнца. Это была нервная реакция на события прошедших дней. Мы устали от моря, устали волноваться за доверенное нам снаряжение, нам теперь было все равно. Спешить некуда, по крайней мере в данный момент, и мы, закрыв глаза, дремали и дремали.

За хижинкой, за невысоким каменистым склоном слышался негромкий ропот моря — шелест-вздох, шелест-вздох. Пассат стих, и волны плескались лениво, словно маятник, отсчитывающий время. Куда вам спешить теперь? Куда спешить? Мимо порога ползла ящерица, она замерла на миг, как статуэтка, и бросилась за пролетающим жуком. Запели птицы, донесся неясный шорох невидимых крыльев, нежное воркование голубей. С земли подымались чистые, зеленые запахи — аромат листьев, цветков, благоухание опунций. На острове начиналось утро, тихое и мирное — в сиянии солнца, пении птиц и шепоте моря. Мы встрепенулись и открыли глаза.

Уоли улыбнулся, лег на другой бок и зевнул.

— Хорошо, черт побери, — сказал он, вскочил на ноги и, сбросив оставшуюся на нем одежду, побежал, к морю. С громким криком он подпрыгнул и погрузился в воду. Фонтан брызг взметнулся ввысь, морская синь прорезалась широкой пенистой полосой. Мне было тоже хорошо, впервые за много недель я действительно отдыхал.

Выкупавшись, мы разлеглись на камнях, наслаждаясь солнцем и наблюдая, как волны взбегают на берег и скатываются обратно. Большая четырехмачтовая шхуна выходила в открытый океан из пролива Ямайка на север. Она направлялась в Америку, вероятно, с грузом сандалового дерева, который взяла на Гаити. «Можно было бы уехать на одной из них», — задумчиво проговорил Колман, но было ясно, что он шутит. Возвращаться сейчас домой не имело никакого смысла. Там холодно, солнца нет — по крайней мере такого, как здесь, — нет теплого синего моря, негде купаться. Правда, мы не знали, удастся ли нам сегодня позавтракать, но нас это отнюдь не волновало — нам было хорошо.

Внизу, на скалах, и наверху, возле хижин, неслышно сновали крабы и ящерицы; многие из них были нам известны; кругом порхали птицы — голуби, славки и медолубы,¹⁶

¹⁶ Медолуб (*Cyanerpes cyaneus*) — небольшая птичка из отряда воробьиных, семейства Coerebidae,

море тоже кишело живыми существами. Мы ничего не знали о них, об их привычках, их месте в потоке жизни. Уже одно только любопытство могло удержать нас на острове.

Но как бы там ни было, жить без пищи нельзя, а все наше имущество продолжало оставаться под арестом. Мы направились в поселок, уповая на то, что колониальные власти в Нассау предпишут комиссару вернуть нам снаряжение. Прогресс цивилизации не обошел Метьютаун стороной — в городе имелась небольшая радиостанция, принадлежавшая британскому правительству, так что не исключена была возможность, что ответ из Нассау уже пришел. Мы благодарили господ за то, что на земле существует радио, без которого нам действительно пришлось бы худо.

Директивы из Нассау пришли в середине дня. Как мы и ожидали, колониальные власти распорядились вернуть нам снаряжение и оказывать всяческое содействие. Со своей неизменной чуть заметной улыбкой комиссар известил нас об этом и вручил ключ от хранилища. Он как будто немного оттаял, в остальном же его поведение несколько не изменилось. Я никогда не встречал человека более выдержанного. Позже я понял, почему он был такой: очень уж нелегкая была у него должность. Будучи негром, он несе ответственность за судьбу острова, сосредоточивая в своем лице судебную и исполнительную власть, и был вынужден лавировать между различными враждующими группами населения, вызывая к себе злобную зависть негров и мулатов и презрение белых или почти белых. И вот в порядке самозащиты он отгородился от всех застывшей улыбкой, скрывавшей его истинные чувства. Живи он в городе побольше, в этом не было бы нужды, но нет зависти более горькой и более отвратительной, чем та, которую жизненные разочарования порождают в жителях уединенных от мира островов. Он был удобным объектом для насмешек, потому что слишком следил за своей речью и манерами. Легко смеяться над шрамами, если сам ни разу не был ранен.

Узнав о снятии ареста с нашего имущества, Ричардсон пришел в ярость и, чтобы хоть как-то выместить свою злобу, прислал нам громадный счет за обед, на который сам же нас пригласил. Разумеется, мы отказались платить, но увидев, что это грозит комиссару кучей неприятностей, решили уступить, хотя и пришлось расстаться с последними деньгами. Ричардсон, по-видимому, был грозой этого острова, и все его боялись. К нашему облегчению и ко всеобщему ликованию, несколько недель спустя он скоропостижно умер от пьянства, сердечной слабости и целого ряда других недугов, которые невозможно полностью перечислить. После его смерти мы вздохнули свободнее. Без него на острове стало как будто просторнее. Я думаю, что беда Ричардсона заключалась в том, что его обуревало честолюбие, а на острове негде было развернуться. Инагуа — забавный островок — в той или иной мере определял характер своих обитателей. Ричардсону не повезло, и в нем развились неприятные черты. Причину его высокомерного поведения за обедом нужно искать в какой-нибудь обиде, много лет назад нанесенной белым человеком. С тех пор он жаждал отмщения. Заставить двух белых буквально ерзать на стульях от смущения — для него не было мести слаще. И не важно, что мы были совсем другими белыми.

Теперь оставалось удовлетворить Дэксонов, и в конце концов нам это удалось, хотя, старший из них, Дэвид, рассвирепел, узнав, что он лишается своей доли добычи. По наущению Ричардсона он подал нам счет на семьдесят пять фунтов стерлингов но мы сочли, что это слишком много. Остров наложил свой отпечаток и на него. Всю жизнь Дэвид прожил на грани нищеты, копаясь в бесплодной земле, и призрак нежданного богатства нарушил его душевное равновесие. Он был в долгу у Ричардсона и надежды расплатиться с ним пошли прахом. Мы не винили его мы ему сочувствовали; в конце концов он утихомирился и получил за помощь сколько следовало.

питающаяся нектаром цветов. У медолюба такой же, как у колибри, длинный, чуть изогнутый вниз клюв и яркое, синего цвета, оперение; крылья — черные, темя — голубоватое. Описано 36 видов медолюбов, все они распространены в тропических лесах Южной и Центральной Америки, но некоторые проникают на север до Флориды.

Итак, мы поселились в хижине на берегу моря, стали островитянами.

Хотя в хижине было всего две комнаты, мы устроились очень удобно; в сущности человеку и не нужно больше двух комнат. Одну мы отвели под спальню, другую — под лабораторию. Из двух длинных досок, также найденных на берегу, мы сделали лабораторный стол. Доски, покрытые водорослями и морскими желудями, служили приютом для целой компании тередо¹⁷ и других морских животных, но они были еще крепки, и, очистив, мы пустили их в дело. После этого в продолжение многих дней подряд мы находили на полу лаборатории крохотных креветок и веслоногих рачков, которые ютились в щелях досок и выползли теперь на поиски таинственно исчезнувшей воды. Удивительно, как долго сохраняется в вещах запах моря. Ночью, сидя в шезлонге, снятом с парусника, я закрывал глаза, вдыхал аромат, исходивший от этих принесенных морем досок, и переносился за тысячу миль от острова: их запах — смутный запах мертвого камыша, болотной грязи и разлагающейся рыбы — напомнил мне о соляных болотах и равнинах в окрестностях Чесапикского залива.

В постройке нового дома есть что-то от первооснов человеческого существования, с этим связан некий инстинкт, восходящий к тому времени, когда примитивное двуногое существо, ища укрытия от стихий, заползло в пещеру и перегораживало вход палками. От сознания, что ему не грозят более холод, дождь и палящее солнце, человеку становится легче и покойнее на душе; он знает, что у него есть приют, где можно отдохнуть и собраться с силами, чтобы встретить грядущий день. Первый костер, разложенный на уступе неандертальского утеса, до сих пор горит в нашем очаге. И пещерный житель, который, устав на охоте, валился на шкуры в своей берлоге, — родной брат современному человеку, который, придя домой, ложится в кровать. Странная привычка спать на возвышении да минувшие с тех пор сотни тысячелетий — вот и вся разница между ними.

Я думаю, мне в какой-то степени знакомы чувства пещерного человека или, во всяком случае, я смею притязать на ближайшее родство с ним, потому что наше жилище было так похоже на его. Если бы не деревянный пол, наша хижина мало чем отличалась бы от голой пещеры. Первобытная природа подступала буквально к самому порогу. Ни ветер, ни даже снежный буран, бушующий у входа в жилище доисторического человека, не могли дать ощущения большей близости к стихиям, чем неумолчная панихида пассата, рвавшегося к нам сквозь ставни и свиставшего в пальмовых листьях, служивших крышей. Ночью звук становился как будто еще пронзительнее, и тогда казалось, что в темноте бушует яростная сила, вечно рвущаяся на запад.

Но как бы примитивна ни была наша хижина, она стала для нас настоящим домом. Из кучи вещей, сложенных у двери, мы выбрали самое необходимое: керосиновую лампу, две койки, одеяла, книги, писчую бумагу, инструменты и табак. Прочее накрыли парусиной и оставили на месте. Когда после долгих скитаний по берегу или в джунглях перед нами в последних лучах вечернего солнца появлялись белые стены нашей хижины, из груди у нас вырывался вздох облегчения. Здесь была долгожданная прохлада, отдых для уставших ног, пища для пустых желудков. Должно быть, с таким же облегчением вздыхал дикарь, увидев черную дыру своей пещеры.

Как только мы устроились, я вспомнил об одной очень неприятной обязанности. Нужно было написать письма тем, кто помогал нам, и объяснить им, что мы потерпели неудачу. Я

¹⁷ Тередо, или корабельный червь (Teredo, Bankia), причиняет колоссальные убытки, разрушая деревянные портовые сооружения, сваи мостов, плотины и деревянные днища кораблей. На самом деле тередо не червь, а двустворчатый моллюск — вытянувшаяся червем ракушка. Створки недоразвитой раковины превратились в сложно устроенный напильник, которым тередо сверлит дерево. Постепенно вгрызаясь в дерево, тередо точит в нем узкие (до 15 миллиметров в поперечнике) и длинные (до 30 сантиметров) ходы. А корабельный червь банкия сверлит тоннели длиной даже до 80 сантиметров, быстро превращая дерево в труху. Питается тередо опилками. Для защиты от корабельных червей днища деревянных судов обшивают медными листами или тщательно наносят на них особые краски.

со дня на день откладывал это дело, оправдываясь перед собой тем, что письмо все равно не с кем отослать. Но в одно прекрасное утро с севера из-за горизонта показался парус. Это была шхуна, заходившая на остров на несколько часов раз в полмесяца. Рейсами этой шхуны да редкими визитами кораблей голландской пароходной компании или случайных яхт ограничивались связи Инагуа с внешним миром. С упавшим сердцем я уселся на стул и застучал по клавишам ржавой пишущей машинки.

Трудно было сознаться в неудаче, но еще труднее признать, что ей нет оправдания. Только крайним утомлением после шторма можно объяснить то, что мы отказались от несения вахты, когда легли в дрейф у незнакомых берегов. Что я мог сказать в свое оправдание? Я описал все как можно проще. В тот вечер, когда ушла шхуна, меня охватило глубокое уныние, почти депрессия, которую я не мог преодолеть. Даже прибой, эхом отдававшийся от стен хижины, нагонял на меня тоску. Но еще хуже мне стало несколько недель спустя, когда я провожал прощальным взглядом белую фигуру Колмана, стоявшего на палубе парохода, зашедшего на остров по пути на север. Уоли вызвали домой. Он был веселым спутником, и мне было очень жаль расставаться с ним. В ту ночь наша маленькая хижина казалась особенно пустой; ветер дул сильнее обычного, завывая в листьях крыши и задувая лампу; пришлось поставить ее пониже и завесить парусиной. Впоследствии мне один только раз довелось испытать подобное гнетущее чувство тоски; это было, когда я искал гнездовья фламинго. Часами я лежал без сна, ворочаясь на койке и прислушиваясь к шороху листьев и глухому, монотонному гулу прибоя.

Тем не менее я не мог долго унывать: слишком хорошо было на Инагуа и слишком много было у меня работы. Жизнь в одиночку, хотя порой она и была для меня сущей пыткой, начала приобретать характер увлекательного приключения. Уже на поляне, где стояла наша хижина, происходило много интересного. Стенами хижины владели круглопалые гекконы,¹⁸ крохотные коричневые ящерицы, легко помещавшиеся внутри моего перстня. Их микроскопические лапки с пятью пальцами, как явствует из названия, снабжены липкими подушечками, позволяющими ящерице ползать, подобно мухе, вверх ногами по самому гладкому потолку. Круглопалый геккон — ночная ящерица, и я скоро привык к тому, что с наступлением темноты они начинали сновать взад-вперед по стенам хижины. Они до того малы, что в потемках я часто принимал их беготню за возню насекомых. Эти ящерицы были первым открытием, сделанным мной на Инагуа; я обнаружил, что по строению тела они отличаются от всех ранее описанных круглопалых гекконов. Этот вид был неизвестен науке и, как нам удалось доказать, распространен только на Инагуа. Я проводил долгие часы, наблюдая за этими существами и изучая их привычки. Пытаясь установить, где они прячутся от ярких солнечных лучей, я даже разобрал карнизы постройки.

Одна из ящериц (это была дама) поселилась в щели лабораторного стола и снесла там гладкое, твердое яичко. Меня поразило, что яйцо по диаметру было больше самой ящерицы. Каким образом ящерица с талией в полсантиметра могла отложить яйцо такого же размера оставалось для меня загадкой до тех пор, пока я не развел целое семейство таких ящериц и не увидел кладку яиц. Сидя, словно акушер, перед банкой с ящерицами, я обнаружил, что в момент кладки яйца его скорлупа совершенно мягкая, словно кожаная, и лишь четверть часа спустя она твердеет, окрашивается в нежно-розовый цвет и яйцо становится круглым. Я

¹⁸ Гекконы, или цепкопалые ящерицы, легко могут бегать по гладкой вертикальной поверхности, даже по стеклу, вниз головой. Снизу на пальцах у них кожистые пластинки. Пальцы плотно прижимаются к стене, затем особые мускулы приподнимают эти пластинки, между ними и субстратом образуется безвоздушное пространство. У круглопалых гекконов (*Sphaerodactylus*) присасывательные пластинки образуют на пальцах широкие диски.

Все гекконы — некрупные ящерицы, длиной не более 30 сантиметров, а некоторые виды — самые мелкие на Земле пресмыкающиеся. Обитают гекконы в разнообразных условиях: в пустынях, на скалах, на деревьях, на стенах домов. Ведут преимущественно ночной образ жизни.

положил крохотные яички в надежное место и в течение двух месяцев каждый вечер проверял их. Наконец первый дрожащий младенец проделал аккуратное отверстие в стенке своей тюрьмы и вышел навстречу судьбе, готовый решать все те сложные проблемы, которые ставит жизнь перед взрослой ящерицей. У этих самых мелких на земле пресмыкающихся родители не заботятся о своих отпрысках, не нянчатся с ними, не тратят драгоценного времени на их обучение и воспитание. В день бракосочетания яйцо обеспечивается всеми учебными пособиями, которые понадобятся детке. Провидение не забывает даже ничтожнейших созданий природы.

В щелях кровли обосновалось семейство скорпионов, а на самом коньке жила обыкновенная мышь. Подобно мне, она была здесь чужеземкой. По всей вероятности, ее предки переселились на остров из трюма заезжей шхуны. Я не ссорился ни с ней, ни с черно-желтым пауком, который по-прежнему занимал трещину в стене. Я знал, что они безвредны, и был вознагражден за свою снисходительность массой развлечений.

Занимательнее всего были вечера, когда раки-отшельники¹⁹ выползали из убежищ и начинали свои ночные похождения. Без преувеличения можно сказать, что раков-отшельников на Инагуа сотни тысяч, они заселили все расщелины и норы, какие только есть на острове. Эти ночные животные замечательны тем, что их мягкий, белый хвост совершенно лишен прочного хитинового покрова и очень уязвим. В целях защиты они засовывают его в пустую раковину, которую и таскают повсюду за собой. Треск и стук этих раковин по камням могут испортить вам сон на всю ночь. Каждый рак-отшельник полагает, что раковина его соседа больше и лучше, чем его собственная, и вот среди ночи между ними завязываются битвы, которые могут разбудить кого угодно. Отовсюду доносятся треск и шорохи, а если вы сидите в комнате, то кажется, что к дому подступает целая армия мародеров.

Но больше всего досаждали мне по вечерам одичавшие ослы и коровы. Днем они скрывались в зарослях в глубине острова, ночью выходили к воде и бродили по берегу. Сначала я ничего не имел против них, но вскоре их стало так много, что после наступления темноты уже нельзя было выйти из хижины без того, чтобы на тебя не напала какая-нибудь злая корова. Я решил избавиться от них раз и навсегда. Среди прочего снаряжения у меня был дробовик и патроны к нему. Я вынул из патрона дробь и заменил ее кристалликами соли, которые собрал на прибрежных камнях.

На следующий вечер коровы снова были тут как тут. Они бродили по двору, опрокидывая клетки с образцами и давя банки с консервами. Я тихонько приоткрыл дверь и просунул в щель дуло дробовика. Менее чем в трех метрах стоял большой бык. Я прицелился ему в гузно. Вспышка, грохот, затем, после небольшой паузы, протяжный отчаянный рев. Животные зафыркали, пришли в движение. На дворе началась свалка. Но

¹⁹ У раков-отшельников (Paguridae) очень мягкое незащищенное панцирем брюшко. Они прячут его в раковины морских улиток. Вход в раковину рак закрывает большой, обычно правой (Eupagurinae) или левой (Pagurinae) клешней. Две последние пары ножек имеют форму коротких обрубков, рак цепляется ими за неровности внутренних стенок раковины, и поэтому вытащить его, не разломав раковины, очень трудно. Однако сильные хищники, например осьминоги, легко взламывают клешню-дверь и по частям вытаскивают морского отшельника из перламутровой кельи.

Поэтому рак в целях самозащиты обзаводится актинией. Осторожно снимает ее с камня, берет актинию клешней за самый низ, за подошву, чтобы не повредить защитника, и пересаживает на свою раковину. Актиния не сопротивляется — на крыше рачьего дома жить удобнее: рак таскает ее с места на место, и в щупальца актинии чаще попадает добыча. Некоторые раки-отшельники сажают актинию не на раковину, а на клешню, которой запирают «дверь», а краб либия в каждой клешне носит по актинии и, обороняясь, выставляет их навстречу хищникам.

Известно более 400 видов раков-отшельников. Они живут во всех океанах. Некоторые держатся у берегов, другие — на глубинах. Есть даже сухопутные раки-отшельники, обитающие далеко от моря в сырых лесах Южной Америки. Когда приходит пора размножения, сухопутные раки-отшельники ползут на берег океана и откладывают в море яйца. Молодые раки подрастают и снова переселяются в джунгли.

мой бык в ней не участвовал. Не уступая по скорости курьерскому поезду, он мчался в глубь острова, с оглушительным ревом продираясь сквозь колючую чащу кактусов. По пути он проделал аккуратную дыру в каменной изгороди, а потом с большим запасом перепрыгнул стенку в шесть футов высотой. Никогда бы не подумал, что бык может так хорошо прыгать. Минут пятнадцать еще было слышно, как он ломает деревья и с корнем вырывает кусты.

Однако на другую ночь стадо опять явилось, и, как обычно, в компании нескольких ослов. На этот раз я придумал кое-что получше. Я достал пузырек с магнием, который используют при фотографировании. В нем было семь граммов магния — более чем достаточно для моих целей, потому что магний — сильная взрывчатка. В пузырек я засунул электрозапал, который присоединил к батарейке от карманного фонаря, и оставил пузырек посреди двора.

В восемь часов, как всегда, двор наполнился гостями. Я замкнул цепь. Блеснул огонь, грохот взрыва прокатился по окрестным скалам. Несколько камней пробили крышу и упали на пол.

Выйти на двор сразу же после взрыва было равносильно самоубийству. Коровы в панике давили друг друга, не отставали от них и ослы. Эта бешеная ревущая орда в мгновение ока разнесла каменную изгородь и ринулась в заросли. Больше я их не видел.

Меня поражало, что птицы на острове были совсем ручные: залетали в окно, сидели на столе, прыгали по полу. На дворе любили собираться земляные голуби — небольшие птички чуть побольше воробья, которые подпускали к себе совсем близко. Они принадлежали к подвиду, который отличается бледной окраской и необыкновенно длинным латинским названием, состоящим из двадцати девяти букв. Любопытно, что эта разновидность обнаружена только на двух островах — на Инагуа и на Мона, который расположен от Инагуа в трехстах с лишним милях, между Пуэрто-Рико и Эспаньолой. На соседнем же острове Маягуане, от которого до Инагуа всего день пути, распространена совершенно другая разновидность земляных голубей. Я поймал одну из этих хрупких коричневых птичек и посадил в клетку. Но она так беспокойно металась взад-вперед, так билась о прутья, вовсе не глядя на зерно, которым я угощал ее, была так несчастна, что я ее выпустил.

Самыми бесстрашными были пересмешники.²⁰ Здесь они гораздо светлее своих северных собратьев и любят сидеть на подоконнике, когда вы работаете, и распевать во все горло, не обращая на вас ни малейшего внимания. Особенно отличался один из них: устроившись на коньке крыши, он распевал свои ноктюрны. В предрассветной тиши, когда пассат почти замирает и все звуки кажутся приглушенными, этот одинокий пересмешник пел свои песни, оглашая серебристыми звуками безмолвную ночь. Это были самые отрадные часы в моей островной жизни.

Однако всех очаровательнее и занимательнее были колибри, которые летали повсюду. Неугомонные и совершенно ручные, они молниями носились среди колючих опунций, отрывисто чирикают и подлетая время от времени к цветам кактусов, или неподвижно висели в воздухе на своих невидимых крылышках. В дверях и окнах то и дело мелькали их стремительные тени, их гудение отдавалось под крышей.

В углу двора, возле каменной стенки, находились остатки клумбы алоэ. Когда я впервые пришел сюда, алоэ были в полном цвету — длинные ярко-желтые соцветия с глубокими трубчатыми венчиками. Их ослепительная окраска привлекала колибри. Как-то я насчитал не менее тридцати пичужек, порхавших над грядкой. Они совсем меня не боялись и подпускали к себе на несколько шагов. Их спокойствие я объясняю уверенностью в своих

²⁰ Пересмешник многоголосый (*Mimus polyglotus*) — представитель близкого к дроздам семейства Mimidae. Очень хорошо поет, а также обладает исключительной способностью подражать голосам различных птиц и даже крикам домашних животных и городским шумам. Серенькая, размером с дрозда птица, обитает на юге США, в Мексике, на Кубе и на Багамских островах; держится в садах, в полезащитных насаждениях, залетает в городские парки. Гнездится в густых кустарниках. Питается насекомыми и ягодами.

превосходных летных качествах и тем, что им еще не посчастливилось познакомиться с человеком поближе. У меня есть фотографии, где они сняты спящими на веточках — их сон несколько не тревожили мои манипуляции с камерой. В этом смысле наиболее поразительным был случай, когда колибри подлетел и неподвижно повис в воздухе сантиметрах в тридцати от моего носа, а потом, внимательно меня изучив, легко, как пушинка, опустился на объектив фотоаппарата. Я старался не шевелиться; он же просидел так минуты две, по-прежнему не обращая на меня ни малейшего внимания, взмахнул крылышками и растаял в зеленой дали.

Все они принадлежат к одному виду, существующему лишь на Инагуа. Их ближайшие родичи обитают в далеких горах западной Панамы и Коста-Рики. Как этот вид появился на Инагуа — неизвестно. Согласно одной теории, это — остатки некогда многочисленной группы, которая была распространена по всей Вест-Индии, а затем постепенно начала вымирать, причиной чему явились стихийные бедствия, болезни, хищники, недостаток пропитания и вообще все несчастья, которым только могут быть подвержены колибри; в конце концов осталось только две их разновидности. Другая теория утверждает, что много веков назад предки колибри, живущих теперь на Инагуа, были переброшены сильным тропическим штормом через бурное Карибское море и нашли прибежище на Инагуа. С научной точки зрения первая теория более правдоподобна, но мне больше нравится рисовать в воображении, как происходил тот перелет, о котором говорит вторая.

На побережье Коста-Рики, как обычно перед ураганом, стояли тихие погожие дни и жарко светило тропическое солнце. Предки моих колибри безмятежно перепархивали с цветка на цветок. Воздух неподвижен, зной давит. В поисках пищи птички взлетали на верхние ветки деревьев. Но вот прошло несколько часов, над берегом собрались облака; они опускались все ниже и вскоре уже неслись над самыми верхушками деревьев. У земли же по-прежнему было тихо, и воздух стоял тяжелый и душный. Но это длилось недолго. С просторов беспокойного Карибского моря налетел ураган; он с ревом пронесся над берегом, срывая листья, ломая ветки, валя на землю могучие деревья. Когда деревья падали, пташек, укрывавшихся в их кронах, подхватывало потоком воздуха и увлекало ввысь, к черным тучам. Прижавшись друг к другу, парочка колибри, искавшая приюта на одной и той же ветке, была подброшена высоко в небо. Птички отважно боролись с резкими порывами ветра, пытались вернуться в свое лесное убежище, но все их усилия были напрасны. Крохотные колибри — они весят менее унции — оказались бессильны перед ураганом. Вскоре они попали под ливень, тяжелые твердые капли обрушились на крохотных птичек, и они промокли насквозь. Оставалось одно — подняться выше дождя, и колибри отдались во власть урагана, который вознес их на сотни метров над землей. Ураган умчался прочь столь же быстро, сколь и налетел, оставив после себя гибель и разрушение.

Он нес птиц мимо Кубы, через Ямайский пролив — все дальше и дальше в бескрайние просторы голубого океана. Их то подбрасывало к небу, то швыряло вниз, к самым гребням волн; прошло несколько часов, спустилась ночь, но среди рева урагана продолжали биться две пары крыльев — от сорока до пятидесяти взмахов в секунду. По мере того как птиц выносило в открытый океан, центробежная сила отбрасывала их к краю вихря. Измученные, замерзшие, голодные колибри увидели бледную зарю. Под ними бушевал океан; кругом только белые гребни волн над черной бездной, земли нигде не видно. Усталые птицы продолжали лететь по ветру. Они потеряли всякую ориентировку и стремились только к одному — удержаться в воздухе. Они по-прежнему летели парой; лишь благодаря упорству и сильным крыльям удалось им выдержать это испытание. Затем ветер утих, но волны все еще громоздились к самому небу. Взмахи крыльев становились все реже, силы иссякали. Вдали показалась узкая буро-зеленая полоска: остров! Птицы устремились к земле. Земля была ровная, плоская, покрытая скудной растительностью, но все же это была земля. Еле живые от усталости, крошки опустились на какое-то растение. Их головы поникли, крылья бессильно опустились — они уснули.

Прошел час или два. Отдохнувшие пташки проснулись и весело защебетали,

перекликаясь друг с другом. После урагана все вокруг было тихо. Стройный кактус приветливо кивал им цветком — темно-красным, с желтым кружком тычинок. Один из колибри сел на цветок и глубоко погрузил в него клюв. Вторая птичка последовала его примеру. На их тонкие, как проволочка, языки налипли крохотные насекомые. В следующем цветке они добыли немного сладкого нектара и поймали насекомых — мельчайших паучков и комаров. Вскоре колибри снова заснули друг возле друга на шипе опунции. Они отдыхали всю ночь, набираясь сил. Шли дни, птицы по-прежнему не разлучались, ужасы урагана были забыты... Затем наступил момент, когда самец ощутил в себе прилив энергии; подобно его правнукам, которых я наблюдал в таком же состоянии, он принялся кружить вокруг своей безмятежной, более скромно окрашенной подруги. Сначала она почти не обращала на него внимания, но его ухаживания становились все настойчивее, игнорировать их стало невозможно. Он как сумасшедший носился взад-вперед, вертелся и кружился перед нею; он двигался все стремительнее, словно раскачиваясь на невидимом маятнике; засохшие листья шелестели от ветерка, поднимаемого его крыльями — теперь, когда любовный танец достиг апогея, они стали издавать сердитое гуденье. Жених был неотразим, и они вдвоем улетели в заросли кактусов, чтобы там, на колючем листе, совершить таинство любви. В крохотное гнездо, свитое из мягких волокон и украшенное яркими лишайниками и кусочками сухих растений, самка снесла яйца — плоды первого на острове птичьего брака. Вот как я представляю себе историю появления колибри на Инагуа.

Однажды в ветреный день я сидел в хижине за пишущей машинкой, как вдруг мою работу прервало сердитое жужжание. Отдаленный потомок первых на острове колибри влетел в хижину через открытую дверь и теперь тщетно пытался выбраться наружу через окно, завешенное прозрачной москитной сеткой. Это был самец. Я выпутал его из сетки, посадил в первую попавшуюся клетку для ящериц и снова сел за машинку. Тут же перед сеткой загудел второй; он последовал в клетку вслед за первым. Оба принялись охорашиваться: хоть я и старался брать птиц как можно осторожнее, все же мои неловкие пальцы помяли их роскошный наряд. Однако пташки как будто не тревожились — они методически оправляли на себе перышки, тонко и пронзительно чирикавая и не обращая на меня ни малейшего внимания. Даже когда я снова взял их в руки, они не сопротивлялись, а спокойно лежали у меня на ладони. Это было нечто новое в моей орнитологической практике: никогда прежде я не видел, чтобы дикое существо так доверчиво относилось к человеку. Немного погодя я открыл дверцу клетки и выпустил колибри. Они вспорхнули под самую крышу и стали носиться там взад-вперед. А как только я сел на стул, они, казалось, забыли о моем существовании. Я откинулся на спинку стула и стал за ними наблюдать.

Один, усевшись на стропило, поправлял перышки, как вдруг второй отлетел в дальний конец комнаты и очертя голову ринулся на него, ударом сбросил противника со стропила, но пострадавший тотчас же оправился и сам перешел в наступление. Оба, казалось, горели ненавистью, и вся хижина наполнилась их яростным гулом. Они металась, пища и пронзительно вскрикивая. Потом, к моему величайшему удивлению, они заключили перемирие и, усевшись рядышком на балке, снова принялись за свой туалет. Ни я, ни открытая дверь их не интересовали. Затем драка, если это действительно была драка, возобновилась. Их столкновения были ужасны: колибри устремлялись друг на друга из противоположных углов хижины и сшибались, роняя перья и шумя крыльями. Потом снова наступило перемирие.

Так прошло полчаса — они все не унимались. Я едва не свернул себе шею, наблюдая за ними; вскоре мне понадобилось выйти. Я оставил дверь открытой, подперев ее, чтобы колибри могли улететь. Вернувшись, я напрасно пытался обнаружить пташек под крышей — их там не было. Мой взгляд случайно упал на койку: на ней лежал крошечный комок перьев. Колибри был жив, но очень слаб. Его лапки судорожно дергались, из длинного, раскрытого клюва свисал язык. Не обнаружив на перьях крови, я расправил его крылья, чтобы посмотреть, не сломаны ли они; крылья были целы, и я их снова сложил. Вскоре колибри подобрал язык и начал тихонько попискивать. Этот писк трудно описать; пожалуй, больше

всего он похож на писк маленьких полевых мышей. Я погладил птицу, вынес ее на солнце, к большой опунции, и поставил лапками на край большого желтого цветка. Сначала она покачивалась, как пьяная, но постепенно обрела равновесие. Погрузив клюв в цветок, она глотнула раз, другой, отдохнула, потом попила еще, вяло развернула крылья, пролетела между двумя кактусами и скрылась из виду.

Глава VI ЖИЗНЬ В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ

Все можно забыть, только не это... Когда-нибудь воспоминания об Инагуа поблекнут и сольются в моей памяти с другими, образы животных, птиц и людей, которых я там видел, потеряют четкость и превратятся в бледные, расплывчатые тени. Но я закрою в тишине глаза, и снова перед моим взором возникнет картина острова. Разрывая тьму, на меня надвинутся грохочущие звуки. В них слышится то гортанный рев, то шелест и вздохи; мелодия рвется вверх, а затем падает — и так без конца. Это шум прибоя. День за днем я слышал, как он грохочет неподалеку от хижины, перекачивая валы, вскипая пеной, образуя воронки, то шумный и гневный, то нежный и рокошующий. Я внимал ему час за часом, целыми неделями, пока он не запечатлелся в клеточках моего мозга во всех своих темах и вариациях. Днем и ночью он определял темп и тональность островной жизни. Чуть уляжется ветер, прибой становится спокойным и ласковым, но когда стихии бушуют и завивают волны барашками, в его голосе звучат раздражение и злость.

Жизнь на острове протекала под непрерывный аккомпанемент прибоя. Вот почему стоит мне услышать шум разбивающейся волны — и сразу же вспоминается нескончаемая череда тропических дней, заросли неподвижного, пышущего жаром кустарника, мерцание дрожащего раскаленного воздуха, изогнутые, наклоненные в сторону моря стволы пальм на белоснежном берегу, плавные очертания голых дюн, сверкающих на солнце; застывшие в синем небе пальцы кактусов, насыпи, поросшие опунцией и акацией, призрачно-бледные пятна камыша и эфедры и темно-зеленые поросли железного дерева и лаванды. Прибой был музыкальным сопровождением к бархатистой атмосфере душных, темных ночей и к стальному свету луны на обрушенных стенах домов, испещренных узорчатой тенью листвы; сами листья вырисовывались черным зубчатым силуэтом на фоне звездного неба и пронесившихся облаков, меж тем как небосклон искрился миллионами вспыхивающих огней. Шум океана не умолкал никогда — от него нельзя было ни уйти, ни спрятаться. Волны с рокотом разбивались о скалы и со свистом накатывали на отлогий песчаный берег, чтобы тут же отпрянуть назад.

Чем дольше я жил на Инагуа, тем сильнее привыкал к тому, что мои дневные труды неизменно заканчиваются под шум и плеск прибоя. Когда джунгли раскалялись до такой степени, что в них замирала всякая жизнь; когда равнины и соленые лужи застывали в полной неподвижности под отвесными лучами полуденного солнца; когда на белесых дюнах царила мертвая тишина, нарушаемая лишь легким шелестом песчинок под ветром; когда ящерицы прятались в норы, а птицы куда-то улетали, прямо-таки бесследно исчезали, — тогда я находил облегчение на морском берегу. Здесь всегда ощущалась жизнь, царило оживление и воздух дышал прохладой. Неведомая магнетическая сила, быть может, тот же самый инстинкт, который толкает узника к железным прутьям решетки, влекла меня сюда. Ноги, покрытые язвами и сожженные раскаленным песком, сами несли меня сначала к дому, где я оставлял дневные записи и собранные образцы, а потом на берег. Я купался, лежал, размышляя на прогретых солнцем скалах. Вначале я мало бывал на берегу, затем стал бывать там чаще, а под конец прогулки к морю вошли у меня в привычку. Это произошло еще и потому, что на острове не хватало пресной воды и стирать белье приходилось в морской. Инагуа — большой, плоский, каменистый остров, покрытый сухим, сыпучим песком и вязкими солончаками. На нем нет ни ключей, ни речек, а дожди — единственный источник

пресной воды — выпадают довольно редко. Да и дождевая вода, простояв в лужах несколько часов, становится соленой. В поселке, правда, есть несколько колодцев, но вода в них такая соленая, что ее просто невозможно взять в рот. Большинство жителей рассчитывает только на дожди и собирает дождевую воду в каменные бассейны и деревянные чаны. У меня оставался бочонок хорошей, чистой ключевой воды, спасенный мною с парусника. Я выставил его перед хижиной и расходовал воду с величайшей бережливостью, зная, что наполнить его будет весьма затруднительно.

Итак, стирать приходилось морской водой. Мыло в соленой воде не мылилось, но белье получалось довольно чистым, потому что я отчаянно тер и отбивал его. Труднее всего было с мытьем посуды, но она у меня не особенно и загрязнялась, по той простой причине, что я не употреблял ни масла, ни сала. Дэксоны прибрали к рукам значительную часть наших запасов. А три ящика жира в жестянках, которые Колман собственноручно спас с «Василиска», тоже таинственно исчезли где-то на пути между лагуной Кристоф и Метьютауном.

На счастье, в моем распоряжении была груда банок с консервами, лежавшая под брезентом во дворе — ведь для приготовления обеда из консервированных продуктов почти не требуется воды. Впрочем, тут меня подстерегали сюрпризы, потому что все этикетки были смыты. Как ни старался я определять содержимое банок по их внешнему виду и размеру, мне так и не удалось вполне овладеть этим искусством. Хорошо помню самый чудовищный обед, какой я когда-либо ел. Однажды на исходе дня, целиком проведенного под открытым небом, я, голодный как волк, вернулся домой и вскрыл одну за другой четыре банки — во всех оказалась фасоль, и все в разных видах. Вот уже третий день подряд я напарывался на фасоль, но выбрасывать пищу было нельзя, и я покорно ее проглатывал, В тропической жаре вскрытые консервы моментально портятся, и мне приходилось съесть все, что ни попадалось. Противнее всего оказались лососина, тыква и вишневый компот.

Зато мне достался в личное пользование отличный плавательный бассейн. Конечно, ему было далеко до бассейнов в современном духе, сверкающих металлом и кафельной облицовкой: это была всего-навсего промоина, вырытая прибоем в прибрежной скале. Глубиной она доходила до четырех футов, а запас свежей воды в ней непрерывно пополнялся за счет водяной пыли, перелетавшей через скалы со стороны моря. Бассейн весь день находился под лучами солнца, и вода в нем нагревалась до самой подходящей температуры — температуры человеческого тела или чуть-чуть ниже.

Мне так нравилось купаться в этом естественном пруду, что я придумывал для себя тысячи оправданий, чтобы поплавать в кристально чистой воде. Но я никогда не намыливал тело, потому что мыло явно раздражало сотни мелких рыбешек, населявших бассейн. Синие, золотые, серебристые, красные и пурпурные, они переливались всеми цветами радуги. Среди них попадались экземпляры с яркими черными и желтыми полосками. Эти полосатики отличались особым дружелюбием и все норовили куснуть меня за голую спину или за палец ноги. К ним часто присоединялась стайка рыбешек бледно-коричневой окраски, точь-в-точь под цвет окружающих скал. Рыбки, словно призраки, скользили над самым дном, входили в тень, отбрасываемую моими ногами, и щекотали меня плавниками.

Когда я набрел на этот водоем, то обнаружил в нем четыре великолепных морских анемона — ни дать ни взять огромные красные гвоздики. Я содрал их с камней, на которых они лепились, и пересадил в уголок бассейна; там этот живой букет прижился и явно процветал. В моем пруду прижился и такой гость, от которого я должен был во что бы то ни стало избавиться: большой морской еж, черный и бархатистый, весь в острых иглах, в полтора-два дюйма каждая. Его я перенес в другую лужу, и он как будто легко освоился на новом месте.

Постоянная смена населения в этом приморском водоеме просто поражала. Рыбы появлялись и исчезали с каждым приливом, но для меня остается загадкой, как им это удавалось: ведь через край скалы в бассейн попадала лишь тончайшая водяная пыль. Вместе с рыбами в нем появлялось и исчезало неисчислимое множество беспозвоночных —

причудливых креветок, обыкновенных и пильчатых, с такими прозрачными, светлыми боками, что можно было разглядеть, как работают их внутренние органы и переваривается то, что они съели на завтрак. Часто попадались и раки-отшельники, тащившие на себе морские раковины с налипшими гирляндами мха и водорослей; реже — морские черви, быстро прятывшиеся в трещинах, а иногда — маленькие медузы, похожие на розовые венки из лаванды. Они плавали, не делая ни малейших движений, и только их зонтики чуть заметно пульсировали.

Порой мне надоедала моя тихая заводь, но стоило пройти десять шагов — и я мог поплавать на бодрящих волнах океана. Коралловый уступ плавно спускался от бассейна к веселой, заросшей мхом желтой площадке, метров на шесть вздымавшейся над поверхностью самой синей в мире воды. Волны разбивались об этот уступ и откатывались назад, обнажая подводную часть фантастически разукрашенного рифа. Здесь, когда я плыл обратно к берегу, мне приходилось соблюдать всяческую осторожность, потому что волны били о скалы с огромной силой. Вся хитрость заключалась в том, чтобы, уловив подходящий момент, броситься на гребень набегающего вала; он выносил меня на площадку, поросшую мхом, и я сразу вскакивал и цеплялся за скалу, чтобы меня не снесло обратно в океан.

Это было чудесное развлечение, но на время мне пришлось от него отказаться, потому что однажды совсем близко у моих ног неспешно проплыла огромная, не менее шести футов длиной, мурена:²¹ я слишком близко подплыл к ее логову. Никогда в жизни я не чувствовал себя более скверно: ведь я совершенно не подозревал о ее присутствии и лишь в самый последний момент, собираясь выйти на берег, увидел длинную зеленую голову с могучей пастью и острыми, как кинжалы, зубами. Я буквально бросился на камни, ухватился за выступ скалы и выбрался на берег.

Мурена — одна из самых хищных и страшных морских рыб. У мурен в обычае, спрятавшись в темной пещере или яме, подстерегать неосторожных рыбешек. Они принадлежат к семейству угрей и на вид кажутся неповоротливыми, но могут развивать неслыханную скорость. Почему эта гадина не отхватила у меня ни кусочка мяса? Вероятно, ей не понравился и моя белая кожа не внушила ей ничего, кроме вульгарного любопытства. Встреча с муреной очень меня испугала, и прошло несколько недель, прежде чем я снова отважился пойти купаться на море.

Лежа на краю огромного камня, я в промежутке между двумя набегающими волнами получал возможность разглядеть подводную часть рифа. Таким образом мне удалось обнаружить футах в двенадцати ниже уровня воды логово мурены. Днем ее обычно не было видно, но ближе к вечеру она подплывала к выходу из пещеры и высовывала наружу голову. Я решил поймать ее и избавить окрестные воды от этой гадины.

В куче спасенного имущества, лежавшего под брезентом во дворе, я нашел кусок пенькового линя в четверть дюйма толщиной. Крючок я сделал из стального прута, служившего нам в качестве распорки на «Василиске», согнув и заострив один из концов. Мне нечем было зазубрить крючок, но я полагал, что если буду держать лесу все время натянутой, мурена от меня не уйдет.

В тот же вечер после отлива я поймал для наживки какую-то рыбешку, навестившую мой водоем, и насадил ее на крючок. Бока рыбешки я надрезал перочинным ножом, чтобы из них пошла кровь, а затем пустил ее в воду. Мурена еще не показывалась, но я надеялся, что

²¹ Мурена (*Muraena helena*) — один из самых опасных морских хищников. Мурена близка к морским угрям (*Congeridae*), тело у нее змеевидное, а большая пасть сплошь усажена острыми и длинными зубами. Зубы так велики, что рыба не может закрыть рот: он у нее всегда оскален. Некоторые зубы, сидящие в глубине рта на нёбе, ядовиты. Длинной мурены бывают до двух и даже до трех метров. Они прячутся в подводных гротах, в расщелинах скал и караулят рыб и осьминогов. Известны случаи нападения мурен на купающихся людей и даже на людей в небольших лодках. Античные историки рассказывают, что некоторые римляне откармливали мурен провинившимися рабами. Хищных рыб держали в бассейнах с морской водой и тысячами подавали на стол во время пиров.

она стоит в футе или двух от входа. Рыбешка на крючке отчаянно дергалась, и мне все время приходилось подправлять лесу, чтобы удержать наживку у самого входа в пещеру. Вокруг наживки уже возбужденно шныряло несколько небольших рыб. Из-за непрерывного движения воды мне было трудно разглядеть, что происходило на глубине, но минут через десять я все же заметил, что безобразная зеленая голова начинает медленно высовываться из пещеры.

Трудно себе представить, с какой осторожностью действовало это предназначенное мне в жертву чудовище. Мурена не спешила: извиваясь между водорослями, она приближалась к наживке мельчайшими рывками, не больше чем на какую-то долю дюйма за раз. Рыбешка помельче тут же отплыла на почтительное расстояние и, не смея приблизиться, с явным интересом наблюдала за разворачивающейся драмой. Пасть мурены медленно раскрылась, и я увидел ряд прямых зубов цвета слоновой кости. Голова снова чуть продвинулась вперед. В нетерпении я дернул леску, и наживка почти коснулась рыла мурены. Полость рта ее сверкала белизной. Челюсти равномерно, с мучительной медлительностью сомкнулись над мертвой наживкой. Мурена глотнула и тут же скользнула назад. Из всех сил я натянул лесу, но в голубой воде подо мною вдруг все забурлило, и бечевка, обжигая пальцы, стремительно пошла в воду. Тогда я быстро накинул петлю на выступ скалы и повис на конце лесы, сна натянулась, как стальная проволока. Закрепив лесу узлом на выступе скалы, я налег на нее всей тяжестью своего стодевяностофунтового тела, но она не поддалась. Огромная рыбина была уже в своей пещере и прочно там засела.

Десять минут кряду я изо всех сил тянул и дергал бечеву, но в конце концов был вынужден в изнеможении опуститься на камни. Леса не подалась в мою сторону ни на дюйм, но и мурена не забилась глубже в свою пещеру. Мы ничего не могли поделать друг с другом. Тогда я бросился домой, схватил небольшой блок и тали — остаток нашей оснастки — и бегом вернулся на берег. Леса была по-прежнему туго натянута. Я быстро сделал бензель на той части лесы, что находилась у самой воды, а конец талей закрепил вокруг того же уступа, на котором держалась леса. Затем я снова приналег, теперь уже на тали, но с тем же результатом. Мое приспособление позволяло мне тянуть силою нескольких человек, но я по-прежнему не мог сдвинуть мурену с места. Ума не приложу, как я не вырвал у нее всю глотку. Я закрепил свободный конец за коралловый риф и снова налег всей своей тяжестью на лесу. На этот раз она как будто подалась. Я сбегал домой еще за одним куском каната и одним концом привязал его к тому месту, за которое тянул, а другим еще за один уступ.

Так дюйм за дюймом я вытягивал мурену из ее логова. Она упорно сопротивлялась, судорожно извиваясь всем телом. Сумела даже чуть-чуть попятиться назад, как вдруг сдала все позиции. В слепой ярости, обезумев от боли, она вылетела из пещеры и вцепилась зубами в лесу. Я рывком выдернул ее из воды на поросший мхом уступ скалы, а затем принялся отвязывать тали, чтобы оттащить мурену подальше от воды.

Но я не учел дикой злобы задыхающейся рыбины. Рывками шлепая по водорослям, она ринулась в мою сторону. Я увернулся, бросил лесу и забрался повыше. Мурена злобно щелкала зубами, и звук этот напоминал звук кастаньет. Из ее пасти струйками текла кровь. Я знал, что одного укуса этих зубов достаточно, чтобы вызвать тяжелое нагноение, которое не залечишь и в несколько месяцев. Более того, если кровь, капающая из разодранной глотки мурены, попадет на открытую рану, появится непосредственная угроза для жизни, так как в крови большинства угрей содержатся ядовитые вещества и нескольких кубических сантиметров их достаточно, чтобы вызвать такую же мучительную смерть, как от укуса гремучей змеи. Как сейчас помню один лабораторный опыт, при котором я присутствовал: кролику ввели вещество, добытое из крови обыкновенного угря. Называется оно ихтиотоксином. Бедный зверек умер в страшных конвульсиях. И еще я видел руки рыбаков, распухшие и покрытые язвами; они разрезали угрей на приманку крабам, и яд попадал в трещины кожи.

Меж тем мурена соскользнула в воду и попыталась удрать, но я тут же схватил лесу и выволок ее высоко на берег, куда не достигал прибой. Там она долго лежала, разевая пасть и

молотя хвостом по песку. Прошло немало времени, прежде чем она подохла, и только через четыре часа я решился подробно рассмотреть ее. Не один раз, думая, что все уже кончено, я издали, для проверки, тыкал в нее палкой, но она тут же оживала и впивалась зубами в дерево. Одну палку, толщиной около дюйма, мурена искрошила в мелкие щепы.

Крючок, как выяснилось, прочно засел у нее в желудке, и его пришлось извлекать ножом. Шкура этой гадины, толстая и кожистая, без каких-либо признаков чешуи, была покрыта толстым слоем слизи. Когда я волочил ее по камням, этот слизистый покров местами сошел, и под ним обнажилась ярко-синяя кожа. Рыба казалась зеленой именно благодаря сочетанию желтой слизи и синей кожи. В общем, вид у мурены самый гнусный: глаза маленькие и злобные, в каждой линии узкой, безобразной головы запечатлелась жестокость. Когда она подохла, я разрезал ее пополам и выбросил оба куска в море. В желудке у нее я обнаружил несколько рыбок и остатки краба.

Но поимка мурены была случайным, хотя и памятным эпизодом в моей островной жизни. Подлинное чудо приливов и прибрежных утесов открывалось не сразу, не в один день. В него приходилось проникать постепенно, мало-помалу, как в какой-нибудь сложный пассаж Бетховена или "Шопена, который от повторного прослушивания становится более понятным и прекрасным. На первый взгляд скалистый берег казался безжизненным, если не считать величественного шума катящихся волн. Но вскоре я понял, что эти двадцать футов от вершины прибрежных утесов до уровня моря являются ареной самой сложной в мире органической жизни.

Мой приморский бассейн служил двойной цели. Во-первых, это было место для отдыха и купания; во-вторых, здесь можно было погрузиться в воду и спокойно наблюдать за жизнью животных, заселяющих полосу земли, омываемую прибоем. Из воды высывалась только моя голова, но ни одна птица, ни одно животное, казалось, не принимали ее за голову живого человека, и меня никто не боялся. К тому же я наблюдал органическую жизнь в особом ракурсе, так сказать с точки зрения улитки, потому что край моего водоема находился на одном уровне с пенным водоворотом набегающих волн. Погружая голову в воду до самых глаз и склоняясь на один бок, словно какой-нибудь неуклюжий ламантин,²² я оказывался в одной плоскости с моллюсками и анемонами, чуть повыше рыб и ниже стремительно снующих крабов-грапсусов.²³ Вися между землею и водою, я мог наблюдать за обеими стихиями, не будучи связанным ни с той, ни с другой. Стоило мне перевести взгляд — и вместо темной глубины воды передо мной оказывались несущиеся по небу облака.

Результаты научных исследований в большой мере зависят от того, откуда и под каким углом зрения рассматривается то или иное явление. Одна и та же улица представляется нам двумя совершенно чуждыми друг другу мирами в зависимости от того, смотришь ли на нее из окна тридцатого этажа или из люка посреди мостовой. В первом случае люди принимают пропорции снующих муравьев, во втором кажутся великанами, вздымающимися к небу. С тридцатого этажа человек выглядит букашкой среди букашек, из люка кажется, что он заполняет собой всю улицу, по которой идет. Погружаясь в водоем, я попадал в положение наблюдателя, глядящего на мир из люка, и поэтому все представлялось мне в новом свете. Только когда я выклянчу, займу или украду самолет, чтобы взглянуть на пляж Инагуа с высоты тысячи футов, я допущу мысль, что начинаю исчерпывать возможности этого

²² Ламантин — морское млекопитающее животное, несколько похожее на тюленя, но с округлым хвостовым плавником вместо ластов. Принадлежит к отряду сирен, или морских коров. Питается морской травой и водорослями.

²³ Грапсусы — небольшие крабы с четырехугольным головогрудным щитом. К семейству грапсусов (Grapsidae) принадлежит и знаменитый китайский краб, завезенный в начале нашего века в Европу. Это большой вредитель: он рвет сети, объедает наживку и попавшую в сети рыбу.

острова.

Различают ли улитки и другие моллюски цвет? Мне это не известно, но, заняв позицию, с которой смотрит на мир улитка, я попал в царство великолепной игры оттенков и цветов. Меня окружал необычайный желтый космос, где в больших лиловых и фиолетовых коридорах были расстелены как попало большие пурпурные ковры. На фоне оранжевых и коричневых, прямо с палитры Ван-Дейка, драпировок здесь гордо возносились изумрудно-зеленые башни с переливчатым розоватым крапом. А дальше, до широкого, беспрестанно меняющего свои очертания горизонта, шла ярко-синяя полоса, лазурное пространство, которое, как ни странно, никогда не оставалось неподвижным, но вечно текло и поднималось к голубому небу; приблизившись, оно теряло синеву и приобретало бледно-зеленый оттенок, а затем вспыхивало расплавленным золотом, которое в свою очередь переходило в ослепительно белый цвет, чистый и сверкающий, окаймленный по краям мерцающим ореолом всех цветов радуги. Затем горизонт отступал, и на весь этот мир снова наплывала желтизна, перемежавшаяся с небесно-голубыми потоками и сиянием королевского пурпура. И всюду вкраплены ярко-зеленые, как свежая листва, пятна, темно-шафрановые островки, густые тени коричневых тонов.

Этот мирок изобилует вулканами такой же строго конической формы, как Фудзияма, и каждая вершина увенчана кратером. Но на этом сходство с Фудзиямой кончается, потому что по цвету они совсем иные: бледно-зеленые, с большими розовыми крапинами. Повсюду разбросаны и залиты ручейками пузырящейся воды огромные подушки для булавок, сплошь утыканные острыми иглами, нелепейшие штуковины такого яркого пурпурного цвета, что местами он кажется черным, а на тонких гранях играет пунцовыми и лиловатыми переливами. На иглах, как на клинках дамасской стали, выгравированы тончайшие рисунки, и каждая из них заканчивается страшным крючком. Кроме того, тут имеется множество бронированных танков, причем броневые листы на них расположены рядами, на стыках заходя одна на другую. Все ряды броневых листов соединены гибкой каймой, достигающей земли и сплошь усеянной самоцветами — изумрудами и сапфирами вперемежку с гранатами, аметистами, кристаллами берилла и циркона. Самоцветы сочетаются определенным образом, изумруды и гранаты идут волнистыми линиями, что создает впечатление обдуманной, но совершенно неудачной маскировки.

Все пропорции в этом мирке сдвинуты и нарушены. По сравнению с подушками для булавок вулканы кажутся карликами. Бронированный танк ничуть не меньше изумрудной башни, а пунцовые ковры расстилаются на десятки акров. Только когда я поднимал голову, меняя ракурс, мир возвращался к нормальным пропорциям. Передо мной был уже не желтый космос, а склон, поросший водорослями; пунцовые ковры превращались в губку, вулканы принимали размеры обыкновенной диодоры — улитки, похожей на блюдечко; усыпанный драгоценностями танк оказывался моллюском-хитоном; ²⁴ чудовищные подушки для

²⁴ Губка — наиболее примитивное из многоклеточных животных. У губки нет ни нервов, ни мускулатуры, ни желудка, ни крови... Она не может ни двигаться, ни даже шевелиться. Тело губки похоже на мешок, студенистые стенки которого укреплены кремневыми или известковыми иглами. Бывают и роговые губки — их скелет образован переплетением роговых нитей (например, туалетная губка). Тело губки пронзено бесчисленными отверстиями-порами — это ее «рты». Через них постоянно затягивается вода, которая выпускается через горловину мешка. Вместе с водой заплывают в губку мельчайшие морские организмы — ими она питается.

Если губку протереть через мелкое сито (через мельничный газ), животное распадется на клеточки. И каждая клеточка будет жить, ползать, ловить добычу. Клетка ползет к клетке, срастается с ней, подползают другие клетки и складываются в новую губку!

Известно более 5000 различных видов губок, почти все они живут в море (но есть и пресноводные — например, бодяга), одни размером с ноготь, другие — с бочку. Окраска у них очень разнообразная.

В некоторых губках поселяются рачки, которые, подрастая, не могут выбраться обратно. Так и остаются до конца дней своих ее пленниками, питаясь теми мелкими животными, которые вместе с водой затягивает в себя губка. Зато от опасностей рачки-узники полностью защищены.

Диодора (*Diodora sagensis*) внешне похожа на нашу черноморскую пателлу (*Patella pontica*), или

булавок — пурпурным морским ежом, а колеблющийся горизонт всего-навсего гребнем набегающей морской волны.

Разгадку всей этой жизни следует искать в танке. В этом мирке никогда не прекращается война, здесь идет нескончаемая борьба и выживает только тот, кто защищен крепкой броней, известковыми стенами крепостей-раковин, острыми, как стальные клинки, иглами или другим оружием.

Нигде в природе не ведется такой ожесточенной борьбы за существование, как на морском побережье.

Полоса приливов и отливов отличается постоянной сменой сухопутного и водного режимов, холода и невыносимой жары, она все время подвержена действию сокрушительных волн и бушующего прибоя. Выжить здесь может только самый жизнеспособный. Однако именно в этой полосе, между линиями прилива и отлива, совершились события величайшего значения в истории нашей планеты. Рядом с ними меркнут и кажутся ничтожными деяния всех Цезарей, Александров и Наполеонов. Результаты побед великих завоевателей ощущаются а лучшим случае в течение нескольких столетий, а затем бледнеют, отступают, уходят в прошлое. Другое дело — события, совершившиеся в полосе прибоя; здесь возникло множество живых существ, которые, обретая величайшую жизнеспособность в этом бурлящем водовороте, сумели завоевать огромные пространства суши.

Есть закон природы, в основном признаваемый всеми учеными, хотя в деталях еще имеются некоторые разногласия, который гласит, что существа, живущие в постоянно меняющихся условиях и в неустойчивой среде, более склонны к физическим изменениям и приспособлению, чем организмы, ведущие спокойный образ жизни. Возьмем, например, морских лилий,²⁵ древнейших жителей моря — они живут в тишине и покое океанских глубин, где одно десятилетие мало чем отличается от предыдущего и последующего, и поэтому сохраняются почти без всяких изменений в течение миллионов лет. Ведь условия их существования и сейчас такие же, как в ту отдаленную эпоху, когда они достигли апогея в своем развитии. У них не было импульса к изменению. С другой стороны, отдаленный предок человека, амфибия, развилась из гигантской пресноводной рыбы. Нигде не существует более разнообразных, тяжелых и изменчивых условий, чем в полосе приливов и отливов. Поэтому не удивительно, что многие обитатели моря, попав в эту полосу, превратились в сухопутных животных.

Чтобы получить представление о том, какую беспокойную жизнь вынуждены вести обитатели прибойной полосы, к каким разнообразным ухищрениям они прибегают в борьбе со своим основным врагом — прибоем, мне стоило только погрузиться в теплую воду моего бассейна. Изо дня в день огромные пенящиеся валы накатывали на утесы, тысячами брызг взлетали высоко в небо и с ревом отступали назад. Шум моря не затихал здесь никогда, эхом

улитку-блюдечко. У нее такая же коническая раковина-колпачок и живет она тоже в зоне прибоя, медленно ползая по скалам, к которым прочно присасывается всей нижней поверхностью тела. Обитает диодора по восточному побережью Америки — от Чесапикского залива до Бразилии.

Хитоны принадлежат к классу панцирных моллюсков (Loricata). Устройством своей брони они напоминают южноамериканских броненосцев: раковина у них не сплошная, а состоит из восьми поперечных пластинок, налегающих друг на друга, подобно черепицам. Поэтому моллюск может сворачиваться шаром, как броненосец или еж, пряча мягкие части тела внутри клубка и выставляя наружу защищенную панцирем спину. Хитоны населяют главным образом приливо-отливную зону различных морей. Как диодора и пателла, они прочно присасываются к камням, и волны прибоя не могут их смыть.

²⁵ Морские лилии (Crinoidea) принадлежат к типу иглокожих животных, как и морские ежи, морские звезды. Но морские лилии отличаются от своих сородичей длинным стебельком, которым они обычно прикрепляются к донным предметам. Морские лилии — очень древние животные, они существовали на земле еще 500 миллионов лет назад, в кембрийский период палеозойской эры, когда в море не было никаких рыб, а на суше никаких растений и животных.

отдаваясь в воздухе. Огромные глыбы коралла и песчаника, весом во много тонн, громоздились одна на другую, образуя на вершинах прибрежных скал нечто вроде крепостного вала. Их забрасывал туда во время бурь разыгравшийся океан. Многие из этих глыб были более фута толщиной и имели несколько ярдов в окружности. Тем не менее океанские волны закинули их, словно щепки, на высоту в тридцать с лишним футов. Тут же рядом находилась колония нежных гидроидов — небольших, похожих на цветы животных, с такими прозрачными щупальцами, что они казались совершенно невещественными. А дальше свисали длинные нити водорослей, тонкие, как кастильское кружево, затейливо переплетающиеся между собой и расходящиеся при малейшем прикосновении. Как они могут выдерживать напор многих тонн воды, которые обрушиваются на них каждые несколько секунд? Они спасаются тем, что уступают этому напору, передвигаясь в том же направлении, куда течет вода, оказывая ей как бы пассивное сопротивление, родившееся за много тысячелетий до Махатма Ганди. И волны бессильны перед ними.

Классифицируя людей по образу жизни, мы для удобства делим их на различные касты и группы. Среди нас есть либералы и консерваторы, вольнодумцы и твердолобые, независимые и сторонники твердой дисциплины. Даже подпевалы находят себе место в нашем обществе закоренелых индивидуалистов. То же самое относится к обитателям полосы приливов. Анемоны и кружевные водоросли относятся к категории подпевал. Они спасаются тем, что при соприкосновении с высшими силами всегда с ними соглашаются; ведь сопротивляться или вступать в пререкания было бы чистым безумием... Моллюски — хитоны и диодоры — принадлежат к породе твердолобых. Жизнь бушует и изменяется вокруг них, а они не благоволят этого замечать. Одеты в непроницаемую броню, защищенные крепкими костяными или известковыми панцирями, они неподвижно сидят на месте. Ни напор волн, ни зной, ни нападение врага не заставят этих упрямцев переменить привычный образ жизни. И я только еще более убедился в уместности своего сравнения, когда, набрав большую коллекцию диодор, обитавших как выше, так и ниже линии приобоя, обнаружил, что особи, жившие в местах, подверженных наиболее сильному действию волн, одеты в самую толстую броню. Как это похоже на наших твердолобых: чем изменчивее мир, тем нечувствительнее они к переменам!

Двустворчатые ракушки, пурпурно-черные мидии, ²⁶ живущие большими сообществами, прибегают к совершенно иному, им одним свойственному способу сопротивления. Из морской воды они извлекают особое вещество, подвергают его таинственной химической обработке и прядут длинные шелковистые канаты, которыми пользуются как верповальными тросами — разбрасывают их в разные стороны, закрепляя свободные концы за скалы. Похоже, что количество выбрасываемых канатов находится в обратной зависимости от безопасности местонахождения моллюска. Эти якорные цепи известны под названием биссуса. Именно из этого вещества делался жесткий, шелковистый

²⁶ Мидии (*Mytilus*) — двустворчатые моллюски, или ракушки, обитающие во всех морях, преимущественно в прибрежной зоне. Благодаря обтекаемой раковине и биссусным нитям они прекрасно приспособлены к жизни в полосе морского приобоя. Биссусными нитями мидии, как якорями, прочно прикрепляются к скалам, к камням, сваям, гальке. Поселяются даже па иле, приклеиваясь друг к другу биссусом и образуя своего рода понтонные мосты на мягком субстрате. Биссусные нити, близкие по составу к шелку, выделяются особой железой, находящейся в ноге мидии — мясистом выросте, с помощью которого ракушка ползает. В античное время из биссуса морских ракушек (преимущественно пинны) изготавливали дорогую ткань виссон. И сейчас еще в Италии из «морского шелка» шьют перчатки, носовые платки и другие мелкие вещицы.

Мидии очень плодовиты: крупные ракушки откладывают за сезон более 25 миллионов яиц. Не удивительно, что местами мидии сплошной массой покрывают морское дно.

Этих моллюсков люди ели еще в каменном веке, и в наши дни мидия успешно конкурирует с устрицей. Так же как и устриц, мидий разводят в особых питомниках и вывозят на рынки сотнями тысяч тонн. Продуктивность мидий несравненно выше, чем устриц: с одного гектара морского дна в хороших мидиевых хозяйствах, например в Италии, снимают по 20 тонн моллюсков, из них лишь 46 % составляют отходы (раковины, биссус и пр.), а от валового сбора устриц получают только 10 % чистого мяса.

материал, из которого шили наряды дамам в средневековой Европе. Эти ракушки настолько необычны, что я долго затруднялся уподобить их какому-либо типу людей, но наконец мне пришло на ум, что они чем-то напоминают неповоротливых благоразумных людей, интересующихся главным образом страховыми полисами, ценными бумагами с золоченым обрезом и облигациями, приносящими невысокий процент. Эти люди тоже бросают якоря с наветренной стороны, чтобы уберечь себя от превратностей судьбы. Подобно этим людям, двустворчатые моллюски никогда не погибают в одиночку, но всегда огромными массами; это случается, когда все сложное переплетение биССусовых нитей разом поддается напору волн и моллюски уносятся в морские глубины на поживу голодным рыбам.

Прямую противоположность двустворчатым моллюскам представляют крабы-грапсусы. Вокруг моего водоема их можно было видеть десятками. Среди них встречались и малыши в полдюйма шириною, и крупные экземпляры дюймов в восемь от клешни до клешни. Костюмы у них коричневые в волнистую полоску, в клетку и в крапинку, точь-в-точь под цвет прибрежных скал. Глядя на них, я вспоминал молодчиков, что толкуются около ипподромов, собирая и продавая перед скачками сведения о лошадях. И те, и другие ходят в клетчатых одеяниях и подхватывают свою добычу на ходу. Вся жизнь крабов проходит в непрерывном шнырянии по берегу в промежутке между двумя волнами. Едва наскочив на поживу, они тут же вынуждены оставлять ее. Мне никогда еще не приходилось встречать таких неврастеников, как эти крабы. Лишь когда я застывал в полной неподвижности, они подползали вплотную и блестящими, выпуклыми, насаженными на стебелек черными глазами напряженно меня разглядывали, сторожа каждое мое движение. Подходили они бочком, то и дело молниеносно откатываясь назад, а затем снова возобновляя свое медленное продвижение вперед.

Однажды я дал целой дюжине крабов собраться вокруг бассейна. Они тотчас же нашли какие-то микроскопические крохи и начали кормиться, грациозно поднося пищу клешней ко рту. Кстати, рот у этих крабов открывается не сверху вниз, а вбок. Внезапно я поднял голову — и скалы закишели молниеносно удирающими тварями. Они мчались так быстро, что невозможно было разглядеть их ноги, а некоторые, находившиеся на краю нависавшего над океаном утеса, сломя голову бросились вниз, в ревущий водоворот наступающего вала. Никаких колебаний, ни единой мысли о том, что ждет их внизу — ими руководил один только импульс к бегству...

По меньшей мере минут на двадцать всякая жизнь на скалах замерла. Затем мало-помалу из трещин снова начали осторожно выползать крабы. Те, что бросились прямо в набегавший вал, вылезли бочком на сушу, мокрые, но целые и невредимые. Они устояли против напора воды благодаря тому, что цепко ухватились своими острыми клешнями за неровности камня и плотно прижались к нему, не позволяя воде подхватить себя снизу и смыть с места. Расположение крабьих глаз на длинных стебельках увеличивает сектор обзора почти до 360 градусов, поэтому волна никогда не застает краба врасплох. В тот момент, когда она накатывает, краб расплывается и ждет, чтобы вода схлынула, а затем снова поднимается и продолжает свой путь до нового вала; зона расселения крабов-грапсусов ограничивается с одной стороны вершинами прибрежных скал, с другой — полосой ревущего прибоя. Нигде больше на острове я их не встречал. Здесь они спариваются, кладут яйца, кормятся, живут и умирают; при этом им всегда приходится быть начеку.

Крабы-грапсусы, наиболее типичные представители органической жизни в полосе прибоя, служат наглядной иллюстрацией к тому, каким образом суша, бесплодная и голая, заселялась ползающими существами. Если анемоны, моллюски и морские ежи еще целиком связаны с океаном и ведут жалкое существование во время отливов, крабы-грапсусы могут часами обходиться без воды и выходить на сушу. Строго говоря, это морские животные, находящиеся в процессе превращения в сухопутных. Хотя они и прикованы к узкой двадцатифутовой полоске берега, прилегающей к воде, все же на пути к преобразованию в обитателей суши они продвинулись дальше, чем кто-либо из их сородичей. Их удерживает около воды только незаконченное анатомическое перерождение жабр в дышащие воздухом

легкие. Им нужно часто погружаться в соленую океанскую воду за новой порцией кислорода. Но лабораторные опыты показывают, что эти крабы могут прожить несколько часов с вырезанными жабрами, дыша воздухом. Любой другой морской краб погибает от такой операции.

Все знают сороконожек — они прославились тем, что у них очень много ног. Но по развитию конечностей они все же жалкие дилетанты в сравнении с морским ежом. Морского ежа можно назвать дикобразом подводного царства. Его невозможно взять в руки, разве что найдется человек с пальцами, вылитыми из металла; все тело у морских ежей защищено длинными, острыми иглами, крепящимися к телу при помощи хитроумно устроенных шарниров. Морские ежи массами были разбросаны вокруг моего водоема и вдоль всего берега; казалось, что камни разукрашены целыми гирляндами колючего репейника. Наступить на такого ежа и больно, и опасно: его иглы покрыты слизью, насыщенной бактериями, которые вызывают тяжелое нагноение; они в зазубринах и такие хрупкие, что, вонзившись в тело, легко ломаются. Однажды я занозил ногу такой иглой и долго мучился, пока не вырезал ее скальпелем. Но и после этого потребовалось больше недели, чтобы залечить рану.

Нижняя часть этого колючего тельца представляет собой сплошную заросль ножек. Чудные, похожие на трубки присоски расположены симметричными рядами, расходящимися от центра, где находится круглое ротовое отверстие. На этих-то ножках, сокращающихся и вытягивающихся в волнообразном ритме, морские ежи медленно передвигаются с места на место. И какой бы неровной ни была поверхность, на которой находится морской еж, он к ней прочно прикрепляется по всей поверхности своего тела. Вот почему морской еж не боится прибой: он накрепко прилепляется к месту, сколько бы ни шумели над ним волны.

Морские ежи кажутся безголовыми тварями, жалкими автоматами без проблеска интеллекта. Это верно в буквальном смысле слова: у них действительно нет мозга. Вся их центральная нервная система сводится к ганглиям, утолщениям нервов, расположенным в сферическом тельце. Морской еж функционирует, потому что нервные узлы получают раздражение от подвижных частей его тела. Одна подвижная часть вызывает активность другой; животное управляется своей собственной активностью. Различие между животным, имеющим мозг и лишенным его, между собакой и морским ежом, например, сводится к тому, что собака двигает ногами, а морского ежа, наоборот, двигают его собственные ноги. Но как бы то ни было, я не мог не восхищаться тем, как эти подвижные репейники отстаивают перед лицом бушующих стихий свое место в жизни.

Животное, способное жить в мире бушующего прибоя, отлично управляясь с несколькими сотнями обособленных ног, уже достигло очень высокой организации, независимо от того, есть у него мозг или нет. Ведь многие люди подчас с трудом управляются со своими двумя ногами.

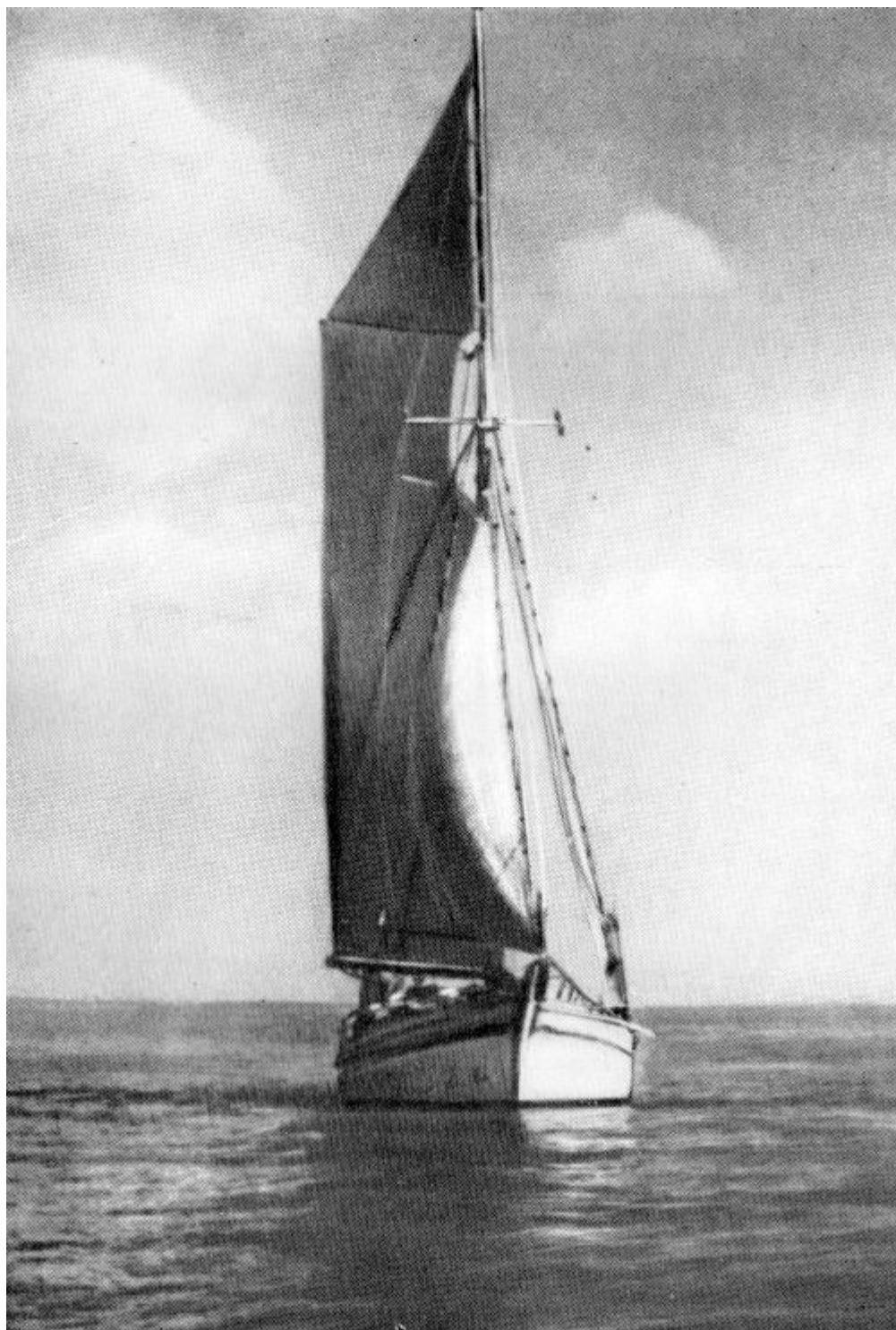
Я не подозревал, какие замечательные создания эти морские ежи, пока не понаблюдал за ними из своего благословенного бассейна. Одно в них всегда меня поражало: их безупречный внешний вид. Прибой часто приносит целые вороха вырванных с корнем водорослей и огромные кучи крупнозернистого песка и гравия. И вот, хотя остальные животные — улитки, ракушки и хитоны — выглядят изрядно потрепанными и часто покрыты паразитами, например, морскими уточками, морские ежи всегда отличаются безукоризненной аккуратностью — никогда ни песчинка, ни обрывок водоросли, ни паразиты не портят их черных, как агат, шубок. Это тем более удивительно, что иглы, казалось, должны бы легко захватывать всякий мусор. Но в том-то и дело, что у ежей «разработана» целая система для содержания себя в чистоте. Если комок грязи или песка случайно застрянет между иглами, он тотчас же извлекается чем-то вроде тоненьких кусачек или пинцета, снабженного тройным рядом зажимов, как у некоторых марок экскаваторов. Это приспособление насажено на гибкий стержень, состоящий из мускула, обтянутого кожей, который передает извлеченный мусор соседним кусачкам, чтобы те отнесли его дальше. Процедура передачи продолжается до тех пор, пока очередь не дойдет до трубчатых

ножек, расположенных не только снизу, вокруг ротового отверстия, но и кое-где на спине. Захватив несносную песчинку, нога выбрасывает ее в воду.

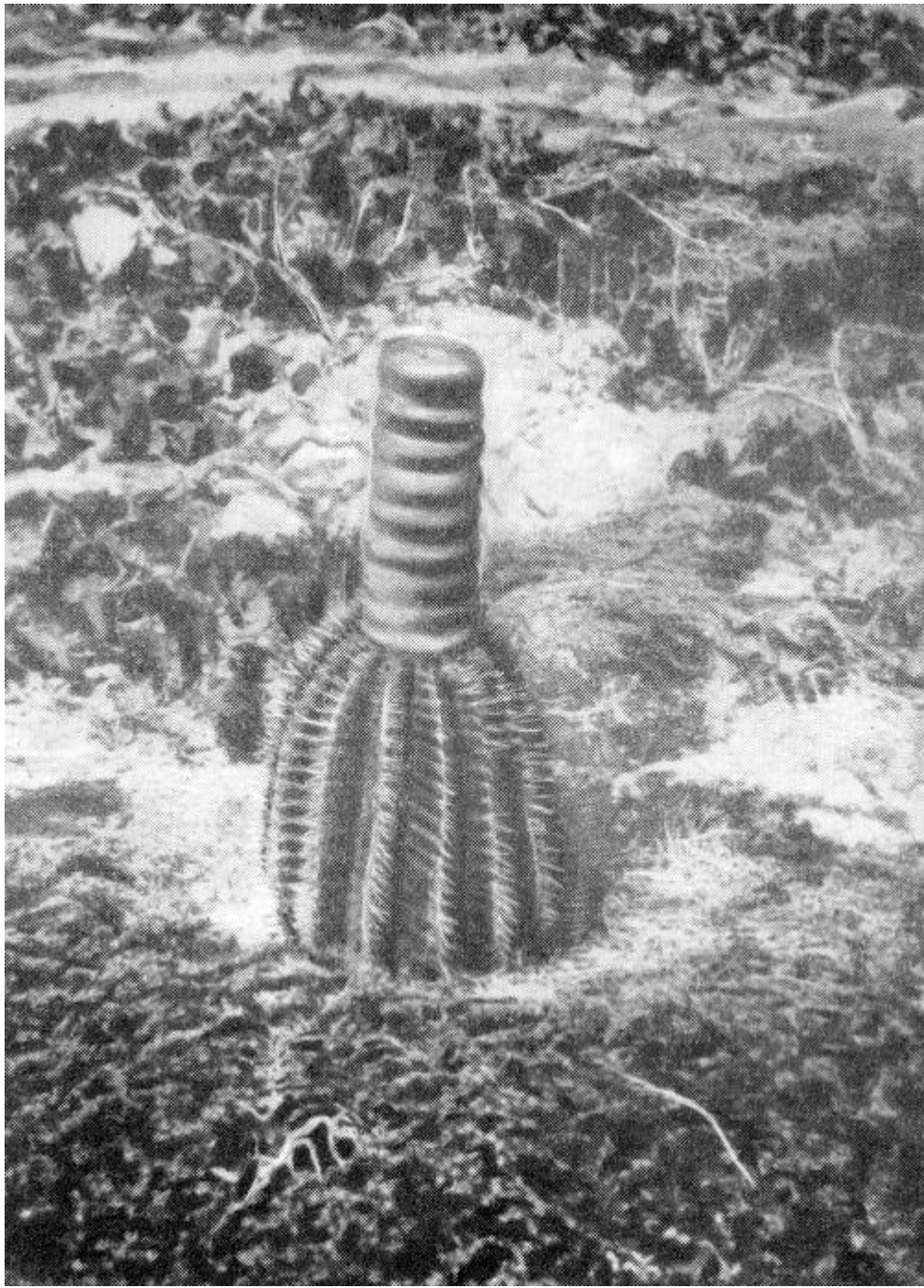
С мелкими паразитами, которым удастся проскочить через заграждение игл, морской еж обращается далеко не столь деликатно. В тот самый момент, когда паразит коснется кожи ежа, все пинцеты сразу приходят в движение и начинают открываться и закрываться, пока какой-нибудь из них не захватит добычу. Тут пинцет крепко зажимает паразита и, если завяжется борьба, к нему на помощь спешат другие. Множество крошечных клешней зажимают пленника, и только его смерть сможет ослабить хватку. Тогда труп передается от одной клешни к другой, от одной ножки к другой, достигает рта и пожирается.

Кроме нескольких сот трубнообразных ножек, морские ежи пользуются и другими средствами, чтобы отстоять свое место в жизни. Многие из них, например, живут в небольших каменных пещерах. Вход в эти пещерки уже, чем тело ежа. Эти пещерные жители находятся почти в полной безопасности — ни с какой стороны к ним не подступишься, а вход они охраняют иглами. Но за свой покой они платят дорогой ценою — это настоящие узники, приговоренные к пожизненному заключению и не имеющие ни малейшей надежды на освобождение. На заре своей жизни они облюбовали себе местечко и, выделяя какую-то очень едкую жидкость, разъедающую мягкий коралл, проделали в нем углубления. Из этих убежищ никакие волны не могут унести морских ежей в океан. Но животные постепенно растут, и им приходится расширять свою норку. Морская вода и кислота, выделяемая морским ежом, разрушают каменные стены по бокам и снизу, но входное отверстие остается почти таким же, каким было вначале. Не так ли бывает с людьми: иной всю жизнь старается устроиться поудобнее, чтобы под конец увидеть себя безнадежно обремененным плодами своих трудов? Вокруг бассейна я нашел десятки таких пещерок с плененными морскими ежами. Они выглядели не менее здоровыми и хорошо упитанными, чем их собратья, разгуливающие на свободе. Конечно, свободные особи находят себе больше пищи — они питаются водорослями, перемалывая их своими смешными пятиугольными челюстями. Пленникам же приходится довольствоваться тем, что им приносят волны — изнутри их пещеры начисто вылизаны и не содержат ничего съестного.

Морские ежи — не единственные обитатели полосы прибоя, которые умеют просверлить в камне норку, чтобы в ней найти защиту от удара волн. Свешиваясь через край бассейна в облако водяной пыли, всегда стоявшей над пузырящимися волнами, я рассматривал риф со стороны океана; он был весь изрыт бесчисленными крохотными отверстиями. Такие же дыры я обнаружил и на раковинах многих брюхоногих моллюсков, обитавших в полосе прибоя. На первый взгляд эти пустоты были необитаемы, но при помощи анатомической иглы оттуда можно было извлечь небольшие кусочки коричневого вещества. Подробное исследование показало, что это губки. Подобно морским ежам, губки протравляют кислотой отверстия в коралле и селятся в них. Некоторые отверстия были такой правильной формы, словно их просверлили буром. Но еще глубже я проник в тайны этих пробуравленных пещер, когда выломал кусок коралла с множеством заточенных в нем губок и дома изучил их структуру под микроскопом. В теле одной губки — она сама была не более четверти дюйма в диаметре — поселилась личинка какого-то ракообразного. В ранней молодости большинство ракообразных столь не похожи на взрослых особей, что я не смог его точно определить. Рачок был угловатый, удлинённой формы и, очевидно, прошел ранние стадии своего развития в пористом теле губки, взрослея и набираясь сил, прежде чем выйти на борьбу со стихиями в огромный мир, где шумит прибой. Я много бы дал, чтобы наглядно восстановить историю его жизни и увидеть, как, вылупившись из икринки, он проделал свой путь к темному логову в теле сверлящей губки.



"Василиск"



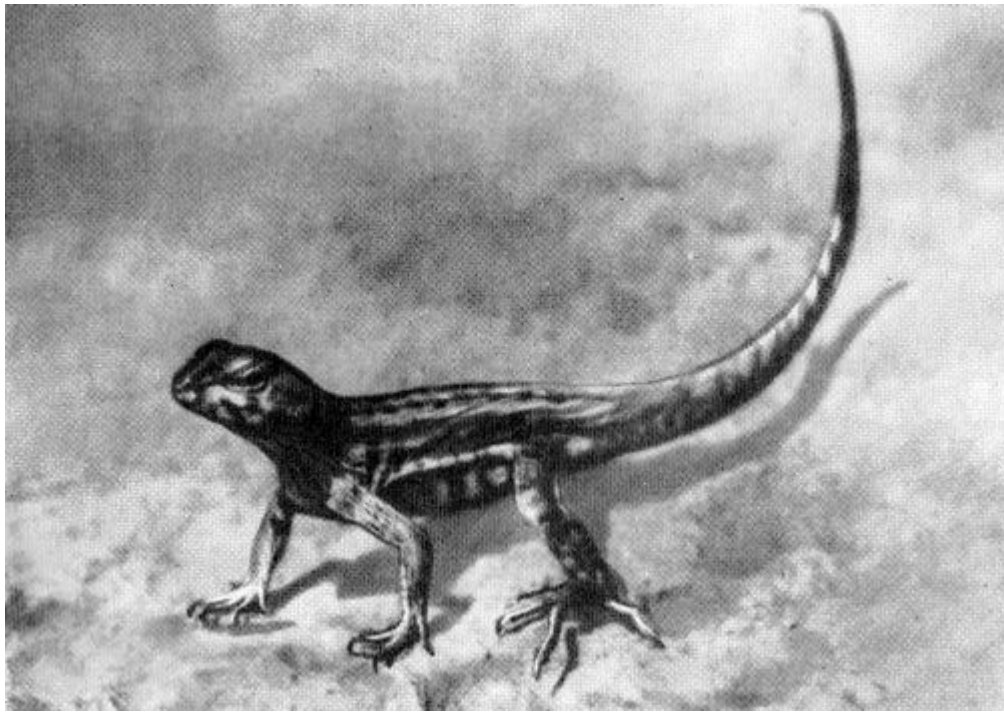
Скудная растительность острова



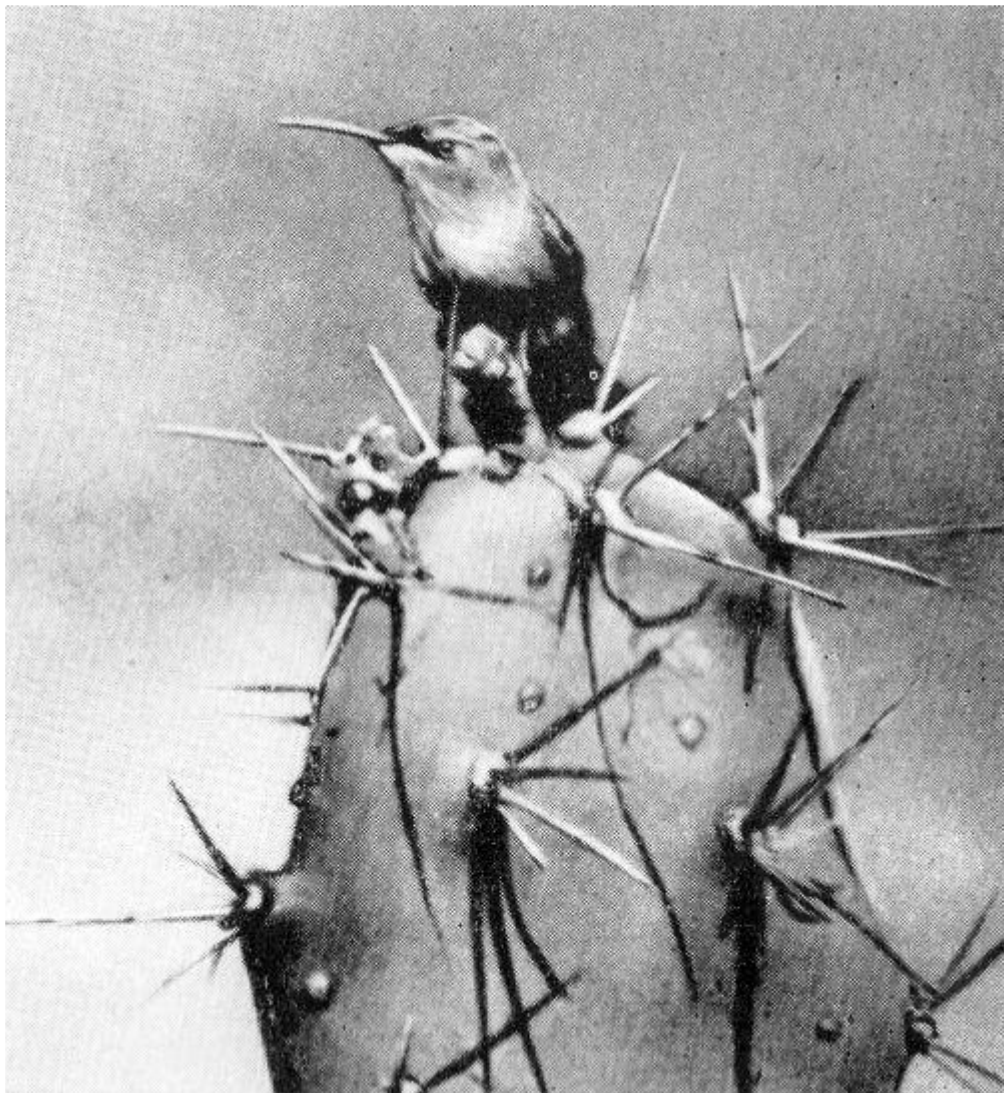
Вдоль берега тянется зеленая линия пальм



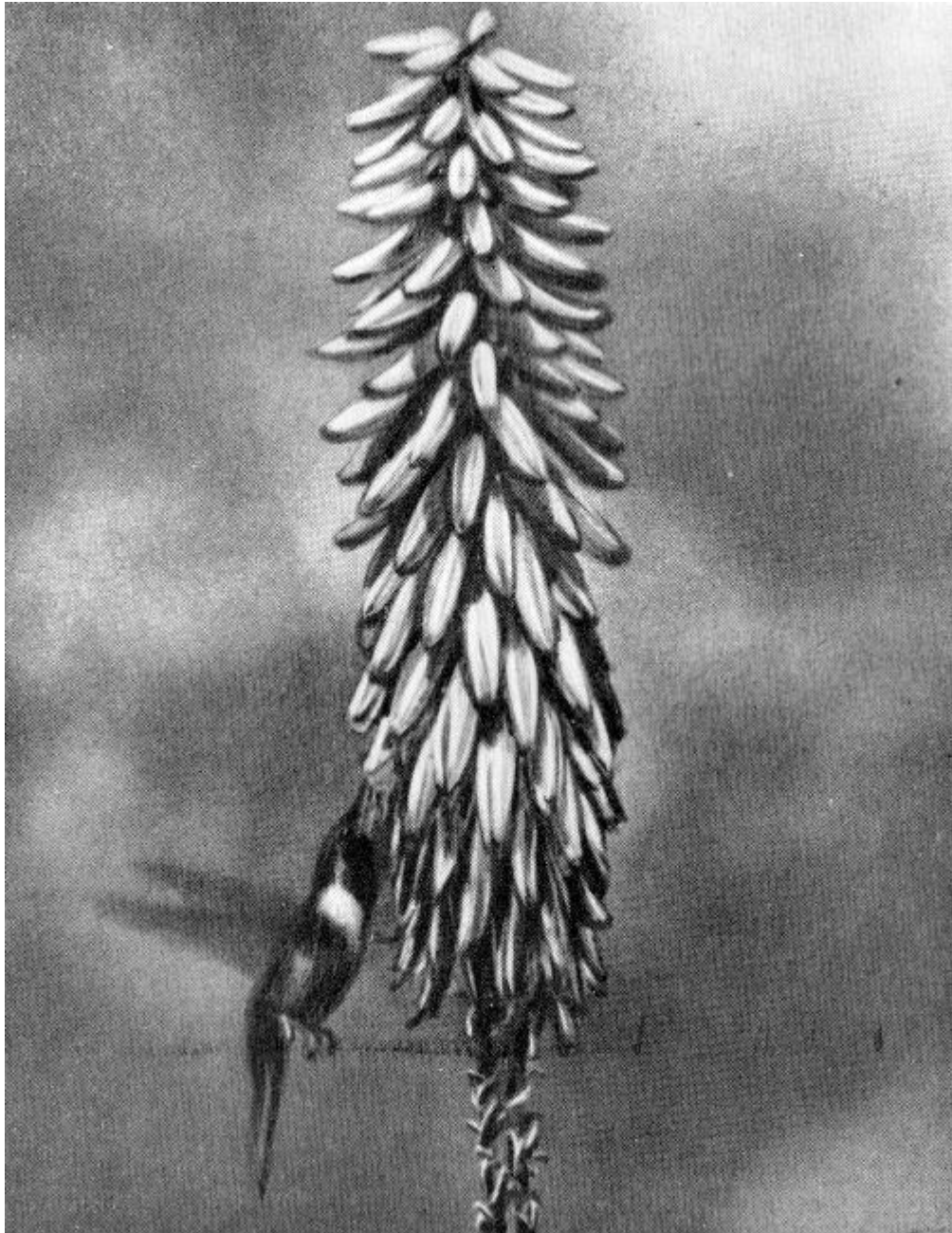
Пауки давно поселились в этом доме



Ящерица грациозно застыла перед дверью



Колибри



В цветах колибри находит нектар

Некоторые обитатели полосы прибоя, хитоны, например, в борьбе за жизнь превращаются в нечто вроде липкого пластыря и с такой силой держатся за камень, что оторвать их можно только ножом или щипцами; другие прячутся в трещинах или углублениях наподобие сверлящей губки, третьи снуют по берегу, как крабы-грапсусы, четвертые укрываются в прочных известковых домиках — так поступают, как известно, улитки или брюхоногие моллюски, а морские анемоны, или актинии, пользуются в борьбе со стихией совершенно оригинальным средством — своей собственной гибкостью.

В разных местах на прибрежных скалах я нашел несколько видов морских анемонов. Чаще всего встречались большие пунцовые экземпляры, подобные тем, что я пересадил в угол своего бассейна, чтобы случайно их не раздавить, но попадались и морские анемоны поменьше, эти в великом множестве обитали на гребнях скал. Они были до того красивы,

прозрачны и хрупки, что казались какими-то нереальными. Их цилиндрические тельца и щупальца окрашены в нежно-серый, мышинный цвет. Цвет как будто невидный, но он удивительно красив под золотистыми солнечными лучами, пронизывающими прозрачные ткани. У пунцовых, более крупных актиний чересчур роскошный, даже несколько кричащий вид, а прелесть этих мелких как раз и состоит в их монотонности.

Морские анемоны принадлежат к той группе живых существ, которые пользуются методом пассивного сопротивления, и при каждом всплеске воды их длинные, волокнистые щупальца начинают колыхаться взад-вперед, трепеща и свиваясь спиралями. У них весьма упругие тела, и в своем строении они достигли такого совершенства линий и форм, что никогда, ни на один миг их движения не теряют изящества. Про них можно сказать, что они являются воплощением самой изысканной грации.

Когда я впервые заинтересовался анемонами, стоял прилив, и они находились в воде. Через несколько часов я снова вернулся на это место. Вода спала на несколько футов, и беспомощные анемоны очутились на суше. На их месте я обнаружил только темные мясистые комочки размером не более чем в одну пятую прежних анемон. На ощупь они напоминали резину и казались довольно плотными. Мне просто не верилось, что прекрасные существа превратились за несколько часов в эти бесформенные комочки. Один из них я надрезал ножом, и из него потекла густая жидкость. Немного спустя я снова осмотрел их: они еще больше ссохлись под палящими лучами солнца, и жизнь, казалось, окончательно покинула их.

В четыре часа дня начался прилив, и они сразу же заиграли красками, такими же нежными и прекрасными, как и прежде. Это было чудесно: актинии, рожденные океаном, в течение шести часов кряду находились без воды, в страшной жаре, на палящем солнце, то есть в совершенно неподходящих для них условиях, и все-таки уцелели. Быть может, они совершенно лишены чувствительности и лишь благодаря этому выдерживают такие резкие колебания температуры и влажности? Для пробы я осторожно коснулся одной из них. Ротовое отверстие моментально закрылось, изящные щупальца втянулись и совершенно исчезли; актиния снова превратилась в бесформенный мясистый комок. Я решил понаблюдать за ней и залез в свой бассейн, на некоторое время оставив ее в покое. Актиния долго оставалась неподвижной, и я уже начал терять терпение, как вдруг заметил пульсацию и дрожь. «Головка» медленно распускалась, обнажая радиально расчерченную поверхность; актиния заметно посветлела, ее ткани расслабили и снова стали пропускать солнечный свет. Одно за другим показались тонкие щупальца. Я словно смотрел замедленный фильм, демонстрировавший процесс распускания цветка. Наконец ткани снова стали прозрачными, эластичными, и животное зашевелилось и закачалось в такт течению.

В этот момент мое внимание привлек маленький рачок: бешено работая клешнями, он пересекал бассейн, очевидно, желая добраться до какой-либо тихой гавани, прежде чем прожорливые рыбы заметят и проглотят его. Я повернулся, чтобы получше рассмотреть его, и моя тень пересекла ему путь. Он резко взял в сторону, и это погубило его: он угодил прямо в протянутые щупальца актинии, находившейся рядом с той, за которой я наблюдал. Мне пришлось стать свидетелем ужасной трагедии, — разумеется, в масштабах моего водоема. Рачок застыл на месте, словно оглушенный ударом миниатюрной молнии, как оно в сущности и было: в момент прикосновения щупальца актинии поразили рачка сотнями ядовитых стрекал, вызвавших у него полный паралич. Он лишь судорожно дернулся раз-другой и больше не шелохнулся, так и не узнав, что же, собственно говоря, с ним произошло. Длинные, мускулистые щупальца оплелись вокруг его беспомощного тельца, затем медленно завернулись внутрь, по направлению к расположенному в центре рту. Сквозь прозрачные ткани я видел, как со всех сторон к проглоченной пище стали поступать пищеварительные соки и под их действием скомканное тело жертвы начало медленно растворяться.

Самое замечательное в анемонах — это разнообразие способов размножения. Они могут разделиться надвое в горизонтальном или вертикальном направлении, и через

некоторое время обе половинки станут парой близнецов.

В других случаях, не желая вести двойное существование, они могут, подобно цветам, на которые так похожи, пустить новые побеги от основных стволов. Однако свежий побег не способен начать вполне самостоятельное существование — он крепко сросся у самого основания с материнским стволом и стелется неподалеку от него. Отстаивая свои права на самостоятельность, этот побег цепляется за гальку и выпускает новенькие щупальца навстречу тому, что судьба или, вернее, прибой принесет ему в дар.

Однако анемоны не удовлетворяются этими способами размножения — у них в запасе есть еще один: они откладывают яйца, которые оплодотворяются по прихоти ветра и волн, или вынашивают их в собственном теле, пока они не станут развитыми эмбрионами. Это разнообразие способов размножения дает гарантию, что род анемон никогда не переведется на землю.

Жизнеспособность этих организмов неиссякаема, и я в этом убедился, когда однажды поднял со дна водоема большой камень и выбросил его на берег. Он тяжело покатился по небольшой группе анемон, образовавшей нечто вроде предместья рядом с главной их колонией. Предместье было почти целиком уничтожено, многие особи искалечены и раздавлены, щупальца вырваны, несколько анемон переломлены пополам. Я не сомневался, что маленькая колония погибла. Не тут-то было! Несколько дней спустя вместо оторванных щупальцев выросли новые, каждая половина искалеченного организма стала отдельным существом, приобретя вид нормального, целого анемона. Это их козырь в борьбе за существование. Пусть полностью исчерпаны все способы сопротивления бушующим вокруг стихиям; пусть волны разрывают их в клочья и размалывают о береговые утесы; пусть щупальца, которыми они, словно руками, добывают себе пищу, оторваны — надежда еще не потеряна, актиния еще живет. Начинает действовать какая-то таинственная сила, таящаяся в сложном механизме их клеток, и они восстанавливают свои ткани и продолжают жить как ни в чем не бывало.

Глава VII РОЖДЕНИЕ ОСТРОВА

В тропических морях существует своеобразный обычай: моряк, выброшенный крушением на остров, совершает обход своих новых владений. Зачем? Вероятно, чтобы убедиться в том, что уже знает или о чем только подозревает: клочок земли, на который он попал, не что иное, как остров! Родоначальник такого обычая всем известен — это отважный и симпатичный джентльмен по имени Робинзон Крузо.

Я также потерпел настоящее крушение, стало быть, и мне полагается совершить это освященное обычаем путешествие, для которого, впрочем, у меня было и более разумное основание — прежде чем приступать к систематическому описанию фауны, следовало уточнить топографические и экологические особенности Инагуа. Еще сидя в лодке Дэксона, бегло оглядывая прибрежные заросли, я понял, что природные условия на Инагуа довольно разнообразны, а берега достаточно красивы и занимательны, чтобы возбудить любопытство, а оно — что ни говори — основной стимул большинства исследовательских работ.

Я был лично заинтересован в подобной экскурсии. Через хозяина маленького парусника, заходившего в Метьютаун, я узнал, что «Василиск», вернее, его остров, перебрало через рифы во время страшного шторма, разразившегося как раз в тот день, когда уезжал Колман. Затем судно было вынесено волками высоко на берег. Но и это еще не все: Дэксон вместе с другими местными жителями разбирает корпус по бревнышкам, охотясь за бронзовыми деталями и оцинкованными скрепами.

Не знаю почему, эти вести страшно меня взволновали. Инагуанцы имели, конечно, полное право завладеть остатками «Василиска», но я очень любил свое суденышко и поэтому почувствовал негодование. Если бы море разнесло его в щепы — это еще куда ни

шло, но то, что Дэксоны рубят его топорами, казалось мне настоящим святотатством...

Какой счастливец был Робинзон Крузо: забрался на холм— и все его царство как на ладони! Мне в этом смысле не повезло: береговая линия Инагуа изрезана мысами, а общее протяжение острова не меньше пятидесяти миль. Если не считать нескольких акров вокруг поселка, это такая же дикая и пустынная земля, какой она была в тот памятный октябрьский день четыреста лет назад, когда Колумб впервые увидел Багамские острова. Не странно ли, что именно та часть Нового Света, где впервые высадились европейцы, и поныне находится в запустении?

Мне предстояло пройти по крайней мере сто пятьдесят миль, не считая отклонений в сторону от основного маршрута, без которых я не мог выполнить свою задачу. Я предвидел, что путешествие будет нелегким: всю дорогу пешком, да еще по местности, где почти нет пресной воды, разве что кое-где во впадинах. Но последний раз дождь шел месяца два назад, в тот самый день, когда мы сели на мель у Шип-Кея.

В лучшем случае я мог захватить с собой три-четыре кварты воды, учитывая вес снаряжения, необходимого для того, чтобы хранить и обрабатывать собранные образцы. Даже тогда моя ноша грозила быть слишком тяжелой. Я старался не брать с собой вещей, без которых вполне можно обойтись. Палатка не нужна— дождем не пахнет, день за днем солнце жарит всюду, и лишь изредка на небе промелькнет облачко. Зачем одеяло в этой тропической жаре? Ночи, правда, холодноватые, но если соорудить самый примитивный шалаш, можно отлично выспаться...

В легкий, очень удобный соломенный мешок местного производства я положил склянку с формалином, шприц и пакет марли, чтобы заворачивать образцы. Я решил ограничиться сбором ящериц и других пресмыкающихся — именно с этими животными были связаны биологические проблемы, которыми мы первоначально намеревались заниматься. Кроме того, я взял кувшин с широким горлом, чтобы складывать в него всю свою добычу. В мешок поместился еще нож, небольшой кусок мыла и спички. Второй такой же мешок я набил до отказа жестянками с мясными консервами. Мой выбор пал на говядину, потому что эти консервы питательнее других и не особенно тяжелы. Я решил восполнять запасы пищи охотой и взял малокалиберное — 22/410 — охотничье ружье, сняв ствол с ложа и прицепив его к поясу наподобие пистолета. Патроны с мелкой дробью предназначались для ящериц, с дробью покрупнее — для стрельбы по голубям, куликам-песочникам и прочей мелкой дичи. Из одежды я захватил с собою одну рубашку, пару носков, крепкие белые брюки и новые парусиновые тапочки.

На следующее утро перед самым рассветом, спугнув своего приятеля паука, который скрылся в трещине оконной рамы, я вышел из дому и запер за собою дверь. Было прохладно и дышалось легко. Пассат почти улегся и только чуть-чуть шелестел в траве. Солнце еще не взошло, и первые лучи бледного света на востоке медленно расползались по горизонту. Из темноты доносилось щебетание парочки мухоловок. Звезды побледнели, внизу на берегу, как всегда, шумел прибой. Все словно застыло в ожидании: это был тот таинственный момент, когда дневные звери и птицы еще не проснулись, а ночные уже укрылись в своих тайниках, и над землей на какой-то короткий миг нависла тишина. Освеженный крепким сном, очарованный прелестью этого безмолвного часа, я взвалил на плечо свои мешки и ступил на протоптанную мной среди кактусов тропинку, которая вела в поселок.

Поселок, казалось, вымер. Мои шаги гулко отдавались между двумя рядами разваливающихся домов. Лишь изредка, проходя мимо темного входа, я слышал приглушенный храп, и это было единственным свидетельством того, что здесь еще кто-то живет. Меня вновь охватила шемящая тоска, как в тот день, когда я впервые высадился на берег. В утреннем полумраке Метьютаун выглядел еще безотраднее, чем днем. Казалось весьма маловероятным, что он просуществует еще хотя бы десяток лет. Единственный промысел, имевшийся на острове — добыча морской соли из соляного озера за городом — совершенно зачах. Чаны забиваются илом и грязью. Примитивные деревянные ветряки, перегонявшие морскую воду в бассейны для выпаривания, разваливаются, гниют в

небрежении. На берегу лежит огромная куча соли, ожидая парохода, который никогда не придет. Если «соль», как называют инагуанцы свой промысел, не возродится, поселок умрет.

Я пошел по дороге, ведущей к соляному озеру, и когда дошел до него, солнце уже показалось над горизонтом. На берегах озера — оно имеет около двух миль в длину — лежал толстый, фута в три-четыре слой белой пены, взбитой за ночь ветром и выброшенной на песок. Пузыри в этой массе не лопаются, сохраняя свою форму; она лежит слой за слоем, словно какой-то игривый великан залезает ночью в озерцо, как в ванну, и оставляет по берегам неслыханное количество мыльной пены. Когда я пробирался по этой пузырячатой массе, она налипала на одежду и, высыхая, образовала небольшие кристаллы. Попробовал их на вкус: они оказались солеными.

Свернув в сторону от озера, я нашел заросшую тропинку, ведущую к бухте Мен-ов-Уор. Эта бухта глубоко вдаётся в сушу, простираясь в восточном направлении. От напора волн она защищена великолепным коралловым рифом, с которым связано первое документально зафиксированное событие в жизни острова. Я имею в виду рапорт офицера британского флота, датированный 1800 годом. Он состоит из трех коротких пунктов и выдержан в строго официальном стиле: «Британский фрегат «Лоуенстофф» и восемь ямайских кораблей, сопровождавших его, были, к несчастью, выброшены на рифы и разбились... Команды погибли, пытаясь достичь берега... Тела унесены волнами...» В примечании содержится утешительная информация, что если кто-нибудь из моряков выберется на берег, то вряд ли может рассчитывать на гостеприимный прием, потому что «... все население острова состоит из одного беглого каторжника, осужденного за преднамеренное и бессмысленное убийство...» Так трагически начинается история острова Инагуа.

Тропа, по которой я шел, была еле заметна и непрерывно петляла между густыми зарослями колючей акации и низкорослого кустарника. В нескольких шагах от соленого озера сыпучий песок под ногами сменился гладким, как паркет, серым камнем. На его ровной поверхности были беспорядочно разбросаны плоские каменные плиты всевозможных размеров — от глубокой тарелки до неправильной формы глыб футов семи-восьми в окружности. Каменный чистый грунт казался пустым изнутри и гулко отзывался на каждый мой шаг, хотя на мне были мягкие парусиновые тапочки. Когда же случалось ступать на каменные плиты, они издавали настоящий звон с диапазоном в несколько октав в зависимости от толщины и величины плиты. Чистота этого металлического звука была поразительна. Звон разносился на добрых полмили, возвещая о моем приближении. Казалось, я шагаю по клавишам огромного рояля или клавикордов, вконец расстроенных и с протяжным звучанием, словно где-то засел невидимый музыкант и отчаянно жмет на педаль. Неожиданно сквозь заросли колючей акации до меня донеслась невероятная какофония. Звуки приближались, нарастали — небольшое стадо диких ослов пересекло мне дорогу и, топоча копытами, скрылось из виду. Их топот прозвучал как карнавальным звон каких-то сумасшедших цимбалистов.

Некоторые плиты издавали легкий звон, у других был глубокий тембр, напоминавший звучание органа под сводами собора. Я тут же подобрал несколько плит, чтобы проверить, нельзя ли сыграть на них какую-нибудь мелодию. Как угорелый бегая взад-вперед — ибо некоторые из плит были слишком велики, чтобы сдвинуть их с места и расположить поудобнее, — я умудрился отстукать палкой первые пять нот «То про тебя, моя страна». Но меня ждал провал с музыкальной фразой «Страна свободная моя». Музыка не ладилась. Новый инструмент весьма нуждался в настройке, но был не совсем безнадежен.

Почва тут имеет, очевидно, ноздреватую структуру, изобилует ячейками и пустотами, потому что пустотный резонанс наблюдается и в других частях острова. Инагуа, как и многие из Багамских островов, можно сравнить с гигантской каменной губкой. Местами море проникает глубоко под сушу. На это указывают «океанские глазки» — озера со светло-голубой, соленой морской водой, уровень которой колеблется в зависимости от

приливов и отливов. Такие озера нередко встречаются на расстоянии десяти миль от берега. Они совсем не похожи на разбросанные по всему острову мелководные, застойные лужи с тускло-зеленой или красноватой жижей. Один из таких океанских глазков я нашел несколько дней спустя в четырех милях от побережья, в северной части острова. В диаметре он имел около шестидесяти футов и был полон той же самой прозрачно-синей водой, что омывает прибрежные рифы. Красные губки коркой облепили его берега, а в синей глубине я разглядел несколько актиний и белые пятнышки морского желудя.

Дна у этого озера нет. В прозрачной воде на сотню футов в глубину ясно различимы каменные стены берегов, потом синева сгущается и уходит в бесконечность. Где-то внизу, в темной бездне, должен существовать туннель, ведущий к океану. Чего бы я не дал за возможность исследовать эту твердыню! Куда он выходит — прямо к рифам, пролегая вдоль какой-нибудь подводной гряды, или на тысячи футов спускается вниз, в черные глубины океана? Какие фантастические существа живут под его мрачными сводами? Призрачно белые анемоны, навечно лишённые дневного света, или гигантские мурены вроде той, что обитала в пещере возле моего плавательного бассейна? Чтобы пройти по такому туннелю, требуется отчаянная смелость и водолазное снаряжение, которое — увы! — еще не разработано. Это была бы неслыханно рискованная вылазка в самые недра острова, которая могла бы окончиться чем угодно. Эра географических исследований и открытий еще далеко не завершена.

Солнце уже стояло высоко, пассат набрал свою обычную силу, но на полянах среди деревьев воздух был неподвижен. Температура неуклонно повышалась; с меня градом катил пот, рубашка прилипла к телу. Вскоре жара стала невыносимой. Даже ящерицы, которые обычно выбирают открытые места, чтобы погреться на солнце, спрятались под камни и терпеливо подстерегали неосторожных насекомых, кружившихся у них под носом. Голые скалы раскалились до такой степени, что обжигали ладонь. На такой камушек не сядешь отдохнуть. Становилось жарко, как в кочегарке. Во рту у меня пересохло. Я заметил небольшую впадину в камне, где лужицей стояла вода, и попробовал ее на вкус. Как и пена на берегу озера, она оказалась соленой. Пройдя с милей, я отведал воды из другой такой же лужицы: то же самое... Тогда я смочил губы водой из фляги, экономя каждую каплю: впереди еще долгий путь...

Вся земля здесь насыщена солью. Даже корни деревьев, растущих из трещин в камне, покрыты коркой соляных кристаллов. Поразительно, каким образом деревья вообще здесь выживают. Вернейший способ погубить растение и надолго обесплодить почву — это полить ее насыщенным раствором соли. Почему же эти деревья благоденствуют? Я сорвал толстый, мясистый лист и пожевал его. В нем скопилось много влаги, очень неприятной на вкус, но отнюдь не соленой. Растения на солончаковой почве каким-то образом фильтруют воду, удаляя из нее соль. Почвы на Инагуа солончаковые, за исключением небольших островков красновато-коричневой земли, залегающей обычно во впадинах и являющейся продуктом распада опавших листьев. Деревья, растущие в таких впадинах, отличаются от своих солончаковых собратьев чуть более яркой зеленью, но все же и у них листва тусклая и бледная. Для тропического острова Инагуа удивительно монотонен. На Гаити или на Кубе, расположенных всего лишь в одном-двух пути, буйная и яркая растительность, а на Инагуа преобладают серые, серебристо-белые и бледно-зеленые тона. Ярko окрашены здесь только цветы.

Я с облегчением вздохнул: заросли начали редеть, повеяло ветерком. Ветер освежил меня и снял чувство усталости, уже начавшее овладевать мною. Звенящих камней становилось все меньше, на земле появился тонкий слой белесоватого ила, влажного и скользкого. Местность, по которой я шел, вероятно, лишь на какую-то долю дюйма находилась выше уровня моря, и вода, лишённая стока, застаивалась на земле. Кристаллы соли стали попадаться мне на каждом шагу. Деревья тут были невысокие, совсем чахлые. Лишь один их вид, напоминавший нашу северную осину, рос более или менее сносно, достигая около двенадцати футов в высоту, но даже и эти деревья встречались редко, листья

у них были серебристые, с едва заметными признаками хлорофилла. Они казались полированными и отсвечивали металлом, колеблясь на ветру.

Я обошел последнюю купу, и в лицо мне ударил порыв ветра. Пейзаж внезапно опустел. Нигде ни малейшего признака жизни, никакой растительности, кроме редких полосок желтой травы, растущей между лужами стоячей воды. Перед купой деревьев, из-под которых я только что вышел, возвышалось с полдесятка стройных пальм, отважно выдерживавших напор стихий, а дальше на много миль расстилалась плоская пустынная равнина, над которой ходили волны раскаленного воздуха. Далеко на горизонте бронзовым блеском сверкала на солнце водная гладь — очевидно, это и было большое озеро, которое, как мне сообщили местные жители, занимало всю центральную часть острова.

Ветер со свистом проносился по равнине, и это явилось неожиданностью после неподвижной и жаркой атмосферы зарослей. Он нес с собою прохладу. Подавшись вперед, чтобы уравновесить его напор, я двинулся по вьющейся тропинке на северо-восток. К полудню дошел до середины равнины и, отыскав сухое местечко, присел отдохнуть и перекусить. Мясные консервы не утолили жажды, и пришлось снова отпить глоток из фляги. Во время привала я взял пробу почвы и исследовал ее. Она целиком состояла из веществ органического происхождения, в нее не затесалось ни единой песчинки. Весь почвенный слой был толщиной не более одного-двух дюймов, ниже шло твердое каменное ложе. В этом тонком слое почвы содержалось неисчислимое множество осколков спиральных раковин крошечных улиток церитеумов размером в какую-нибудь четверть дюйма. Почва складывалась из останков моллюсков и их испражнений, представлявших продукт переработки огромного количества микроскопических водорослей. Нельзя себе даже представить, сколько сотен лет и сколько миллиардов живых существ понадобилось для того, чтобы создать эту тоненькую пленку земли. Ведь почва эта постоянно расплывалась и уносилась ветром или смывалась дождями обратно в океан.

В создание дюймового слоя почвы внесли свой вклад и другие организмы, но очень немногие. Я обнаружил несколько обрывков перьев, раздробленные панцири сухопутных крабов и пучки с трудом растущих трав. Думаю, что эти травы появились здесь сравнительно недавно, потому что их очень мало и они разбросаны отдельными островками, расположенными на большом расстоянии друг от друга. Возле каждого такого островка всегда попадаются кучки бледно-желтого песка; его вынесли на поверхность из трещин в скалистой породе крупные желтые сухопутные крабы с невероятно огромными клешнями. Сами крабы сидели сейчас в своих норах, но о том, что они здесь водятся, свидетельствовало множество пустых отбеленных жарким тропическим солнцем панцирей, разбросанных по всей равнине.

Еще недавно я очень обрадовался, когда вышел из зарослей в открытую саванну, но, походив по ней два часа, был столь же рад ее покинуть. Во-первых, мне не давал покоя ветер; во-вторых, она нагоняла тоску своим безотрадно пустынным видом. Должно быть, так выглядел мир ранним утром на пятый день творения. Тогда были уже созданы земля и небо, и травы, созданные на третий и на четвертый день, колыхались на ветру, но из живых тварей в ранние утренние часы пятого дня были придуманы только крабы и моллюски. Остальные появились позже.

Тропинка круто повернула к побережью, и не успел я достичь форпостов растительности, как снова увидел живые существа. Ночная цапля — кваква — в глубокой задумчивости стояла над янтарными водами пруда. Вероятно, она размышляла о пескарях, съеденных вчера за ужином, или о чем-нибудь еще. Заметив меня, она улетела. В ветвях колючей акации звенели капризные трели мухоловок, подобные тем, какие я слышал на рассвете. Эти мухоловки, или «дурочки», как их называют местные жители, очень милые птицы. С утра до вечера они только и делают, что поют. Перепархивая с ветки на ветку, они долго провожали меня.

Вскоре донеслись знакомые звуки — снова прибой. Каменистый грунт сменился светлым сыпучим песком. Пройдя между деревьями, я попал прямо на берег. Это была бухта

Мен-ов-Уор, где погибло столько моряков.

Сейчас море было спокойно, ничем не напоминало о разыгравшейся здесь трагедии. Неподалеку от берега шесть пеликанов охотились за рыбой. Едва виднелись рифы. Вдоль берега на несколько миль тянулся ряд стройных кокосовых пальм. Здесь пейзаж был несравненно красочнее, чем в тех частях острова, где мне до сих пор приходилось бывать.

Под пальмами, вытянувшись в ряд, белели небольшие домики. Как и в Метьютауне, они наполовину разрушились. Лишь на немногих уцелели крыши. Я медленно проходил мимо них. Это были простенькие постройки из коралла, вроде моей лачуги. Вероятно, здесь жило когда-то несколько сот человек. Они успели даже выстроить церковь, которая тоже пустовала. Казалось, как бы ни старались люди обосноваться на Инагуа, все их попытки обречены на неудачу. Тут я заметил легкий дымок, кольцами поднимавшийся вверх, и зашагал по направлению к нему. Взобравшись на откос, я вышел к двум крошечным, но вполне еще крепким домикам. Возле одного из них стоял человек. Он повернулся в мою сторону и приветливо кивнул. Это был старик с длинной, во всю грудь, бородой. Из-под нависших бровей на меня смотрели выцветшие голубые глаза. «Сколько ему лет? — подумал я. — Семьдесят пять, восемьдесят?..» Хоть он и горбился под тяжестью лет, но был вполне крепок. Копну его седых, но еще густых волос прикрывала выдавшая виды соломенная шляпа. Рваные штаны и рубаха болтались на нем, как на вешалке. Картину довершали босые мозолистые ноги.

Я проговорил со стариком весь остаток дня. За ужином, состоявшим из рыбного супа, сушеной кукурузы и моллюсков, он рассказал мне свою историю: приехал сюда юношей с одного из островов, расположенных севернее, по происхождению он англичанин, его родители переселились на Багамские острова незадолго до его рождения; с несколькими предприимчивыми товарищами он обосновался в бухте Мен-ов-Уор и с тех пор здесь живет. У него есть дети, одни покинули остров, другие живут в Метьютауне. По его описанию я догадался, что видел одну из его дочерей в поселке. Она замужем за мулатом.

Соседи один за другим семьями покидали бухту Мен-ов-Уор, и старик остался в полном одиночестве. Но его век уже прожит, и он рассудил, что уезжать не имеет смысла. Море и прибрежная роща снабжают его всем необходимым — пальмовыми листьями для крыши, рыбой и моллюсками на обед. На поляне он выращивает кукурузу. Запросы у него небольшие — ему хватает.

Со своей стороны, я объяснил, какой случай привел меня на Инагуа, как мы потерпели кораблекрушение и почему я брожу по острову. Он необычайно оживился, когда я описал ему «Василиск», подошел к старому буфету, порылся в куче бумаг и вытащил потускневшую фотографию. Я взглянул и ахнул: это был «Спрей»! Оказалось, что капитан Слокам в одно из своих знаменитых путешествий побывал на Инагуа и прочел лекцию в разрушенной теперь церкви. На память он подарил фотографию своего судна.

Утром я долил флягу дождевой водой, собранной в бочонке под водосточным желобом, съел несколько моллюсков и снова направился в заросли. Мне не приходилось рассчитывать на возобновление запаса воды до самого поселка у лагуны Кристоф. Правда, старик объяснил мне, как находить впадины, где скапливается дождевая вода. Но найду ли я их? Сомнительно, да и сам старик не бывал в тех местах уже добрых двадцать лет.

В тот день я проделал путь в двадцать миль, все время идя зигзагами между берегом и голыми равнинами, окружающими внутреннее озеро. По дороге я подстрелил несколько ящериц, впрыснул им формалин и, обернув в марлю, уложил в кувшин. Каждый экземпляр я снабдил этикеткой с указанием, где он пойман. Под вечер, когда тени уже удлинились, я снова вышел к берегу, изнемогая от усталости. Моя одежда была перепачкана, сам я обливался липким потом, ноги и руки были в кровь исцарапаны колючками. Как ни старался я экономить воду — половины фляжки как не бывало. Еще один день — и я останусь без воды.

Стояла адская жара. Я уселся на песчаной отмели и открыл банку консервов. Они исчезли в один миг, но я не утолил голода и вполне мог проглотить вторую, однако

воздержался: мои запасы были не слишком обильны. Дня через три консервы кончатся, и мое пропитание будет всецело зависеть от охотничьей удачи. Отдохнув, я разделся и искупался в море. Солнце уже село, всходила луна.

Спал я на голой земле, и мне снилось, что целые полчища крабов выходят из моря и окружают меня. Во сне я слышал, как стучат о камни их панцири. Они угрожающе вздымали клешни и подползали все ближе. Я уже различал их фасеточные глаза²⁷ на длинных стержнях: они в упор разглядывали меня. Крабы были желтые и двигались по насыпям из морских раковин. То были длинные спиралеобразные раковины, похожие на раковины церитеумов. Да это и есть церитеумы! Но что за чудо — раковин становится все больше, они массами громоздятся друг на друга, неизвестно откуда появляются новые сотни, новые тысячи... Даже крабам трудно справляться с ними, но они упорно подходят все ближе, расталкивая их своими желтыми клешнями. Внезапно полчища исчезают, расплывшись в коричневую, слизистую массу. Эта слизь стекает по клешням, а потом затвердевает коркой в дюйм толщиной. Крабы вот-вот меня схватят — но тут земля стала невыносимо жечь, а душный воздух тяжело сдавил мне грудь.

Я проснулся весь мокрый от испарины. Я лежал, уткнувшись носом в собственную руку, согнутую в локте. За шиворот мне набился песок. С неба светила почти полная луна, и в ее свете было видно с десятков раков-отшельников, копошившихся в траве. Их-то я и слышал сквозь сон. Остаток ночи я спал урывками, то просыпаясь, то опять впадая в дрему, и проснулся от солнца, бившего мне прямо в лицо. Чувствуя себя вялым, снова искупался в море. Прохладная, чистая вода вернула мне бодрость, я вскинул на плечо свои соломенные мешки и полез вверх по откосу.

К полудню я вышел к лагуне, расположенной против Шип-Кея. Расстояние от берега до островка Шип-Кей около полумили. Их разделяет неглубокий, изумрудно-зеленый пролив. Полагая, что на островке водятся разновидности ящериц, которых нет на Инагуа, я решил добраться до него вброд, преодолевая глубокие места вплавь. На взгляд я определил, что глубина пролива почти на всем его протяжении едва ли мне по грудь, и лишь в узкой полосе в одну восьмую милию шириной она будет выше моей головы. Был отлив, вода стояла низко, но еще час — и через пролив не переберешься. Быстро раздевшись, я положил штаны и рубашку проветриваться на камнях, зарядил ружье мелкой дробью и, чтобы не замочить, привязал его к шляпе наплечным ремнем от соломенных мешков, а несколько запасных патронов запрятал за подкладку шляпы.

Первую половину пути идти было легко; вода была такая прозрачная, что ясно виднелось дно, устланное мелкозернистым песком. Передо мной уже вырисовывался длинный ряд кокосовых пальм на берегу острова; центральная его часть была приподнята и покрыта растительностью. Пролив оказался шире, чем я предполагал. Осторожно попробовал достать ногами дно: слишком глубоко. К тому же тут было сильное течение; оно несло на запад, к коралловому рифу на дальнем конце островка. Держа голову над водой, я брассом поплыл по направлению к пальмам. На самой середине пролива дно поднялось — не погружаясь с головой, можно было прощупать его пальцами ноги. Вот и желанная передышка — балансируя на носках, как танцор хотя и подводного, но все же классического балета, я двинулся вперед. Мне все время приходилось бороться с течением, иначе бы меня снесло к коралловому рифу.

Мель кончилась, и я уже думал снова пуститься вплавь, как вдруг неожиданный шум слева привлек мое внимание. Громкий всплеск — и над водой показался большой черный

²⁷ Фасеточные, или сложные, глаза характерны для насекомых и раков. Сложный глаз состоит из множества (у речного рака из трех тысяч) мелких глазков — омматидиев. Каждый глазок имеет свою сетчатку, свой хрусталик и под ним хрустальный конус, который образует с хрусталиком светопреломляющий аппарат глазка. Омматидий изолирован от соседних глазков непрозрачным слоем черных клеток. Поэтому изображение, которое дает фасеточный глаз, не цельное, а мозаичное, состоящее из совокупности элементов наблюдаемого объекта, отдельно «увиденных» каждым глазком.

хвостовой плавник. Мгновение спустя поверхность воды взрезал темный спинной плавник. Акула! У меня сердце замерло от страха. Акула, вероятно, просто играла на мелководье, охотясь за рыбешками и моллюсками, не видя человека. Я оглянулся и на глаз прикинул расстояние. Ближе всего до острова. Пролив кончался в пятидесяти ярдах от отмели, на которой я стоял, затем еще несколько ярдов — и глубина воды будет не более фута. Если добраться туда — я спасен.

Со всей осторожностью я снова пустился вплавать по проливу, не решаясь плыть кролем, чтобы шумом не выдать своего присутствия. Краешком глаза я видел, как плавник то поднимается, то исчезает под водяной рябью. Вдруг кровь застыла в моих жилах: акула направлялась прямо на меня. Волосы стали дыбом, и я уже был готов подумать, что пропал. Футов за пятьдесят она резко повернула и зашла сзади, со стороны отмели, находившейся посередине пролива, и вскоре снова стала приближаться, заходя справа. Я отчаянно работал руками, каждую минуту ожидая нападения. Но этого не произошло. Акула принялась неторопливо описывать в воде широкие круги, футов тридцати в диаметре. Один только раз ей вздумалось двинуться в мою сторону, и я уже сорвал с головы ружье и сунул его стволом в воду. Убить акулу я не мог, но надеялся спугнуть ее шумом выстрела. Рыба, насколько можно было судить, была огромная, не меньше девяти футов в длину. Когда она снова зашла мне за спину, я повернулся, чтобы не терять ее из виду. К счастью, она держалась около самой поверхности, и можно было проследить за каждым ее движением.

Течение между тем становилось все быстрее — меня сносило к коралловому рифу. Еще сотня ярдов — и мелководья уже не достигнешь. Плюнув на всякую осторожность, я лег на бок и поплыл что было мочи. Впрочем, стараясь делать как можно меньше шума, чтобы не выдать акуле своего страха. Круги, которые она описывала, сужались. Когда она переворачивалась, было видно белое пятно ее брюха. Я испытывал и страх, и усталость — как-никак накануне прошел не менее двадцати пяти миль. Акула застыла на месте. Думая, что она готовится к нападению, я опять схватил в руки ружье, которое до сих пор держал в зубах, и нырнул под воду. Соленая вода разъедала глаза, но это не мешало мне видеть все вокруг. Футов в десяти-пятнадцати от меня акула сделала свой очередной заплыв по кругу, затем круто повернув, зашла мне за спину. Одним рывком я выплыл на поверхность и, отчаянно, из последних сил работая руками, наконец достиг уреза воды.

Под ногами песчаное дно, отлого поднимающееся вверх. Я со всех ног бросился к берегу, падая и поднимая целые фонтаны брызг, а оказавшись на берегу, без сил свалился на песок, задыхаясь и дрожа всем телом.

До этого случая мне никогда не приходилось сталкиваться с акулами. Сейчас же, имея за плечами семилетний опыт подводного плавания в водолазном снаряжении, могу уверенно сказать, что бояться было нечего.

Вспоминая анатомические особенности того экземпляра, что плавал вокруг меня у Шип-Кея, я прихожу к выводу, что это была так называемая песчаная акула²⁸ — совершенно безвредная разновидность акул. Она не нападает ни на одно существо крупнее моллюсков и ракообразных, которыми питается. Ее внимание ко мне объяснялось, вероятно, простым любопытством, и ничем больше. Будь у нее хоть малейшее желание напасть на меня, что помешало бы ей осуществить его? Я был всецело в ее власти.

Как и следовало ожидать, ящерицы на Шип-Кее ничем не отличались от своих собратьев на Инагуа, и при классификации особого упоминания не заслуживают. Все они принадлежат к роду анолис,²⁹ известному своей чудесной расцветкой: от бледно-серого с

²⁸ Песчаная акула (*Carcharias taurus*) достигает в длину трех метров. Держится обычно у берегов, на сравнительно мелких местах, где охотится за крабами, кальмарами и небольшими рыбами.

²⁹ В роде анолис (*Anolis*) насчитывается свыше 150 видов ящериц. Все они обитают только в Америке. Это древесные ящерицы, их пальцы, как и пальцы гекконов, снабжены присасывательными пластинками, благодаря которым они могут бегать по отвесным стенам и даже по потолку. По веткам деревьев анолисы передвигаются

лиловатым оттенком до густого шоколадно-коричневого. Они обладают удивительной способностью быстро менять окраску, так сказать по своей прихоти заливаются желтым, красным или серо-зеленым румянцем. Вытряхнув воду из ствола и просушив ружье на солнце, я настрелял целую коллекцию этих ящериц. Моя шляпа, в подкладке которой хранился запас патронов, по какой-то невероятной случайности уцелела, и я был вполне обеспечен боеприпасами. В противном случае я так и остался бы без образцов ящериц с острова Шип-Кей. Сам я представлял довольно странное зрелище, и никто не принял бы меня за герпетолога, когда я разгуливал нагишом, в одной шляпе, бившей меня мокрыми полями по ушам,

Шип-Кей — на редкость удивительный уголок земли. Он был занят двумя видами деревьев, несколькими видами мелких кустарников, тремя разновидностями крабов, множеством разных моллюсков, одним родом ящериц и одним представителем млекопитающих — мной самим. Вот и все население Шип-Кея, если не считать маленькой зеленой цапли, которая, увидев меня, издала пронзительный крик и тотчас улетела, да целой тучи кровопийц-москитов и южноамериканских песчаных блошек. Деревья, несомненно, самые замечательные обитатели Шип-Кея. Их всего тринадцать, причем двенадцать из них — кокосовые пальмы, растущие на берегу небольшой бухты в самой середине островка. Всю остальную площадь занимает тринадцатое дерево — великолепный представитель своего вида. Вполне возможно, первоначально здесь было несколько деревьев, но они срослись и образовали сложное переплетение из нескольких сот отдельных, но взаимосвязанных стволов и не менее трех или четырех тысяч выходящих из земли корней, поддерживавших эти стволы. Они образовали приподнятую площадку, которой не достигала соленая океанская вода. Корни переплелись в невообразимом клубке. Ветви, извиваясь, прокладывали себе путь вверх, несметное число раз срашиваясь и оплетая друг друга — и все это непроницаемое переплетение ветвей, стволов и корней венчал шатер темно-зеленой листвы. Лишь кое-где лучи солнца прорывались сквозь этот экран, и когда я вступил в огромную растительную западню, мне показалось, будто я попал в сырую и мрачную пещеру. Вся она была наполнена низким гудением тучи кружащихся насекомых. Москиты облепили мое голое тело, и каждый деловито вонзил в него свой зонд. Как ошпаренный выскочил я наружу и принялся стряхивать с себя этих кровопийц. Затем обошел вокруг чудовищного дерева. Оно занимает по крайней мере пол-акра. В Кингстоне, на Ямайке, растет знаменитый баньян, способный заполнить собою небольшую городскую площадь. Но он и в подметки не годится моему мангровому дереву — это было именно мангровое дерево. Оно целиком проглотит кингстонского великана и вместит в своих дебрях еще одного такого же.

Мангровое дерево — центр и средоточие всей жизни на Шип-Кее. Древесные ящерицы анолис нашли себе пристанище на его ветвях. Лиственный покров защищает их от пассатов, сметающих все на своем пути, и дает приют москитам и другим насекомым, которые питаются кровью ящериц. Даже сухопутные крабы, желтые и красные, всецело зависят от мангрового дерева: роясь в мусоре и гнили, которая скапливается на земле, они выискивают в опавшей листве микроскопические крошки себе на прокорм.

Самая жизнь на Шип-Кее существует благодаря мангровому дереву; более того, мангровое дерево — основа и фундамент всего островка. Не будь этого древесного гиганта, Шип-Кей так и остался бы простой песчаной отмелью, вечно меняющей свои очертания по воле ветров и течений. Только под этим зеленым шатром известковый песок, прочно удерживаемый переплетающимися корнями, стал известняком.

Шип-Кей возник над бушующим прибоем благодаря тому, что в этом месте барьерного рифа кораллы плотно переплелись между собой и затруднили свободный ток воды. Риф

очень ловко, прыгая с сука на сук, и могут удержаться даже на гладкой поверхности листа. Питаются насекомыми и пауками.

начало заносить песком. С течением времени слой песка рос вверх, заполняя все пустоты между ветвями коралла, и наконец вышел на поверхность. У поверхности волны и течение размывают сыпучий песок, расшвыривают его во все стороны, укладывают кучами и снова размывают; мель меняла очертания с каждым приливом и отливом. Я добрался до крайней оконечности островка и увидел, что там идет именно этот процесс. Вся в пенистых бурунах, дуга кораллового рифа изгибается до крайней точки островка, оканчиваясь большой грудой белого песка. Набегающие с океана волны вскипают здесь воронками и взбалтывают наносы в молочную массу, которая перекачивается взад-вперед с каждым приливом и отливом.

Я вернулся к бухте и сел на песок — мне хотелось отдохнуть, прежде чем плыть обратно. И здесь я воочию увидел, как протекает вторая фаза становления острова. Вода недавно достигла самого низкого уровня и сейчас начала прибывать. Медленно, дюйм за дюймом она покрывала песчаный откос, мелкая зыбь легко плескалась о берег. На зыби качался продолговатый обломок красноватого дерева длиной около фута. Нижний его конец напоминал по форме заостренный дротик, верхний был причудливо увит засыхающими древесными волокнами. Это был отросток мангрового дерева, принесенный волнами откуда-то с Инагуа.

Мангровые деревья растут там, где почвенный покров неустойчив: в болотной трясине или в полосе прилива и отлива, подверженной действию сильных течений. Если бы семена мангровых деревьев ничем не отличались от семян других растений, их бы немедленно смывало соленой водой либо засыпало песком. Однако природа снабдила мангровые деревья особым способом размножения и сделало семя способным закрепляться в самой зыбкой почве. Маточное дерево не разбрасывает вокруг себя зрелые семена и не обрывает их на гибель в воде или под слоем песка, а хранит семя, пока оно не прорастет и не выпустит длинного крепкого отростка, свисающего с ветки к земле. Копьеобразный отросток достигает земли, пускает корни и начинает самостоятельную жизнь, оторвавшись от породившего его дерева. Но может случиться иначе: волокна, удерживающие семечко на ветви, внезапно обрываются, оно дротиком падает вниз и зарывается в мягкую почву. Отросток благодаря собственной тяжести погружается все глубже, цепляется корешками за землю и прочно утверждается в ней.

Отростку-корешку, приплывшему по волнам, почему-то не повезло. Должно быть, он упал набок, зацепившись за ветку и отклонившись от вертикального направления, и был подхвачен отливом; возможно также, что он упал на раковину или прикрытое слоем грязи бревно и не смог закрепиться в почве. Много ли у него шансов на то, чтобы выжить? Сомнительно... Однако тут же, в нескольких шагах, я заметил другой отросток, наполовину засыпанный песком. У этого на самой верхушке уже пробилась два темно-зеленых копьевидных листочка. Его длинные волокнистые корни уже прочно закрепились в песке, обвившись вокруг давно погибшей раковины.

Именно таким образом привилось и большое мангровое дерево в центре островка. На ранних стадиях своего развития оно должно было выдержать ужасающую борьбу, настоящую битву с солеными брызгами, липкой пеной, волнами и наносами. Оно выдержало. Из одного корешка стало два, затем четыре, и в конце концов их число дошло до сотни, до тысячи. Раскрывающиеся листья поглощали солнечные лучи и благодаря чудодейственным свойствам хлорофилла перерабатывали их энергию в ткани ствола, ветвей и семян.

С веток спускались новые корешки. Они пронзали песок и пускали побеги, которые в свою очередь обрастали листвой, цвели и давали семена, которые тоже падали на землю и пускали побеги, сливаясь в единое целое со своими родителями.

Подобным же образом прибыли на Шип-Кей и кокосовые пальмы: волны выбросили их на берег в виде спелых орехов. Появились они здесь значительно позже мангрового дерева и благодаря какой-то особенности в строении берега расположились правильным рядом вне зоны приливов и отливов.

В приливо-отливной полосе среди всякой всячины, прибитой волнами, часто

попадались высохшие скорлупки кокосовых орехов. Они не могли быть здешнего происхождения; к тому времени, когда кокосовые пальмы на островке выросли и дали плоды, отмель значительно увеличилась и первопришельцы отодвинулись на несколько ярдов от кромки воды.

Эти кокосовые скорлупки помогают понять, каким образом на островке появились ящерицы. Они едва ли могли приплыть сюда на отростке мангрового дерева, потому что моментально окаменели бы и свалились в воду.

Но, отправляясь в скорлупе кокосового ореха, ящерица имеет немало шансов на благополучный исход путешествия: эти суденышки обладают хорошими мореходными качествами. При спокойной погоде и нормальном отливе одна, а то и две ящерицы отлично могли бы проплыть в такой скорлупе полмили, которые отделяют Шип-Кей от Инагуа. Впрочем, можно предположить и другое: бурей могло вырвать с корнем и выбросить в море целый куст, приютивший на своих ветвях семейство древесных ящериц анолис. Это кажется даже более правдоподобным: ведь до сих пор ни одно из многочисленных существ, проводящих свою жизнь не на деревьях, а на земле, еще не переселилось на Шип-Кей.

Пока что из живых организмов и растений, обитающих на суше, здесь обосновались только крылатые насекомые, ящерицы, несколько видов кустарника и два вида деревьев. Крабы и моллюски в счет не идут. Хотя они и живут на суше, они, строго говоря, морские животные, поскольку вынуждены время от времени возвращаться в океан, чтобы класть яйца или увлажнять жабры.

Не знаю, сколько понадобилось лет, чтобы Шип-Кей достиг такой степени заселенности. Ведь сам остров, судя по всему, существует не больше одного или двух веков. Из всех карт, которые мне известны, самая старинная относится к 1860 году, и он на ней отмечен, но не назван. Если предположить, что он существует сто лет, тогда можно сказать, что каждые двадцать пять лет на островке появлялся новый вид растения или животного. Цифра эта, вероятно, весьма завышена, но все же и в таком случае за тысячелетие сюда придут только сорок новоселов, причем одна их половина будет принадлежать к животному, другая — к растительному миру.

Вот почему я был совершенно счастлив, обнаружив, что завез на островок двух новоселов: животное и растение. Ведь это норма, отпущенная на полстолетия! Произошло все таким образом. Когда я доставал из-под ленты моей шляпы запасные патроны, к моему удивлению, из-под мокрой материи показалась жалкого вида паучиха. Она выглядела замученной и насквозь промокшей, но все же довольно бодро передвигалась на своих восьми ногах. На теле у нее я заметил круглый мешочек с несколькими десятками крошечных яиц. Я бережно посадил паучиху на пальмовые волокна в тень опавшего пальмового листа. Несколько секунд она сидела неподвижно, затем исчезла в расщелине вместе со своими яйцами. Я уверен, что от нее на острове выведется новая порода пауков.

Но я был далеко не так спокоен за шестого островитянина, которого даже не знаю, как зовут. В надежде найти еще одного паука — нужен же моей самочке друг! — я вывернул наизнанку всю ленту. Восьминогих больше не оказалось, зато в складке фетра я нашел маленькое зернышко очень своеобразной формы. Оно походило на наконечник копья, только самый кончик у него был перекручен и изогнут наподобие лиры. Вдоль зернышка проходила глубокая бороздка. Несколько недель спустя я исследовал на острове множество семян различных трав, надеясь найти такое же, но ни одно даже отдаленно не напоминало его. Это семя могло попасть за ленту шляпы, когда я спал; не менее вероятно и то, что оно совершило со мной весь путь из Северной Америки — шляпа у меня очень старая. Под одной из пальм я наскреб в кучку немного земли и посадил свое зернышко, обозначил место посадки кольцом из ракушек. Конечно, шансов, что зерно прорастет, было очень мало. Лет десять спустя, вернувшись на Шип-Кей по совершенно другому поводу, я вспомнил про зернышко, но все поиски оказались тщетными — колечко из раковин исчезло, погибла и сама пальма; она лежала теперь на земле, быстро превращаясь в составную часть почвы.

Размышляя о возможной судьбе зернышка, я вдруг увидел летевшую по ветру бабочку

и уже решил было, что к населению островка прибавится еще один житель. Но насекомое даже не попыталось достичь острова — оно миновало барьерный риф, а затем его ветром унесло в открытое море. Это напомнило мне об одном загадочном явлении, которое я наблюдал в конце сентября 1927 года на побережье между Льюисом и Рихобот-Бич в Делавэре. На прогретом песке пляжа сидела масса бабочек тиерис с оранжево-желтыми крыльями, обведенными черной каймой. Подул легкий западный ветер, и все бабочки как одна поднялись и, вытянувшись в неровную, прерывистую линию, улетели в темнеющую даль Атлантического океана — навстречу собственной гибели. Хрупкие и нежные, одна за другой они падали на воду, беспомощно били крыльями, затем некоторое время спокойно плыли по волнам и наконец, отяжелев от воды, погружались в холодные зеленые глубины. Их были тысячи и тысячи. Сообщали, что единичные экземпляры этих бабочек достигли Бермудских островов, где их видели от случая к случаю и откуда они исчезали так же таинственно, как и появлялись. Подобное же явление наблюдалось на северном побережье Южной Америки с бабочками, принадлежащими к тому же семейству, что и бабочки тиерис. Целыми тучами вылетели они в Карибское море, откуда для них нет возврата. Такое же безумие таинственным образом охватывает порою мигрирующих норвежских леммингов:³⁰ целыми полчищами бросаются они со скал в фиорды и тонут сотнями — психоз, по всей видимости, вызываемый эпидемическими болезнями.

Так или иначе, повинувшись какому-то импульсу, бабочки вдруг собираются массами на берегу и с попутным ветром улетают на верную гибель в открытый океан, а лемминги отправляются в свои далекие миграции.

Образование острова — долгий и сложный процесс. Представим себе, что я перепахал свой огород, выкорчевал всю растительность, сжег остатки и снова перепахал его. В результате как будто получился участок земли, лишенный всякой жизни, полоска желтовато-коричневой почвы. Но если я сложу руки, эта полоска в какие-нибудь две-три недели превратится в зеленый ковер из сорняков, подорожника, маргариток, вьюнков, белены, флоксов, фиалок, дикорастущих трав, вьющихся лоз, древесных побегов, кустов смородины и куманики. На шести акрах моей фермы в Мэриленде, где имеется и лес, и запаханная земля, сырая и сухая почва, вероятно, больше различных видов животных и растений, чем на острове Инагуа, хотя общая их масса меньше.

Образование флоры и фауны на острове среди океана — это долгая цепь дерзаний и ошибок природы. Из десятков живых существ, принесенных на остров ветром или водой или прибывших на телах других животных и птиц, выживают лишь единицы. Один только шторм на таком островке, как Шип-Кей, может уничтожить все, что накопилось в течение целого столетия.

Я прибил землю вокруг только что посаженного зернышка, поправил кольцо из раковин, взял ружье и шляпу, с учащенно бьющимся сердцем прошел по мелководью к проливу и тихо скользнул в воду.

Глава VIII ВЕТЕР

Я хорошо сделал, что не задержался на острове: течение в проливе уже значительно ускорилося, вода быстро неслась к рифу в сторону открытого моря. На пределе сил я добрался до ближайшей мели по ту сторону пролива. За этой мелью лагуна переходила в широкое водное пространство, где было значительно глубже. Если б меня отнесло дальше, мне стоило бы немалого труда добраться до берега, а я и так вернулся совершенно

³⁰ Лемминги — небольшие, близкие к полевкам грызуны, обитатели дальнего севера Европы, Азии и Америки. При недостатке пищи лемминги собираются бесчисленными массами и предпринимают далекие миграции.

выдохшийся. Ни на секунду не забывая об акуле, я то и дело оглядывался через плечо; к счастью, она не появилась. С чувством глубокого облегчения я добрел вброд до берега и опустился на песок около того места, где оставил свою одежду.

Отдышавшись, я достал склянку с формалином и шприц, законсервировал вновь добытых ящериц и уложил их в кувшин. Вдруг мое внимание привлекли какие-то странные звуки, напоминающие криканье. Я поднял глаза: над проливом пролетала стая розовых колпиц.³¹ Подобно гусям, они сохраняли в полете военный строй: каждая птица летела не в хвост предыдущей, а немного в стороне; так легче лететь, используя волну разреженного воздуха, поднятую передними птицами.

Колпицы изящно и неторопливо махали крыльями, но иногда вожак вдруг складывал их, и другие птицы следовали его примеру в строго ритмической последовательности; он плавно скользил вниз, пока вся стая без единого взмаха не снижалась до самой поверхности воды. Тут взмахи крыльев возобновлялись, и, начиная с вожака, движение последовательно передавалось всему клину. По отработанности движений они напоминали кордебалет. Но никакая балерина не может соперничать с колпицами красотой своего наряда. Ни у одной птицы, за исключением, пожалуй, фламинго, нет такого дивного оперения. Оно нежно-розовое, с каким-то оттенком, которому не подберешь названия; назвать его просто розовым все равно что назвать небо голубым. В розовом цвете их оперения есть что-то от переливов перламутра, багрянца заката, блеска пламени и сверх того еще нечто совершенно ускользающее от определения, неуловимое и прелестное. Это теплый и живой цвет, вспыхивающий и гаснущий в зависимости от освещения, то нежный и бледный, то темный и карминовый. Поворот крыла, яркий солнечный луч или тень, отброшенная тучей, — и оперение колпиц вспыхивает алым, пунцовым, красно-оранжевым тонами и всеми оттенками средиземноморского коралла. Представьте себе это оперение на фоне темно-синего моря, прозрачной зелени лагуны, густой оливковой листвы мангровых деревьев, лазурного неба и золотистого песка залитого солнцем тропического берега — и вы получите некоторое представление о колпицах в их естественном окружении.

Необходимо принять меры для их защиты, иначе близится час, когда последняя колпица в этой части земного шара построит последнее гнездо и снесет последнее яйцо. Когда-то эти птицы огромными стаями водились в южных районах Флориды, на побережье Мексиканского залива и на Вест-Индских островах. Сейчас во Флориде колпицы полностью уничтожены, а из Вест-Индских островов они еще изредка встречаются на Кубе и Эспаньоле, но и там находятся уже на грани исчезновения. Их еще можно найти и на острове Большой Инагуа. Когда их уничтожат и там, мы не сможем любоваться этими своеобразными и прелестными птицами.

Смотришь на колпицу и кажется, что это какая-то помесь утки с аистом. На самом же деле она не принадлежит ни к тем, ни к другим. Ближайшие ее родственники — ибисы, с которыми, по мнению некоторых орнитологов, их следует объединить в один отряд; но, согласно современной классификации, колпицы выделяются в совершенно отдельную группу. Необычайный клюв колпиц, придающий им удивительно забавный вид, не позволяет сблизить их с другими отрядами птиц. Он не розовый, как перья птицы, а зеленовато-голубой, переходящий у основания в серый. Кончик клюва плоский, напоминающий по форме ложку или лопатку; голова и нос голые, без оперения, и если посмотреть на колпицу сверху, она похожа на лысого Сирано де Бержерака с чудовищным носом.

³¹ Колпицы принадлежат к семейству ибисов и отряду голенастых птиц. Отличаются лопатообразно расширенным на конце клювом, которым ловко ловят мелких рыбешек, лягушек и водяных насекомых. Охотятся они обычно вытянувшись косою линией навстречу течению. Сделав шаг, каждая птица широко поводит в сторону опущенным в воду клювом, при следующем шаге отводит его в противоположную сторону, и так дружно «косят» колпицы воду, выискивая спую нехитрую пищу.

Торопливо натянув одежду и собрав вещи, я побежал по берегу вслед за стаей. Птичий клин пролетел с полмили вдоль берега, затем свернул и понесся над зарослями мангровых деревьев в глубь острова. Когда я добрался до деревьев, птицы уже скрылись из виду. Я успел только заметить, как они мелькнули над устьем широкого заболоченного протока, пересекавшего всю местность. Сотни мангровых деревьев окаймляли его берега, совершенно закрывая доступ к воде. Где-то в этом болоте находились гнездовья колпиц. Было пятнадцатое февраля, и, насколько я знал их повадки, близился срок гнездования.

Идти на поиски колпиц, конечно, не стоило. Я не проделал еще и четверти намеченного маршрута, а воды выпил уже больше половины. К тому же продовольствия мне хватило бы лишь на несколько дней, после чего пришлось бы перейти на подножный корм. Какую бы интересную особенность фауны острова ни представляли собою колпицы, они все же не имели непосредственного отношения к научным проблемам, которыми я занимался. Но мне очень хотелось увидеть гнездовья этих редких, быстро вымирающих птиц — можно ли было упустить такую возможность?

Протока, подумал я, мелкая, не глубже, чем по колено. Почему бы мне не пройти ее вброд по всей длине? Достигнув ее конца и пробравшись сквозь заросли мангровых деревьев, я выйду на сушу и по диагонали вернусь к побережью. По дороге можно сделать топографические заметки и набрать ящериц. Эта казуистика понадобилась мне для очистки совести — я отлично понимал, что получу те же результаты с меньшей затратой времени, если перейду протоку у самого устья, минуя мангровые заросли. Но при таком маршруте пришлось бы распрощаться с колпицами...

На лодке исследование протоки заняло бы всего лишь несколько часов; оно не представило бы никакой трудности, если бы производить его с берега, но в том-то и дело, что никакого берега не оказалось. Переплетающиеся корни мангровых деревьев торчали со всех сторон, и я поневоле вынужден был держаться середины. Вначале я уверенно шагал по гладкому и твердому песчаному дну, потом песок стал мельче, а дно мягче, и мне пришлось месить ногами противную липкую грязь. Вот тут-то мне бы и повернуть обратно, и я бы так и поступил, но в самый последний момент, когда я уже решил возвратиться на сушу, снова появилась колпица. Она бродила по мелководью в поисках добычи и забавно хватала ее, грациозно поворачивая вбок клювы. Она быстро водила клювами под водой, хватая ракушки, моллюсков и мелкую рыбешку. Затем она снова поднялась в воздух и полетела вдоль протоки. Вечер застал меня в лабиринте болота. Шесть или семь раз я готов был повернуть обратно, но надежда найти гнездовья гнала меня вперед. А колпицы словно издевались надо мной — никак до них не доберешься!

Мангровые заросли буквально кишели водяной птицей. Большие отряды перелетных ржанок и куликов-песочников шагали военным строем по заболоченным низинам. Несколько стай пеликанов то летали и били крыльями над зеленой водой, то с громким всплеском ныряли за рыбой. Повсюду — и под сенью мангровых деревьев, и на отмелях — были видны целые легионы маленьких зеленых цапель. В воздухе висел их гортанный крик. Испуганно крича, они десятками поднимались ввысь, пролетев несколько ярдов, опускались и снова взлетали. Огромные, худые голубые цапли неподвижно стояли на одной ноге, подстерегая злополучных моллюсков, а затем улетали, тяжело размахивая крыльями, словно какие-нибудь ископаемые птеродактили. Я вспугнул стайку куликов-ходулочников, и они подняли ужасающий шум, похожий на тьяканье злобных собак. Повсюду я находил покинутые и заброшенные гнезда цапель, а на самых мелких местах — тщательно замаскированные, плоские, качающиеся на воде гнезда доминиканской чомги. Они тоже пустовали и разрушались, хотя их хозяева плавали и ныряли по всей реке.

Этот вид чомги — самый мелкий во всем их семействе. Доминиканская чомга напоминает утку, но клюв у нее сжат с боков, а ноги так далеко отставлены назад, что по земле она ходит медленной, нетвердой походкой. Летает чомга мало, но на воде являет чудеса ловкости и проворства. Вершина ее искусства — подводное плавание: она может проплыть под водой большое расстояние и движется с удивительной быстротой,

отталкиваясь широкими лопастями специально для этого приспособленных ног. Жизнь доминиканской чомги целиком проходит в плавании — на поверхности или под водой.

Когда заходящее солнце осветило меня косыми лучами, я был уже далеко от побережья. Колпицы совершенно исчезли, затерялись в густых мангровых зарослях. Белый известковый ил лежал очень толстым слоем, в нем увязали ноги, он налипал на мои парусиновые тапочки и штаны. Тут только я почувствовал, до чего устал. Мои соломенные мешки внезапно отяжелели, словно были набиты камнями. Ремни врезались в плечо. Лицо и шея обгорели, к ним больно было прикоснуться. Глаза резало от яркого солнечного блеска. Соленая вода разъела кожу на ногах, и она потрескалась.

Куда бы присесть? Я тщетно искал сухое местечко но его не было. Каждую пядь твердой земли занимали мангровые деревья. Негде было присесть и на грязевых отмелях. Пробриться на сушу сквозь заросли я и не пытался: корни мангровых деревьев разрослись и образовали совершенно непроходимый барьер с такими маленькими просветами, что сквозь них могли пробраться разве что кулики да цапли.

Солнце спускалось все ниже и наконец скрылось за деревьями, окрасив облака в розовый цвет. Темнота сгущалась. В небе зажглась первая звезда; сначала бледная, она постепенно разгоралась. Небесная синева потускнела, подернулась сероватыми тенями, затем на землю упал мрак. Тут мое ухо уловило легкое гудение — это зажужжали москиты. Целыми тучами налетели они и облепили мне руки, лицо, плечи. Я отчаянно стряхивал их и давил десятками. На руках у меня образовалось месиво из раздавленных москитов и моей собственной крови. На место раздавленных немедленно садились другие. Они залетали мне в глаза, набивались в уши и ноздри. Еще днем у меня от жары растрескались губы, а сейчас они совсем распухли от укусов. Проведя рукой по лбу, я обнаружил, что он весь покрыт волдырями. Тогда я достал платок и повязал им лицо, оставив открытыми только глаза, как делают бандиты; но и это не помогло: кровопийцы пробрались под мою импровизированную маску и стали неистовствовать хуже прежнего. Не спасала меня и рубашка: острые жала с такой легкостью пронзали легкую ткань, словно ее вообще не существовало. В отчаянии я попробовал смочить рубаху, надеясь, что это как-то помешает москитам. Ничего подобного! Мокрая ткань лишь плотнее прилипла к телу. Мне пришлось в голову смазать лицо и тело мокрой глиной, но защитной маски не получилось: грязь тоненькими струйками стекала на грудь. Я проклинал колпиц, проклинал собственную глупость, проклинал положение, в котором очутился...

Конечно, я сам был виноват, что залез в это болото, но у меня было и оправдание: ведь с того вечера, как Офелия испекла вам хлеб в песках лагуны Кристоф, я ни разу не видел ни единого москита. Но мангровое болото, хоть вода в нем и соленая, оказалось отличным питомником для этой твари. Они ожили, как только стемнело, и несметными полчищами накнулись на беззащитного путника. Как-то раз мне пришлось провести несколько ночей на болотах в Нью-Джерси, в другой раз я ночевал в затопленных кипарисных рощах на юге Джорджии. Там было столько москитов, что даже дюжина самолетов не перекрыла бы их жужжание. Но нигде и никогда я не испытывал таких мучений, как этой ночью в трясине, борясь с мириадами москитов.

Надо что-то предпринять, не теряя ни минуты!

Боль от укусов становилась все мучительнее и буквально сводила меня с ума. Жужжание усиливалось. В такт ему шумно вибрировали барабанные перепонки. Я не знаю ничего, что бы так пагубно действовало на нервы, как хоровое пение москитов. Я был близок к полному отчаянию. Понадобилось огромное усилие воли, чтобы не бросить на произвол судьбы всю мою поклажу и не кинуться опрометью к берегу. Мне действительно ничего не оставалось, как вернуться обратно, но делать это надо было осторожно, не торопясь, чтобы не сбиться в темноте с пути и не забрести в какой-нибудь боковой рукав, который приведет меня в тупик. И вот я упрямо шлепал по грязи, всеми силами сдерживая себя, чтобы не давить москитов: когда борешься с ними, они жужжат еще громче и еще более раздражают. Минута за минутой я шел по колена в теплой воде, спотыкаясь о поваленные стволы, падая в

ямы, поднимаясь и снова падая. Боль становилась все невыносимее, и, чтобы заглушить ее, я старался сосредоточиться на чем-нибудь другом. В воспаленном мозгу возникли образы индусских аскетов, которые, погружаясь в размышления о прекрасном или в глубины философии, закаляют свой дух и делают его нечувствительным к страданиям. И вот, пробираясь сквозь густую тьму, я стал вслух твердить одну поэму, которую помнил наизусть. Это был удивительно печальный, величественный «Танатопсис».

«Ты с видимыми формами природы, любя ее, сношенья завязал, и потому она с тобой заговорила чудесным и богатым языком...» Голос мой глухо отдавался в мангровых рощах. *«Когда твой дух весельем преисполнен, ты в голосе ее услышишь радость...»* Эти слова всегда казавшиеся мне прекрасными, прозвучали сейчас удивительно глупо: Брайэнт, вероятно, даже не подозревал о существовании москитов!

«Улыбкою она тебя подарит и даст тебе сознание красоты...» Черт бы побрал этих колпиц! — мысленно выругался я. *«И в горькие твои она проникнет думы сочувствием смягчит их остроту...»* Тут я бухнулся в воду, подняв целый фонтан брызг. Встав и стряхнув с глаз москитов, я продолжал: *«Когда же на тебя нахлынут мысли о страшном и последнем часе жизни пред тобой откроется картина, как в смертной агонии бьется тело, и ты воочию увидишь саван свой, и гробовой покров, и тьму, где без дыханья ты лежишь...»* Веки мои так распухли, что я уже не мог раскрыть глаза... *«Тогда ты содрогнешься от предчувствий, тоска сожмет рукой железной сердце...»* Ну и выбрал же я поэмку! *«Но ты скорее выходи на волю под ясно-голубой шатер небес и слушай все, чему природа учит: ведь отовсюду — из глубин воздушных, с земли и с синих вод несетя плавно природы тихий голос...»* Последние слова я произнес шепотом, потому что с десятков москитов уселись на мои губы и разом вонзили в них жала.

«Немного дней пройдет, и солнце, что видит все, когда обходит землю, тебя, тебя уж больше не найдет нигде на свете — ни в земле холодной...» Почему холодной? Ничего подобного — она горячая, она жжет...

«Нигде на свете — ни в земле холодной, где упокоили твое недавно тело, облив его слезами расставанья, ни в океане бурном — нет, нигде твой облик ныне уж не существует...»

Водная поверхность внезапно засветилась, и это на какой-то момент отвлекло меня: над деревьями всходила кроваво-красная луна. Сквозь облако москитов, висевшее перед моими распухшими глазами, я разглядел медные отблески луны на листьях. И снова мрачно начал повторять слова поэмы: «Земля, тебя вскормившая, вызывает, чтоб ты в нее скорей вернулся и потерял обличье человека...» Никто не найдет меня, если я свалюсь без сил в это болото... «Особую свою закончив жизнь, с природой вновь сольешься воедино и станешь братом ты бесчувственному камню и в прах вернешься...»

Тут память отказала мне, и несколько секунд я неистово молотил москитов, облепивших мою голову. Лицо мое, казалось, вдвое увеличилось в размерах, кожа на вздувшихся губах туго натянулась. Яд от бесчисленных укусов всасывался в руки, и они онемели. Но я снова овладел собой и продолжал: «И в прах вернешься, чтоб парень деревенский тебя топтал ногами и землю ту, с которой ты смешался, взрывал сохой. Могучий дуб пронзит корнями то, что было оболочкою твоею. Но знай: ты не останешься один и там, где ждет тебя приют и вечный отдых...» Приют и вечный отдых! Чего бы я не дал, чтобы хоть на минутку присесть и отдохнуть! «И более прекрасного жилища никто найти не может...»

Я, конечно, только обманывал себя: боль по-прежнему сводила меня с ума. «Танатопсис» хоть и помогал, но всякий раз лишь на несколько секунд. Мне все труднее становилось припоминать слова — они ускользали из памяти, хотя я знал поэму наизусть. Шлепая по грязи, я упрямо шел вперед — совершенно вслепую, потому что было темно, — продолжая твердить знакомые строки: «А на земле, которую покинул тот, кто к веселью склонен, царит веселие, печаль, задумчивость и грусть, и каждый из живых к мечте стремится. Но час грядет, веселие угаснет, заботы вдруг безмерно потускнеют, и сущие в

живых покинут жизнь и в землю. — к тебе, к тебе тогда они сойдут и рядом лягут...» Цепеня, я продолжал бороться за жизнь и выкрикивал эти слова, обращаясь к москитам.

Остальные события этой ночи сохранились в моей памяти как дурной сон. Сам не свой от усталости, обезумевший от укусов, едва держась на ногах, я, хромя и спотыкаясь, выбрался наконец к побережью. Было уже около двух часов ночи. На берегу дул пассат, он принес мне облегчение и разогнал тучу вившихся вокруг меня москитов. Смутно вспоминаю, как я свалился на песок у подножия большой скалы и впал в беспамятство. Быть может, я еще бормотал строки «Танатопсиса» — я этого не помню...

Проснувшись утром, я заставил себя раздеться и искупаться в море, а одежду, пропитанную болотным илом, разложил сушиться на солнце. Лицо мое представляло сплошную опухоль, все тело покрывали волдыри от укусов. У меня был жар, я весь горел. Сначала я решил, что у меня малярия, затем понял, что это миллионы моих кровяных телец борются с ядами. На меня нашла сонливость, и несколько часов подряд я лежал в полудреме. Затем поднялся, съел банку мясных консервов и оделся. Меня мучила жажда, и я выпил много воды. К вечеру ее осталось не больше пинты. Перед закатом я взвалил на себя мешки и перебрался в более удобное место, к каменному уступу над самой водой, куда даже при полном безветрии не могли прилететь москиты.

Я проспал большую часть ночи на своем жестком ложе, а проснувшись за несколько часов до рассвета, убедился, что лихорадка меня уже не трясет и волдыри от укусов окончательно рассосались. Я чувствовал себя отдохнувшим, силы вернулись ко мне. Правда, тело ныло от долгого лежания на голом камне, но стоит только размяться — и все пройдет... Самым удивительным было то, что у меня появилась необыкновенная ясность в мыслях, какой я не знал со времени нашего кораблекрушения. Воздержание в пище за последние дни, мучения прошлой ночи, проведенной в болоте, и усталость после тяжелых переходов в страшную жару — все это, вместе взятое, очевидно, обострило мою нервную чувствительность. Этот и еще несколько подобных случаев убедили меня, что старинный религиозный обычай подвергать себя периодическим постам и лишениям имеет разумное физиологическое обоснование. Мозг, обычно функционирующий в ровном и замедленном темпе, начинает цепенеть и, чтобы вернуться к полной активности, нуждается в основательной физиологической встряске. Многие из блестящих прозрений пророков древности появились как раз после периодов физических лишений и дней поста. Это отнюдь не неуклюжая выдумка, и некий весьма известный назарянин, проведя сорок дней в пустыне, подписался под этой теорией.

Меня, конечно, не осенили никакие блестящие прозрения, но, лежа под звездами в те предутренние часы, я почувствовал себя необыкновенно восприимчивым к силам, что окружали меня со всех сторон. Луна еще стояла высоко в небе и заливала землю холодным голубым светом. Внизу, у самого горизонта, беспорядочной россыпью огней горели Плеяды. Из темной бездны бесконечного пространства немигающим глазом глядел на землю Юпитер. На севере тускло светила Полярная звезда, полускрытая легкой дымкой морского тумана. Вокруг нее вращались огромные галактики миллионов других систем. Сумеречный океан широко уходил в ночную тьму, скорее угадываемый, чем определяемый по лунным отсветам на его поверхности. Океан казался огромным спящим чудовищем, и его ритмическое дыхание походило на раскаты отдаленного грома. Волны, бившиеся о барьерный риф, невидимые во тьме, выдавали свое присутствие гортанными рыданиями и приглушенными стонами, вначале тяжелыми, но постепенно таявшими и кончавшимися еле слышным вздохом. Вся земля как будто разделилась на две огромные великие силы — одна плотная и устойчивая, другая жидкая и текучая. Но, перекрывая эти две, слышался голос третьей, казалось бы, всепоглощающей стихии. Третья сила возникала как бы из пустоты мирового пространства, напирала с воем, и этот вой преобладал над всеми остальными звуками. В нем не было последовательных подъемов и спадов, как в шуме прибоя; он постоянно держался на одной и той же высокой ноте, напоминая плач органа, непрестанно нарастающий, повторяющийся, непрекращающийся.

Это был вой пассата, непрерывным потоком пронсящегося над землей. Никогда еще я не ощущал его с такой остротой. Весь небосвод как будто ожил и пришел в движение. Я лежал в укрытии, как бы в небольшом мешке неподвижного воздуха, и это только делало ощутимее ту могучую силу, которая играла вокруг. Земля омывалась огромной рекой газообразного вещества, невидимого, неосязаемого, но тем не менее представляющего собою реальную силу.

Внимательно вслушавшись, я смог выделить сотни компонентов, которые и составляют в совокупности величественный шум ветра. Сюда входит бесчисленное множество легких и таинственных свистов, столь слабых, что многие из них, взятые отдельно, едва уловимы на слух. Между ними нет полного тождества: каждый обладает собственными гармоническими частотами, поскольку изменяется та сила, с которой воздух расщепляется на частицы, ударяясь об острые, как иглы, шпильки твердых горных пород или о губчатую поверхность подвергшихся длительному выветриванию кораллов.

В ближайшем родстве с этими нежными, словно извлеченными из флейты тонами находится слабое похлопывание, вначале совсем незаметное. Оно состоит из миллионов слабых взрывов. Это, так сказать, лилипутские звуковые частицы, нарастающим крещендо прорывающиеся сквозь мешанину других звуков.

Я долго вслушивался, стараясь подыскать этим звукам подходящее определение, и неожиданно вспомнил, где я уже слышал их: на золотом пшеничном поле перед сбором урожая в августе. Эти звуки напоминали о трении миллионов травинки, качающихся по ветру, о легком постукивании былинки о былинку, стебля о стебель, о склоняющихся и выпрямляющихся колосьях, о шелесте от их кивков и поклонов. Мне стоило только повернуть голову, чтобы тут же убедиться в верности своего наблюдения. В свете луны смутно виднелись островки травы, росшей на берегу. Она завивалась на ветру, то темнея, то светлея в зависимости от того, прижималась ли к земле или распрямлялась.

Затем мой слух уловил нежный и мелодический шепот, как будто спускавшийся с высоты. Раньше я ассоциировал этот звук с одной только вещью на земле... Закрыв глаза, я мысленно перенесся за тысячи километров. Тропическая растительность исчезла, я лежу в высоком сосновом бору. Ветер шепчет и вздыхает, забираясь под ветви сосен. Когда ветер усиливается, вздохи переходят в громкие стоны, затем снова сменяются чуть слышным пением. Это голос хвойных деревьев, которые ведут между собой разговор, поверяют друг другу секреты о прекрасной богатой земле, покрытой сухими коврами гладких коричневых игл, о высоких облаках и теплом дожде. Неожиданно шепот сосен сменился другим шелестом, сначала почти неуловимым — он не сразу доходит до слуха, но стоит выделить его из общего хора, и он становится все более ощутимым. Этот новый звук еще сильнее, чем шорох сосен, вызывает в памяти картины северной природы. Он сродни шелесту тяжелого старинного шелка — тут я подумал о дамах викторианской эпохи, одетых в многоцветные юбки и неторопливо двигающихся в старомодных гостиных. Но эта картина тотчас исчезла, и передо мной снова возникли сосны. Воздух вдруг похолодел, стал почти морозным. Между темными иглами медленно слетали на землю целые облака мельчайших белых снежинок. Шестиконечные кристаллические звезды плавно кружатся над полянами и легкой пеленой ложатся на ковер из мертвой хвои. Звук их падения на сухие иглы превращался в таинственный шорох, пробегающий между рядами деревьев.

Я снова открыл глаза. Это пассат, пригоняющий к берегу волны прибоя, пересыпает прибрежный песок, перекачивает по берегу бесчисленное множество песчинок, сталкивает их друг с другом, собирает в кучи и снова рассеивает. Не снежинки вызвали услышанный мною шорох, а движение песка; этот шорох состоит из миллионов бесконечно малых звуков, собранных воедино, из скрежета известковых частиц и песчинок, трущихся друг о друга. Ветер гонит песок, раздирает остров на части, создает его заново, пробегает по склонам дюн, гравирова тонкие рисунки на твердых горных породах...

Передо мною простиралось небо, освещенное луной, а на его фоне причудливые темные силуэты сотен покрытых шипами деревьев. Это оттуда шли звуки, напомнившие мне

шелест сосен. Протягивая к небу умоляющие руки, деревья достигли определенной высоты, а потом разом, словно старики, потеряли стройность и равномерно изогнулись в западном направлении, как будто указывая, куда стремится поток жизни. Напрасно пытались ветви сопротивляться течению воздуха. Деревья тянулись ввысь, как им и полагается, но лишь до того момента, пока их вершины не высовывались из полосы затишья. Тут они начинали чувствовать, как упорно давит на них непрерывно текущая воздушная река, и, подчиняясь силе, изгибались, идя по линии наименьшего сопротивления.

Шелестящие звуки, тоном несколько выше, чем шорох, издаваемый деревьями, привлекли мое внимание к побелевшему стволу почти мертвого бакаута. Его суковатый ствол много лет подряд сопротивлялся напору воздуха, но возраст и безостановочная борьба сделали свое дело. Листья один за другим съжились, высохли и осыпались; кора побелела, и даже твердая, как железо, древесина поддалась распаду и сейчас чуть светилась в лунном сиянии. Одна за другой обнажились ветви и торчали во все стороны, голые и безжизненные. Лишь на одном сучке, обращенном на запад, сохранился небольшой пучок зелени. Жизнь буквально вытекла из этого дерева: ветер последовательно и систематически выдавил ее из каждой ветки, из каждой клеточки.

Я покинул свое убежище и вышел на площадку, открытую ветру. Сила его поразила меня. Пока я спал, пассат крепчал и сейчас дул почти со штормовой силой. Он немилосердно трепал мои широкие штаны и рубаху; здесь было прохладно, я зябко поежился. Спустившись к самой воде, я остановился и прислушался: и тут воздух был полон звуков — влажными всплесками волн, набегавших друг на друга, пением соленых брызг. Но все эти звуки доносились издалека, и я вспомнил, что нахожусь на подветренной стороне острова; чтобы узнать подлинную силу ветра, надо выбраться за мыс Полакка Пойнт, находящийся в нескольких милях отсюда. Вернувшись к месту ночевки, я сложил в мешки свои пожитки, съел еще одну банку говядины и пустился в путь, намереваясь до наступления жары пройти несколько миль.

С этого предрассветного часа ветер превратился в моего личного врага, назойливого и злобного, не дающего ни минуты передышки. Ночью, когда я спал, прикорнув где-нибудь под прикрытием скал, он охлаждал мое тело, а днем обдавал меня волнами раскаленного воздуха, обжигая щеки и лоб, — и все пел, завывал, заливался свистом... От солнца я еще мог укрыться под деревьями или в тени скал. Но от ветра не было никакого спасения, и он отчаянно мне надоел. Стоило поставить на землю мешки, как их засыпало сухим мелким песком; песчинки попадали в пищу, скрипели на зубах; одежда непрерывно трепалась и хлопала на ветру. Все это несказанно бесило меня. Пассат не ослабевал ни на час — какой там час! — ни на минуту. Оказывается, проживая в своей хижине в Метьютауне, я получил лишь весьма приблизительное представление о том, что такое пассат: он свистел в кронах карликовых пальм, шуршал травами на прогалинах, но совершенно не ощущался в моем уютном домике. Я мог есть, пить и спать без всяких помех. Ложбина, где я жил, находилась как бы в полувакууме — положение на подветренной стороне острова избавляло ее от пассатов; сюда достигали только отдельные порывы ветра.

Инагуа расположен прямо на пути пассатов. Порой эти ветры дуют без передышки в течение нескольких недель. Иногда они стихают до легкого ласкающего ветерка, но чаще всего бушуют, как настоящий шторм. Обычно пассат дует с переменной силой — в течение нескольких дней набирает скорость, держится некоторое время на одном уровне, а затем идет на убыль. Когда я отправлялся в обход острова, ветер только набирал силу.

Перед рассветом я вышел из подветренной полосы. От мыса Полакка Пойнт берег поворачивает к югу, образуя широкую, извилистую бухту, известную под названием Байт. Где-то недалеко от этой бухты находится мифическая местность, известная под названием Вавилон, как я слышал, совершенно непроходимая. Мне было очень любопытно поглядеть, что это такое.

Я еще издали увидел Полакка Пойнт: с наветренной стороны над берегом висело белое облако водяной пыли. В этом месте нет рифа, который бы защитил берег от натиска

огромных набегающих валов. Глубина океана сразу у берега доходит до пятидесяти-шестидесяти футов. Водные массы ударяются об отвесную каменную стену, не встречая на своем пути никаких препятствий, которые могли бы замедлить их бег. Ослепительно белая пена фонтанами взлетает ввысь и тут же подхватывается ветром. Грохот волн разносится на много миль вокруг.

Когда я приблизился, меня обдало водяной пылью и одежда моя промокла. Это случилось, несмотря на то, что я держался подальше от берега, прокладывая себе дорогу среди густых зарослей; ветер разносил влагу на многие ярды в глубь острова. Местность здесь низкая — она возвышается над уровнем моря не больше чем на семь-восемь футов, и волны, казалось, готовы затопить ее в любой момент. Нечто подобное, очевидно, и произошло однажды: ураган обрушился на эту часть береговой полосы, и хотя время сгладило следы бывшего неистовства стихий — их можно обнаружить повсюду. Берег там скалистый, крутым уступом обрывающийся в воду; на уступе, образуя настоящий крепостной вал, громоздятся одна на другую чудовищные глыбы, выломанные бурей из прибрежных скал. Среди валунов попадаются огромные, толщиной в ярд, куски мадрепоровых кораллов, которые могли попасть сюда только со дна океана. Я находил отдельные полусасыпанные песком обломки таких кораллов в доброй сотне ярдов от береговой линии. Если спуститься на сотню футов вниз — на дно океана, можно было бы обнаружить живые организмы, которым некогда принадлежали эти омертвевшие обломки. Трудно даже представить себе волну, способную забросить такую глыбу на подобное расстояние! Должно быть, ветер в тот роковой день несся со скоростью ста пятидесяти миль в час, а вода затопила сушу на несколько миль в окружности. Волны, атаковавшие береговые утесы, грохотали, как дюжина пушек, и, разбиваясь, взлетали на сотню футов вверх, а затем, подхваченные воющим ветром, обрушивались на землю сотнями тонн воды. Движущиеся водяные горы взбаламутили океан до самого дна, рыскали на глубинах и срывали с места «деревья»; подкидывали обломки кораллов ввысь, а затем несли их на отдаленные лужайки, где бушевал поток.

Стена из принесенных морем камней несколько защищала меня от ветра. Вскоре заросли кончились, и передо мной открылась тянущаяся параллельно берегу длинная узкая долина, покрытая толстым слоем белого сыпучего песка. Ее поверхность была испещрена сотнями удлиненных овальных впадин, почти одинакового размера. От них к полосе растительности, перекрещиваясь, тянулось множество борозд. Долгое время я не мог понять, что это такое: песок был слишком сыпуч и следы не отличались особенной ясностью. Но загадка разрешилась, когда, обогнув купу кустов, я наткнулся на логово, полное крошечных поросят. Я чуть не наступил на них, и они, сталкиваясь друг с другом, с визгом бросились наутек. Бросив мешки, я кинулся вслед за ними; мне хотелось заполучить хоть одного на ужин, но угнаться за быстроногой тварью не было никакой возможности. Я остановился, чтобы зарядить ружье, но тут появилась matka, и поросята ринулись к ней, ища защиты. Вид у нее был рассерженный и довольно суровый; нагнув голову, она угрожающе пошла на меня. Вздумай она напасть, малокалиберная пуля едва ли остановила бы ее. Я счел за благо не связываться с разъяренной самкой и осторожно отступил. Все семейство тотчас повернулось и убежало в кусты.

Следующие милью или две я шел не торопясь, в надежде снова набрести на поросят. Я был так поглощен поисками следов, что смотрел только себе под ноги и потому не заметил, как очутился невдалеке от остова большой шхуны, который высоко вздымался над берегом. Опознать его ничего не стоило: четырехмачтовое судно, о котором нам рассказывал Ричардсон во время обеда в первый день нашего пребывания в Метьютауне. Когда-то это был великолепный парусник. На нем еще сохранились две мачты, и остатки такелажа валялись кучами по палубе и свисали с боков корпуса. Шхуна под прямым углом налетела на отвесную каменную стену, и носовая часть от удара так поднялась над водой, что бушприт почти перпендикулярно встал к небу вместе со спутанными снастями. В корпусе зияли десятки пробоин, и вода, пенясь, втекала и вытекала через них.

Я попытался взобраться на палубу, но из этого ничего не вышло: бока шхуны оказались слишком крутыми, а несколько канатов, свисавших с поручней, до того перегнулись, что лопнули, как только я за них уцепился. На много метров вокруг были разбросаны бимсы и доски. Деревянные части выцвели от солнца и соленой воды, приобретя серебристо-белый оттенок. Есть что-то невыразимо печальное в зрелище прекрасного корабля, потерпевшего крушение.

Остов шхуны напомнил мне о цели моего собственного путешествия, о том, что мне еще надо идти и идти. Солнце снова стало припекать, ветер в долине задувал вовсю. Фляга с пресной водой уже почти опустела, а мне еще предстояло пересечь таинственную долину Вавилон. Нигде вокруг я не мог обнаружить ничего, хотя бы отдаленно напоминающего впадину с пресной водой. За песчаной долиной, по которой я шел, начинались нескончаемые известняки, которые тянулись к центру острова. «Где-то в глубине его должна быть вода, — подумал я. — Иначе здесь не водились бы свиньи».

Перспектива пить вместе со свиньями из одного корыта не очень-то улыбалась мне, но на худой конец воду можно было вскипятить. Запрятав свою поклажу в расщелину между камнями, я отправился на поиски воды, захватив с собой только флягу, ружье и горсточку мелкой дробы на случай, если попадутся интересные ящерицы.

Полоса растительности оказалась почти непроходимой. Ящериц было мало, птиц еще меньше, зато здесь были большие рощи кактусов, целые акры серого известняка, каменные плиты, отличавшиеся еще большей музыкальностью, чем те, на которые я наткнулся в начале пути, и неисчислимое количество острых, как иглы, колючек. Во все стороны разбегались борозды протоптанных свиньями тропок. Я ползком обследовал несколько из них, выбрав наиболее проторенные, но они не вывели меня к воде. Растения устраивались здесь в расщелинах и впадинах в камне.

Я выгреб грязь из десятка впадин, но почва в них оказалась совершенно сухой по всей глубине: дождь не шел уже несколько месяцев. Все же мне удалось обнаружить одну ямку с несколькими каплями воды на самом дне, но она была слишком узка для моей руки, и извлечь воду оказалось невозможным. К тому же и эта вода, вероятно, была соленой.

Потратив напрасно час, я прекратил поиски и вернулся на берег к своим пожиткам. Я мог еще некоторое время обойтись без воды, во всяком случае до тех пор, пока не доберусь до хижин на берегу лагуны. Тем временем, возможно, изменится и характер местности. Признаков этого пока не было видно, но такая возможность не исключалась.

Заросли колючего кустарника становились все гуще. Сплетения сухих колючих веток окаймляли песчаную долину на всем ее протяжении, так что путь в сторону от нее был начисто отрезан. Между тем гряда утесов, проходившая на некотором расстоянии от берега, становилась все круче и наконец превратилась в сводчатую, вогнутую стену, которая тянулась вдаль на целые мили.

Своеобразное строение этой гряды возбудило мое любопытство. С одной стороны, она мне что-то смутно напомнила, с другой — она чем-то отличалась от всех гряд, которые мне случалось видеть. Я долго напрягал свою память, пока меня не осенило: эта стена — точная копия того берегового утеса, что возвышался над моим плавательным бассейном в Метьютауне. Удивительное ее строение объяснялось длительным действием прибоя, выдолбившего каменную породу; все признаки этого были налицо. А камень оказался тверд как кремь.

Дальнейшее подтверждение правильности моей догадки дала сама каменная стена. Остатки представителей морской фауны зацементировались в скалистую породу у самой подошвы гряды; они подверглись затвердеванию в результате химических процессов, вызванных распадом извести. Я обнаружил там обломки раковин улиток букцидум, выцветших до белизны мела: осколки раковин другого брюхоногого моллюска; куски старого коралла, выбеленные солнцем; осколки изогнутых бронированных плиток хитона; фрагменты мидий; остатки морских ежей и полустертые спиральные раковины различных брюхоногих моллюсков.

Итак, это действительно древняя прибрежная скала, у которой некогда бушевал и пенился прибой. Я взглянул на нынешнюю береговую полосу — она проходила на четырнадцать футов ниже и приблизительно на четыреста футов дальше прежней. В какую-то эпоху, с геологической точки зрения не очень отдаленную, остров Инагуа футов на двенадцать глубже уходил в воду. Часть того, что сейчас является сушей, представляло тогда мелководную лагуну, по которой гуляли волны. Принято считать, что Багамские острова находятся в стадии геологического затопления — они медленно погружаются в океан, из которого некогда поднялись. Однако есть много доказательств частичного подъема суши. Мать-земля иногда глубоко вздыхает; внезапный толчок, вероятно, когда-то приподнял засыпанную песком гранитную платформу, на которой стоит Инагуа. Старый берег очутился на высоте, недостижимой для океанских волн, а из гряды утесов, еще недавно находившихся под водой, образовалась новая прибрежная полоса.

Геологическая история Багамских островов весьма сложна. За многие столетия они отделились от суши океанскими безднами, то поднимаясь, то опускаясь в глубины. Отдельные острова и даже целые архипелаги появлялись и исчезали, соединялись и разъединялись. Волны строили и снова растаскивали их на части, рассеивая песок по дну океана. Никогда, ни в один геологический период, даже в эпоху оледенения, когда уровень морей понизился на триста или четыреста футов, Багамские острова не соединялись и не имели связи ни с одним континентом. Большинство свидетельств этой борьбы океана с сушей уже уничтожено ветром и приливами, навсегда исчезло в океанских безднах. Но на каменной гряде, возвышавшейся среди равнины, запечатлелась последняя страница этой истории. Инагуа — сравнительно молодой остров; скудная почва большой внутренней равнины, покрытой лишь тонким слоем разложившихся раковин моллюска церитеума и травой, дает добавочное подтверждение тому, о чем свидетельствует каменная гряда. Так что когда я, фигурально выражаясь, отнес появление травы на острове к третьему дню творения, я был ближе к истине, чем сам об этом подозревал.

Каменная гряда внезапно оборвалась, уступив место первым утесам местности, называющейся Вавилон. Я добрался туда перед закатом. Трудно себе вообразить более мрачный ландшафт. Если б я не знал, что Багамские острова относятся по своей структуре к осадочным, я бы подумал, что нахожусь в зоне действующего вулкана, который только что прекратил извергаться, залив землю потоками расплавленной лавы и шлака. Багровые лучи заходящего солнца отбрасывали какой-то огневой отсвет на дикий круговорот громоздящихся друг на друга скал, на хребты с острыми, как бритва, гранями, похожие на массу застывшего вулканического шлака, испещренную темно-коричневыми кавернами. В полусвете пейзаж казался таинственным, неземным, почти марсианским. Вавилон — это огромная губчатая структура протяжением в несколько акров, но все ткани этой чудовищной губки состоят из острых игольчатых пиков твердых кремнистых пород. Это гигантское нагромождение ноздреватых, выветрившихся известняков. Стихии заострили вершины и грани, как сабельные клинки, выточив минерал в виде множества зубчатых, резных уступов.

Я решил закончить свой дневной переход в Вавилоне, забрался под сень вогнутой каменной стены и развел костер. Непосредственно за зоной, освещенной костром, стена древних прибрежных утесов под прямым углом сходилась с грядой других каменных пород, образуя защищенное от ветра убежище. Это было удивительно: долина и прибрежные утесы обрывались слишком резко, и невольно приходила в голову мысль, что они тянутся дальше, заваленные огромной, в восемьдесят футов высотой, грудой выветрившегося известняка.

Ветер в ту ночь завывал громче, чем когда-либо. Костер мерцал и вспыхивал, отбрасывая на уступы причудливые тени. Из темноты доносились низкие органые звуки, совсем непохожие на шелест и свист прошлой ночи. Это воздух, проходя сквозь миллионы отверстий в ноздреватом камне, пел по-церковному, низко и гармонично, словно орган под сводами большого собора. Эти звуки очень беспокоили меня: слишком много в них погребального, жутко-тоскливого. Не слушать тоже было трудно — у меня не было другого занятия, кроме как следить за костром.

Я проснулся перед рассветом, уничтожил банку мясных консервов — они уже успели здорово мне надоесть — и при свете ущербной луны выбрался наверх со дна долины. Открывшийся мне мир выглядел фантастически. Залитые бледно-голубым светом зубчатые вершины казались очень острыми. Тени были как черные входы в туннели, идущие к центру земли. Долина блестящей узкой лентой вилась между темными прибрежными скалами и грядой древних береговых утесов. В восьмидесяти футах внизу виднелась бледно-голубая кипящая полоска — то были волны прибоя, разбивавшиеся о прибрежные скалы.

За несколько лет до этого в ослепительно белых песчаных карьерах в западной Виргинии я забрался на двести футов вверх по глинистому сланцу и хрупкому песчанику, чтобы достать почти целиком сохранившуюся окаменелую морскую лилию, которую я увидел издали в полевой бинокль. Завладев добычей, я несколько часов кряду проторчал на скалах, не решаясь спуститься вниз по камням, которые, казалось, каждую минуту грозили обвалом. В другой раз я полчаса ползал по крутым выступам остроконечной скалы над рекой Соскуиханна в Пенсильвании, куда меня занесло в поисках гнезд сокола сапсана. Осторожно перетаскивал я себя с камня на камень, обдирая кожу вместе с мясом на коленях и пальцах, прижимаясь к отвесной каменной стене и опускаясь в расщелины. За моей спиной произошел небольшой обвал, отрезав обратный путь, поэтому мне пришлось спускаться, перепрыгивая с уступа на уступ, причем некоторые из них едва достигали восьми-девяти дюймов в ширину. С большим трудом удалось мне спуститься с высоты в полтора фута до дна долины. Имея опыт этих двух восхождений, я полагал, что уже в некоторой мере освоил технику лазания по скалам. Но я тогда еще не подозревал, что такое скалы Вавилова.

Падение с большой высоты тут не грозило, но тем не менее стоило мне только оступиться и упасть — и я бы здорово покалечился. Отовсюду торчали вверх сотни тысяч каменных иголок и изогнутых, острых, как бритва, клинков. Ими были утыканы все трещины и дыры в камне. Из глубоких расщелин в породе высывались изогнутые крючья. Почва была настолько неровна, что буквально некуда было поставить ногу. На каждом шагу встречались глубокие ямы, утыканные изнутри острыми шипами и прикрытые сверху тонкими пластинками острого камня. Подошвы легких теннисных тапочек не защищали от уколов, и мне то и дело приходилось останавливаться, чтобы дать отдых ногам. О том, чтобы сесть, не могло быть и речи — разве только сбросить с плеч соломенные мешки и устроиться на них.

Взошедшее солнце осветило странный и дикий ландшафт. Длинный ряд великолепных утесов, то возвышаясь, то понижаясь, огибал бухту Байт и терялся вдали. В эту каменную стену, высоко взметая водяную пыль, била сверкающая синева океана. Вода была невероятно прозрачна — сквозь ее стофуттовую толщу я ясно видел дно, усеянное гигантскими валунами и камнями. Между ними сновали темные силуэты акул и ленивых, медлительных групперов.³² В одном месте я заметил над валуном, поросшим водорослями, стаю огромных ослепительно синих морских попугаев.³³ Их бока вспыхивали густым индиго, когда они поворачивались, хватая волокнистые водоросли. Милей дальше блестящий рубец в каменной породе указывал место небольшого обвала: кусок породы, оторвавшись от утеса, скатился в море. Зубчатые скалы переходили в гряды холмов и убежали в глубь острова.

Солнце уже высоко стояло над горизонтом, когда я добрался до места обвала, осторожно спустился и вскоре достиг середины разлома. Отсюда скатилась в море огромная глыба, подмытая волнами. Скальная порода под ней была белого цвета, с большим

³² Группер (*Epinephelus morio*) — крупная рыба из семейства морских окуней (*Serranidae*), длиной бывает до метра. Обитает у дна вблизи рифов и в морских заливах. Имеет промысловое значение

³³ Рыбы-попугаи, или морские попугаи, — ярко окрашенные рифовые рыбки из семейства скаровых (*Scaridae*).

Их кожа и некоторые внутренние органы нередко содержат яд, опасный для человека.

содержанием песка, несколько мягкая, но все же прочная и неподатливая на ощупь. Небольшой предмет, вмурованный в камень, привлек мое внимание, и я извлек его перочинным ножом, очистил от песчинок. Это была длинная, завитая спиралью раковина сухопутной улитки. Точно такие же улитки в огромных количествах водились в поросших травой местах и в других покрытых растительностью районах острова. Место, где я обнаружил окаменелость, находилось по крайней мере на тридцать футов ниже вершины прибрежного утеса.

Улитки эти не принадлежат к жителям океана. Всю свою жизнь они проводят на суше, вдали от соленых волн. Эта раковина могла попасть сюда только одним путем: несколько столетий назад она свалилась с какого-нибудь растения — с листа травы или эфедры — и ее немедленно занесло сыпучим песком, послужившим ей защитным покровом от всех стихий. Сыпучий песок! Вот чем объясняется столь непонятный переход древней гряды береговых утесов в массу твердых горных пород.

Сыпучий песок! Я снова нагнулся и осмотрел место разлома. Несколько ниже отпечатка улитки я обнаружил длинную коричневую полосу, выделяющуюся своим цветом на фоне остального камня. Не без волнения я стал разрывать породу вокруг; оказалось, что это отпечаток нижней части листа карликовой пальмы. Сам лист не сохранился, но отпечатался настолько ясно, что тут не могло быть никаких сомнений.

Сыпучие пески... Инагуа поистине страна ветров. Много сотен лет назад на этом месте находилось множество ослепительно сверкающих дюн, нанесенных океаном. Ветер подхватывал песчинку за песчинкой, громоздил их в кучи и укладывал в ряды, покрывая рябью поверхность песка и выводя на ней длинные волнистые линии, подобные тем, что остаются на берегу после отлива. Выше и выше громоздились груды песка, он погреб под собой гряду древних прибрежных скал и двинулся в глубь острова, пологого и ровного с подветренной стороны, крутого и отвесного с наветренной. На дюнах немедленно выростала трава, в траве заводились улитки. Они жили и умирали, десятками падая на зыбучий песок. А ветер продолжал свое дело, погребая травы и раковины под тоннами крохотных песчинок. Вскоре здесь выросли карликовые пальмы — и в свою очередь были погребены. Месяц за месяцем не переставая дул ветер. Днем и ночью дюны строились и перестраивались. А океанские волны доставляли все новые и новые партии песка. Перемолотые волнами скелеты морских животных, сыпучая пыль измельченных раковин, хрупкие домики микроскопических морских корненожек,³⁴ двуокись кремния, полученная из тканей губки, разбитые и стертые в порошок щиты больших крабов, куски кораллов — все это приносилось на берег штормовыми ветрами. Могильные насыпи из останков сотен миллионов живых существ образовали целые цепи желтых холмов в десятки футов высотой. Я растер между пальцами несколько частиц горной породы: все они оказались останками некогда живых существ. Эти холмы были настоящими могильниками.

Да, Инагуа действительно страна ветров. Каким-то чудом здесь сохранились свидетельства геологических изменений прошлых эпох. Дюны росли, достигли какой-то величины — и затем застыли. Застыли в буквальном смысле слова, хотя в этом не были повинны ни понижение температуры, ни снег, ни лед. Океан тоннами выбрасывает на берег останки морских животных; под действием дождя и ветра дюны, не успев далеко продвинуться, затвердевают в прочную каменную породу. Есть места, где вдоль открытого ветрам берега тянутся ряд за рядом гряды холмов, идущие одна за другой, как марширующие полки. Наружные цепи еще мягки и податливы, на них видны свежие отпечатки океана; самые отдаленные от берега тверды как кремень и испещрены бороздами и ямками — следами медленного растворения.

³⁴ Корненожки (Rhizopoda) — одноклеточные простейшие организмы: амёбы, фораминиферы. Многие из них имеют известковую микроскопическую раковинку. Залежи известняков, зеленого песчаника и мела состоят преимущественно из раковин древних корненожек, умерших миллионы лет назад.

Даже холмы имеют возраст — знают молодость и старость. Родиться, расти, достичь зрелости, прожить какое-то время, а затем снова стать прахом — таков удел всякой материи. Минералы и животные, живое и не живое — все на свете должно пройти через эти циклы. Такова природа вещей.

Глава IX ПЕРЕПЛЕТАЮЩИЕСЯ НИТИ ОСТРОВНОЙ ЖИЗНИ

Каждое явление природы порождено круговоротом веществ, переходом материи из одной формы в другую. Весна зарождается из осени, сегодняшние розы питаются остатками прошлогодних трав. Гармоническое пение крапивника за порогом вашего дома — это только претворение энергии вчера еще живых насекомых; их раздавленные и переваренные тела стали радостной песней птицы, взмахами ее крыльев и ее движением. Жизнь черпает силы в смерти. Сваленное дерево дает приют миллиардам жуков-короедов, которые не могли бы существовать без бурелома. Стрекот сверчков, назойливый крик козодоя, жужжание пчел, перелетающих с цветка на цветок, да и сами цветы существуют только потому, что прошлой ночью, на прошлой неделе или в прошлом году нечто, исчерпав срок своей полезности, упало на землю, и было проглочено, или растворилось в стихиях. Блестящие переливы меха, рыбьей чешуи или птичьего оперения, изящные движения живых существ, смелое порхание колибри, властная жажда перелета у птиц, медленное и величественное парение орлов и альбатросов, громкое цокание копыт, изгиб крапчатого плавника — все это стало возможным благодаря смерти каких-то живых существ или растений, либо благодаря изменению какого-то минерала, либо действию стихий.

Жизнь можно рассматривать как цепь или как сеть взаимосвязанных звеньев, похожую на кольчугу рыцарей. Впрочем, это сравнение не совсем удачно: ведь кольчуга делалась из одного металла — из бронзы, серебра или золота, в зависимости от общественного положения того, для кого она предназначалась, а переплетение звеньев органической жизни отличается пестротой и разнообразием. Это запутанная сеть, в которой одно звено ярко освещено светом дня, а по соседству с ним другое вобрало в себя весь мрак ночи. Жизнь здесь тесно переплетается со смертью, как перепутанные узоры на ткани.

Все имеет начало и конец. Звезда возникает как внезапная вспышка пламени, а умирая, становится холодной и тусклой. Птица начинает свой жизненный путь в виде яйца, а кончает его комком праха или кучкой грязных перьев. Крылатые семена, парящие весной над лугами, осенью превращаются в куски перепревшей ткани. Всякая эпоха начинается надеждами и ожиданиями — новый год вытесняет старый и в свою очередь освобождает место для следующего.

На Инагуа начало и конец всякого существования связаны с ветром. Чтобы достаточно полно учесть роль ветра в органической жизни острова, понадобился бы какой-нибудь гениальный статистик, объединенные усилия целого штата технических работников, километры статистических таблиц и упорные научные исследования. Но даже и в этом случае полной картины не получилось бы. Фактор ветра на Инагуа заметен и ощутим везде и всюду. Взять, например, пернатое царство. Какую роль играет в его жизни ветер? Даже укладываясь спать — и это заметит самый ненаблюдательный человек — птицы вынуждены считаться с ветром: они поворачиваются головой к востоку, навстречу ему. Цапли, фламинго, кулики, голуби, славки и ястребы спят кто примостившись на ветвях, кто устроившись на земле, в одиночку или большими стаями, но все они при этом поворачиваются к востоку. Я сам завел себе такую же привычку и изменял ей только в тех случаях, когда ночевал под прикрытием валунов, низко укладываясь на землю, чтобы укрыться от ветра. Даже ящерицы, ютящиеся в подземных норах, и те считаются с ветром — в ветреные дни они позже чем обычно выходят на поверхность. Я тщательно регистрировал время их появления и силу ветра; выяснилось, что в безветренные дни они показываются на

два часа раньше, чем во время шторма.

Не может не считаться с ветром и человек. Десять лет спустя после описываемого мною путешествия я снова попал на Инагуа, и мне пришлось наблюдать, как работники вновь открывшихся возле поселка соляных промыслов впадали в отчаяние, если ветер неожиданно стихал как раз тогда, когда ему надлежало дуть в полную силу. В безветрие замедлялось выпаривание рассола, следовательно, снижалась добыча соли, уменьшались заработки и спрос на рабочие руки, что в свою очередь было чревато недовольством и беспорядками. Одного солнечного жара еще недостаточно, чтобы вызвать усиленное испарение морской воды; не будь ветра, хозяйство острова оказалось бы подорванным.

Это — наиболее очевидные свидетельства огромной роли ветра в жизни острова. Но ведь и сам Инагуа создан ветром, возник из морского песка, нанесенного ветром. Не будет преувеличением сказать, что колибри потому и появились на Инагуа, что на американском континенте, в Колумбии и Венесуэле, огромные массы горячего воздуха поднимаются вверх, образуя над землей полувакуум, который стремятся заполнить пассаты; подобным же образом обстоит дело и с кактусами, на цветах которых колибри находят свой корм — насекомых; кактусы тоже растут на острове благодаря ветру.

Морская вода и облака — ветер и жаркое солнце — крохотные морские корненожки — коралловые полипы — зыбучие и голые дюны — тонкий покров растительности — цветы — насекомые, питающиеся цветочным нектаром, — колибри, поедающие насекомых, — такова цепь явлений природы, сложное переплетение жизни, переход неорганических веществ в органические, зарождение жизни из смерти — одна из нитей бытия, возникшего благодаря ветру.

В Вавилоне цикл жизни — от рождения до смерти — уже почти завершился. Жизнь возникла и ушла. Улитки, пальмы и колибри, травы и семена прожили свою короткую жизнь и превратились в прах. Ветер, построивший дюны, разрушал теперь твердую породу, унося каждый раз по крохотной частице, выдалбливая пустоты в местах помягче, пробивая отверстия, оставляя после себя острые углы и гребни. Тем временем море подступало все ближе и ближе, упорно вгрызаясь в береговые утесы, перемалывая их в песок, в мелкие белесые крупинки, которые уносились волнами. На сегодняшний день оно уже наполовину сделало свое дело, цепь холмов перегрызена пополам. Через несколько лет или столетий Вавилон, некогда порожденный океаном, снова вернется в материнское лоно.

Переход по скалам занял большую часть дня и стоил мне пары парусиновых тапочек. Они были в клочья изодраны острыми камнями, а подошвы как языком слизало. Я прошел всего лишь около шести или семи миль; чтобы продвинуться вперед на один шаг, тут приходилось делать два или три, все время то взбираясь на камни, то спускаясь вниз. Каждый шаг требовал внимания и усилий. Моя обувь еще годилась для песчаного пляжа или гладкого камня внутренних долин, но три часа ходьбы по острым, как бритва, скалам Вавилона бесповоротно погубили ее.

Современная жизнь лишила нас приспособляемости: мы слишком зависим от одежды и других плодов цивилизации. Без тапочек я оказался беспомощнее новорожденного кролика. Мы носим обувь, совершенно не думая и не заботясь о ней, разве что ежедневно чистим ее, да, еще, пожалуй, поворчим, когда новая пара, не разносившись, жмет. Или время от времени беспокоимся, достаточно ли модно и элегантно мы обуты. Об обуви, так же как о носовых платках, вилках, ножах и салфетках, мы вспоминаем, когда ее нет. Понадобилось всего лишь три часа, чтобы я, позабыв все проблемы эоловых отложений и экологических связей ящериц, всеми своими помыслами сосредоточился на обуви. Отсутствие обуви немедленно превратило ученого-натуралиста в хромающий автомат, думающий лишь о том, во что обути свои ноги. Внезапно возникшая потребность в прочных подошвах заслонила мне весь мир, вытеснила все посторонние мысли. Даже сухость в горле — признак возрастающей жажды — и опасность остаться с пустой флягой — все отступило на задний план в моем охваченном башмакоманией сознании.

Никогда больше я не стану смеяться над крестьянами Гаити, которые, достигнув такого

социального и финансового положения, когда они могут стать владельцами пары башмаков, водружают их на голову и шествуют босиком, обуваясь только перед входом в город. Башмаки для них слишком дороги, чтобы растаптывать их на пыльных деревенских дорогах. Обладание обувью — для них признак достатка. Только последние бедняки и дикари имеют несчастье — или назовем это здравым смыслом — ходить босиком.

Я присел посреди вавилонской пустыни и погрузился в размышления. Не пожертвовать ли марлей, предназначенной для ящериц? Я обмотал ею ноги, но тонкая ткань тотчас расплзлась по ниткам. С краев еще сохранились остатки резиновых подошв, и я побрел, вывернув ноги колесом. Выбрав более или менее пологий спуск, я сошел на берег, нашел там дощечку, перочинным ножом вырезал две стельки и сунул их в свои рваные тапочки. Ступни в такой обуви потеряли способность пружинить, и я неожиданно приобрел утиную походку.

Как бы вознаграждая меня за все страдания и, в частности, за волдыри на натертых ногах, скалы кончились так же внезапно, как и появились, перейдя в гладкую песчаную равнину с легким уклоном на север, тянущуюся до самого горизонта. Древняя береговая гряда больше не появлялась. Вероятно, она закончилась еще раньше, где-то под навалом скал Вавилона, ли свернула в сторону океана. Здесь берег окаймлялся не утесами, а стройным рядом кокосовых пальм, уходившим на мили вдаль. Увешанные орехами, они изящно склонялись к морю. С великой радостью я сорвал несколько штук и срезал верхушки. Мне так хотелось пить, а сок орехов был так прохладен и вкусен, что я высосал подряд три ореха. Более суток прошло с тех пор, как я пил в последний раз. Чтобы обеспечить себя питьем, я доверху наполнил флягу соком кокосовых орехов, хотя и предполагал, что он скоро прокиснет.

Поляна позади пальм кишела ящерицами. Я вмиг позабыл про болячки на своих ногах: таких ящериц я здесь еще не встречал! Подстрелив несколько штук, я внимательно их рассмотрел. Они, несомненно, принадлежали к роду *Ameiva*.³⁵ Это исключительно нервные существа, отличающиеся необыкновенной быстротой. Испугавшись, эти ящерицы так самозабвенно кидаются наутек, что не веришь собственным глазам. Ноги у них двигаются с такой скоростью, что сливаются в одно смутное пятно. Во время бегства они внезапно останавливаются и бегут в другом направлении, совершенно теряясь из виду, потому что глаз не успевают уследить за такой резкой переменой направления и продолжает искать их там, где их нет.

Меня очень заинтересовал этот вид. В бытность мою на Гаити я посвятил несколько месяцев изучению жизни их ближайших родственников — *Ameiva chrysolema*. Я обнаружил, что самки перед кладкой объединяются и кладут яйца в общую нору, причем для каждого выводка отводится отдельный уголок — чем не родильные дома пресмыкающихся! Другим ящерицам это совершенно не свойственно. Обычно они кладут яйца в одиночку, отдельно друг от друга.

Пойманная мной ящерица была окрашена не так, как другие *амейвы*, которых мне приходилось видеть до сих пор. На противоположной стороне Вавилона водится другая разновидность: *Ameiva maupardii*. Ее можно встретить повсюду на песчаных местах, вплоть до поселка. Новая ящерица отличалась от *maupardii* тем, что была равномерно окрашена в нежно-оливковый цвет, переходящий в светло-голубой на брюшке и по бокам. *Ameiva maupardii*, напротив, окрашена в интенсивный черный цвет, с двумя ярко-желтыми продольными полосами. Нижняя часть тела у нее ультрамариновая. Одним словом, это удивительно красивое существо. Однако анатомическое строение, насколько мне удалось установить, у них полностью совпадает, вплоть до последней чешуйки. Это выяснилось при лабораторном исследовании большого количества ящериц этого семейства. Вот почему новая ящерица не удостоилась выделения в особый вид, но признана подвидом.

³⁵ Ящерицы *амейвы* (*Ameiva*) обитают в Южной и Центральной Америке. Внешне и по образу жизни они похожи на наших лесных ящериц.

Однако больше чем классификация, меня заинтересовало то, что скалы Вавилона оказались демаркационной линией между зонами обитания двух подвидов, сходных решительно во всем, кроме окраски. Очевидно, и те и другие имели общих предков. В последующие недели я обследовал буквально каждую пядь земли на острове и выяснил, что эти родственные подвиды не живут вместе ни в одном районе, кроме небольшого участка протяженностью в несколько миль недалеко от Метьютауна. Там же я нашел несколько экземпляров, представляющих переходную между двумя подвидами форму — это как бы полу-*maunardii* и полу-*maunardii uniformis* — так был назван новый подвид.

Линия, проведенная от скал Вавилона до того места, где в последний раз встречается новая ящерица, делит Инагуа как раз пополам и идет под прямым углом к направлению движения ветра. *Maunardii* — ящерицы подветренной стороны, *uniformis* — жители наветренной части острова. Эта же линия указывает на распределение и характер растительности острова. На подветренной стороне растительность густая и переплетающаяся, заросли местами совершенно непроходимы. На наветренной стороне растительность редкая и стелется по земле, а местами и вовсе отсутствует.

Находка новой ящерицы вдохнула в меня силы, и я, не обращая внимания на все свои болячки, бодро двинулся дальше. Странный народ натуралисты! Каким пустякам они способны радоваться! До лагуны Кристоф оставалось еще не меньше четырех миль, но я так воспрянул духом, что решил обязательно заночевать у останков нашего суденышка.

К закату я добрался до группы коралловых домиков с крышами из пальмовых листьев. Там я набрал пресной воды из бочки, выставленной под водосточный желоб. Вода была темно-коричневая, почти кофейного цвета, кишела личинками moskitov и на вкус оказалась препротивной. Но все же лучше что-нибудь, чем ничего, и я наполнил флягу до краев.

В поселке было около тридцати домов, вернее, не домов, а лачуг, способных служить лишь защитой от ветра, — все с земляными полами и все покинутые. Они располагались группами у самого берега; группа хижин семейства Дэксонов находилась дальше всех от воды, я прошел мимо них, хромя, хотя уже давно заменил дощечки, служившие стельками, пальмовым волокном, вполне эластичным, но сильно натиравшим ноги. Как завершить путешествие по острову без обуви, для меня было неясно.

Я сделал привал, поел, вымыл ноги в яме, заливавшейся во время приливов морской водой. Я почувствовал усталость, настроение у меня испортилось. Радость по поводу находки новой ящерицы уже прошла, сказывалось напряжение перехода по скалам Вавилона и зыбкому песку. И тут снова, как это уже раз случилось со мною в болоте, куда я попал, гоняясь за колпицами, у меня мелькнула мысль: распространение ящериц — неужели это так важно, чтобы ради этого отдавать себя на съедение москитам, изнывать от жары, пить вонючую воду и довольствоваться одной банкой мясных консервов в день? Мне вспомнилось, как однажды, читая лекцию перед студентами, я между прочим заявил: если экспедиция правильно организована, участники гарантированы от всяких злоключений. Вот и сиди теперь босой, в пятидесяти милях от базы, без всякой пищи, с одной фляжкой воды шоколадного цвета! Я невесело усмехнулся...

Луна уже около часу висела в небе, когда я доковылял до лагуны Кристоф и взобрался на отвесную скалу перед «Василиском». Мой когда-то прекрасный парусник лежал на боку, зарывшись в песок, уже недосягаемый для волн. Луна мягким светом заливала его палубу, и на минуту мне показалось, что он почти не поврежден. У меня перехватило горло, я соскользнул с крутого откоса и тут только увидел, что сталось с парусником: в бортах зияли большие пробоины, палубный настил был во многих местах проломлен и доски свисали внутрь. Мачта была сломана у самого основания, бушприт висел под каким-то нелепым углом. В массивном дубовом борту зияла большая дыра, в которой торчал кусок ветвистого коралла. Сквозь развороченную палубу я залез внутрь и увидел хаос нагроможденных досок, кучи наваленного дерева. Где стол, книжные полки, койки? В полумраке я разглядел следы, оставленные топором вокруг тех мест, где когда-то находились бронзовые обкладки иллюминаторов и другие металлические детали.

Я выбрался наружу и вернулся с коробкой спичек. Собрав две кучи мелких щепок и планок, одну в углу разбитой каюты, другую в трюме, я поджег их. Вскоре стало так жарко, что мне пришлось отойти подальше. Я долго стоял на берегу, глядя, как огонь рвется к небесам. Высушенное солнцем дерево быстро разгорелось, и вся внутренность судна запылала ярким пламенем. Берег на несколько ярдов в окружности озарился багровыми отблесками. Крабы-призраки,³⁶ застигнутые пожаром, поспешно отступали и прятались в норы, отбрасывая длинные, колышущиеся тени.

С вершины откоса я наблюдал, как пламя уничтожает судно. По мере того как обугливались шипы, одна за другой отлетали доски и, разбрасывая каскады искр, дымясь, падали на песок. Палубный настил вспыхнул сразу и обрушился, обнажив каркас из шпангоутов и бимсов. Крепкий дуб горел, яростно треща и взрываясь. Пламя охватило форштевень и рубку и, раздуваемое ветром, с ревом перекинулось на массивную корму. Вскоре корма отвалилась и рухнула на берег. Затем сгорела и нижняя часть судна. Шпангоуты упали на песок и огненными дугами лежали в груде раскаленных углей, а затем смешались с ними. Огонь стихал, стал вишнево-красным, и вскоре на месте судна осталась лишь куча тускло тлеющих углей.

Пристроившись за небольшой дюной, я заснул. Погибнуть в пламени — более достойный конец, чем лежать развалиной на пустынном берегу и медленно гнить. Окончательное уничтожение судна положило конец всем моим сожалениям, и с этого вечера история с кораблекрушением стала достоянием прошлого.

Проснувшись утром, я почувствовал себя отдохнувшим — впервые за всю последнюю неделю. У меня разыгрался аппетит, и я стал придумывать, чего бы поесть. Мясные консервы кончились, и я об этом не жалел, хотя не имел ничего взамен. Как ни странно, уныния и чувства одиночества, которое мучило меня накануне, как не бывало. Кстати сказать, физическая усталость, накапливавшаяся во мне начиная с того дня, когда я забрался в болото в погоне за колпицами, и усиливавшаяся после каждой беспокойной ночи, проведенной мною на непривычно жестком каменном ложе, не защищенном от ветра, а также от палящей жары и скудного питания, достигла прошлым вечером своей высшей точки. Я проходил закалку, и она показалась мне несколько резковатой после комфорта моей коралловой, крытой пальмовыми листьями хижины.

Казалось бы, после всех лишений и невзгод, после долгого и трудного перехода к лагуне Кристоф я немедленно поверну домой. Но ничего подобного не случилось.

Во многих книгах Вест-Индские острова описываются как дикие джунгли, из которых исследователи возвращаются полусумасшедшими. В действительности там очень мало джунглей, и нет никакого оправдания для тех, кто, странствуя, попадает в затруднительное положение. Инагуа самый дикий и заброшенный из Вест-Индских островов, но единственная серьезная проблема для его исследователя — это вода. Пищи там сколько угодно, если только отбросить предрассудки и кормиться дикими утками, голубями и улитками, зажаренными без всякой приправы на костре из хвороста. На Инагуа есть даже травы, вполне заменяющие чай, освежающие и приятные на вкус.

Прежде всего следовало позаботиться об обуви. Выбросив бесполезный полотняный верх, натиривший мне ноги, я сделал мокасины из найденного в песке недалеко от груды пепла куска брезента, которым мы закрывали люк; это был крепкий, водонепроницаемый материал, но в то же время достаточно мягкий, чтобы не натереть ноги. После нескольких попыток мне удалось выкроить тапочки как раз по ноге, а пальмовые волокна заменили

³⁶ Крабы-призраки, или песчаные крабы (Ocypodidae), живут на побережьях тропических морей. Ведут по преимуществу ночной образ жизни, днем прячутся в норах. Название призраков получили благодаря малозаметной окраске и слишком заметной тени. Когда они бегут, то высоко поднимаются на длинных ногах. Ночью при луне видны только черные тени крабов, словно бесплотные призраки, бесшумно снующие взад и вперед по берегу.

завязки. Смастерив мокасины, я почувствовал невольную гордость: они вышли очень удобными — в такой обуви ходишь как босиком — приятнейшее ощущение! На всякий случай я сделал запасную пару и сунул ее в мешок вместе с образцами ящериц.

К завтраку я застрелил шесть голубей и пару куликов. Мясо голубей было сладковатым, хотя и жестким. Я начал есть их без соли, и они показались мне ужасно пресными; щепотка морской соли, осевшей на стенках впадины, заливавшейся во время прилива, спасла положение. Голуби несравненно вкуснее консервированной говядины, только очень малы, едва ли больше воробья. В болотных куликах я разочаровался: они отдавали рыбой, и по жесткости их можно сравнить разве что с сыромятным ремнем.

Во всяком случае, завтрак показал, что продовольственная проблема решена. Можно следовать дальше и спокойно изучать местность, не рискуя умереть голодной смертью. Насытившись, я отправился на берег, вымыл руки и искупался. Обсохнув на ветру и солнце, я натянул на себя грязную рубашку и драные брюки. Меня даже удивило, что после вчерашней депрессии я могу чувствовать себя таким свежим и бодрым. Предстоявшее многомилльное путешествие уже не вызывало во мне никакого ужаса.

Теперь у меня остался единственный мучитель — ветер. Когда я жарил голубей, он направлял клубы дыма в лицо, разносил пепел во все стороны, трепал волосы. Изодранная рубашка шумно хлопала по ветру, штаны тоже трепались и раздувались. Я пошел по берегу в том же направлении, какое взял в день кораблекрушения. Тогда, к счастью, ветра почти не было; если бы он тогда дул с такой силой, как сейчас, мы только чудом смогли бы остаться в живых. Прибой бил у береговых рифов с совершенно невероятной силой; ветру было где разгуляться на свободном пространстве океана.

Вскоре я достиг озера, на котором когда-то заметил фламинго, спустился с окаймляющей озеро дюны и прошел через мангровые заросли к берегу. Вокруг было совершенно пустынно, если не считать нескольких камышниц,³⁷ которые при моем появлении спрятались между корнями деревьев. На дальнем берегу зеленела полоска растительности — трава и пальмы росли на невысоком холме и в долине, находившейся за ним. Пальмы были низкорослые, высотой не более четырех футов. В других частях острова они достигают высоты двадцати и более футов. Здесь ветер парализовал их рост. В той же пропорции были уменьшены и все остальные растения: эфедра, которая повсюду на острове в человеческий рост, доходила лишь до колена. Эффект получался поразительный. У меня было такое ощущение, будто я смотрю на высокую гору, а не на дюну не более тридцати футов высотой.

Переходя вброд озеро по направлению к дюнам, которые мне хотелось обследовать, я сделал неожиданное открытие: мягкое илистое дно под ногами внезапно стало твердым и неровным. Нагнувшись, я порылся пальцами в меловой жиже и вытащил кусок коралла. Я продолжал шарить, разгребать в стороны липкую грязь и всюду натыкался на прекрасно сохранившиеся ветви коралла. Так вот где проходил старый риф! Чтобы проверить свое открытие, я дошел до центра озера и вернулся назад. Все верно: здесь некогда находился барьерный риф, и еще сравнительно недавно над ним грохотал прибой.

Вернувшись к ближайшей береговой дюне, я огляделся. Нынешний риф тянулся, изгибаясь, миля за милей и исчезал вдаль. За ним простиралась мелководная лагуна, затем шла цепь береговых дюн, озеро, а позади него — ряд низких зеленых холмов, волнистой линией уходивших в глубь острова. Инагуа рос с наветренной стороны. Кораллы выглядели роскошнее именно там, где бушевал прибой. Как раз туда тянулись снабженные щупальцами полипы — их влекло к бурлящим водам с их миллионами микроорганизмов, прочь от вязких

³⁷ Камышница, или водяная курочка (*Gallinula chloropus*), принадлежит к отряду пастушковых птиц, похожа на лысуху, но отличается от нее меньшими размерами и бляшкой (лысиной) на лбу, которая у лысухи белая, а у камышницы красная. Населяет водоемы, заросшие камышом и тростником, прекрасно плавает и ныряет. Питается насекомыми и улитками. Обитает и в нашей стране.

песков лагуны. В некоторых местах лагуну во время отлива можно было перейти вброд и выбраться к рифу. Вскоре опять повторится история погребенного в озере рифа. Пройдет немного времени — и впереди из чистой океанской воды поднимется новый риф. Старый будет оттеснен в глубь острова. Ветер примется за дело и нанесет груды песка, чтобы выстроить еще одну линию береговых дюн. Возможно, при этом возникнет новое озеро, а старое исчезнет.

Нынешнее озеро изобиловало раковинами моллюска церитеума, составляющего основной корм фламинго. Фламинго не могут существовать без него. Исчезнут церитеумы, погибнут и фламинго. Все их строение приспособилось для того, чтобы выискивать на илистом дне этих моллюсков. Интересно, откуда появились церитеумы в этом молодом озере? Как они попали туда? Конечно, не по земле — ведь ближайшее озеро находится в нескольких милях отсюда. И не из океана: эти моллюски не живут в морской воде. У загадки есть только одно решение: по воздуху. Птицы на своих лапах или в клювах принесли их из других озер.

Это показалось мне интересным. Сколько других организмов прибыло на Инагуа таким способом? Вернувшись домой после обхода острова, я в течение нескольких недель стрелял птиц, исследовал их клювы, лапы и желудок. С лап шестнадцати болотных куликов, прилетевших со стороны Маягуаны, я соскреб в тарелку со стерилизованной водой всю грязь — ее едва бы хватило, чтобы покрыть ноготь моего мизинца. В этой грязи я обнаружил одиннадцать семян, видимых невооруженным глазом, и два экземпляра великолепных, геометрически правильных микроскопических зеленых водорослей; они прибыли, очевидно, из водоема более пресного, чем горько-соленые озера Инагуа, в которых содержится столько химикалий, что в них не могут расти даже примитивные водоросли. Кроме семян я нашел несколько одноклеточных организмов вроде амебы — моих скудных познаний в протозоологии не хватило, чтобы определить их.

Я посадил все одиннадцать семян, но проросло только одно и тоже погибло, едва подав признаки жизни. Зато амебы прекрасно себя чувствовали в подходящем для них растворе, а водоросли просто процветали в стакане с пресной водой, взятой из бочонка.

Если учесть огромное количество куликов и других птиц, ежегодно пролетающих над Багамскими островами во время осеннего перелета из Северной Америки, и количество спор, семян, микроскопических водорослей и одноклеточных животных, которых они переносят на лапах, между ногтями, под чешуйками и на клювах, мы удивимся не тому, что на Инагуа так много животных и растений, а тому, что их так мало.

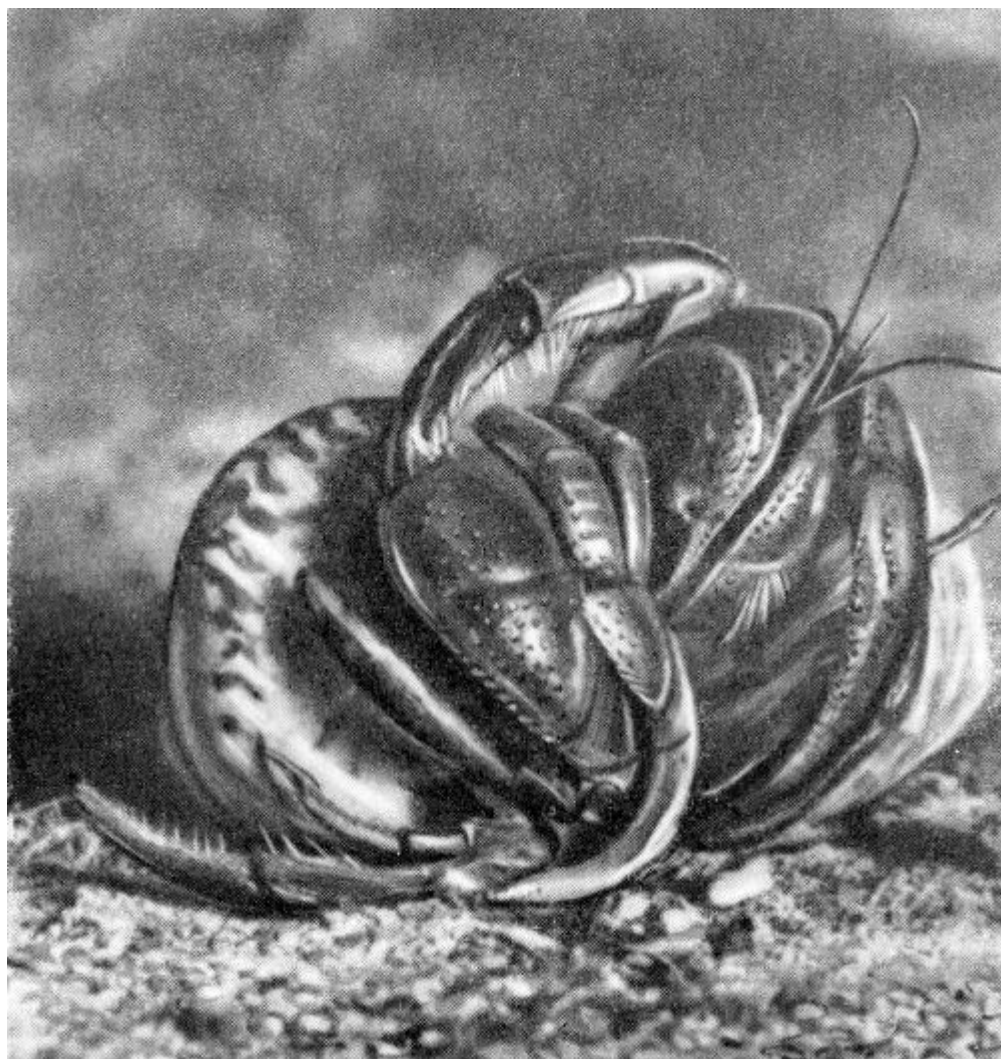
На мой взгляд, одиннадцать семян, две водоросли и амебы, перенесенные через водное пространство шестнадцатью птицами — это не так уж много. С тела одной маленькой зеленой цапли, лапы которой были испачканы в грязи, я снял семьдесят восемь семян, снабженных шелковистыми белыми волоконцами. Цапля прошлась своими лапами по растению, и семена налипли на них.

Сеть жизни на острове еще только начала плестись. Рядом с этим процессом идет и процесс расплетания. Смерть за жизнь. Кораллы и актинии жили, росли и размножались, чтобы уступить место церитеумам и фламинго. Вместе с кораллами исчезло множество рыб и ракообразных. Там, где шумел прибой, разгуливают камышницы и длинноклювые пастушки.³⁸ Мангровые рощи и трава, растущая на берегу, существуют благодаря тому, что погибли горгонии и морские перья. Ветер был связующей нитью, основой жизни, построенной на взаимозависимости и взаимосвязанности. Коралловые полипы питались

³⁸ Пастушок — родственная камышнице птица. В Америке обитает несколько видов пастушков, из них длинноносый пастушок, или пастушок-трескунок (*Rallus longirostris*), внешне похож на нашего пастушка (*Rallus aquaticus*), но отличается от него несколько большими размерами и желтоватой окраской горла и груди. Держится глазным образом по низменным приморским болотам и лугам, питается ракообразными, червями и моллюсками. Хорошо плавает и ныряет.

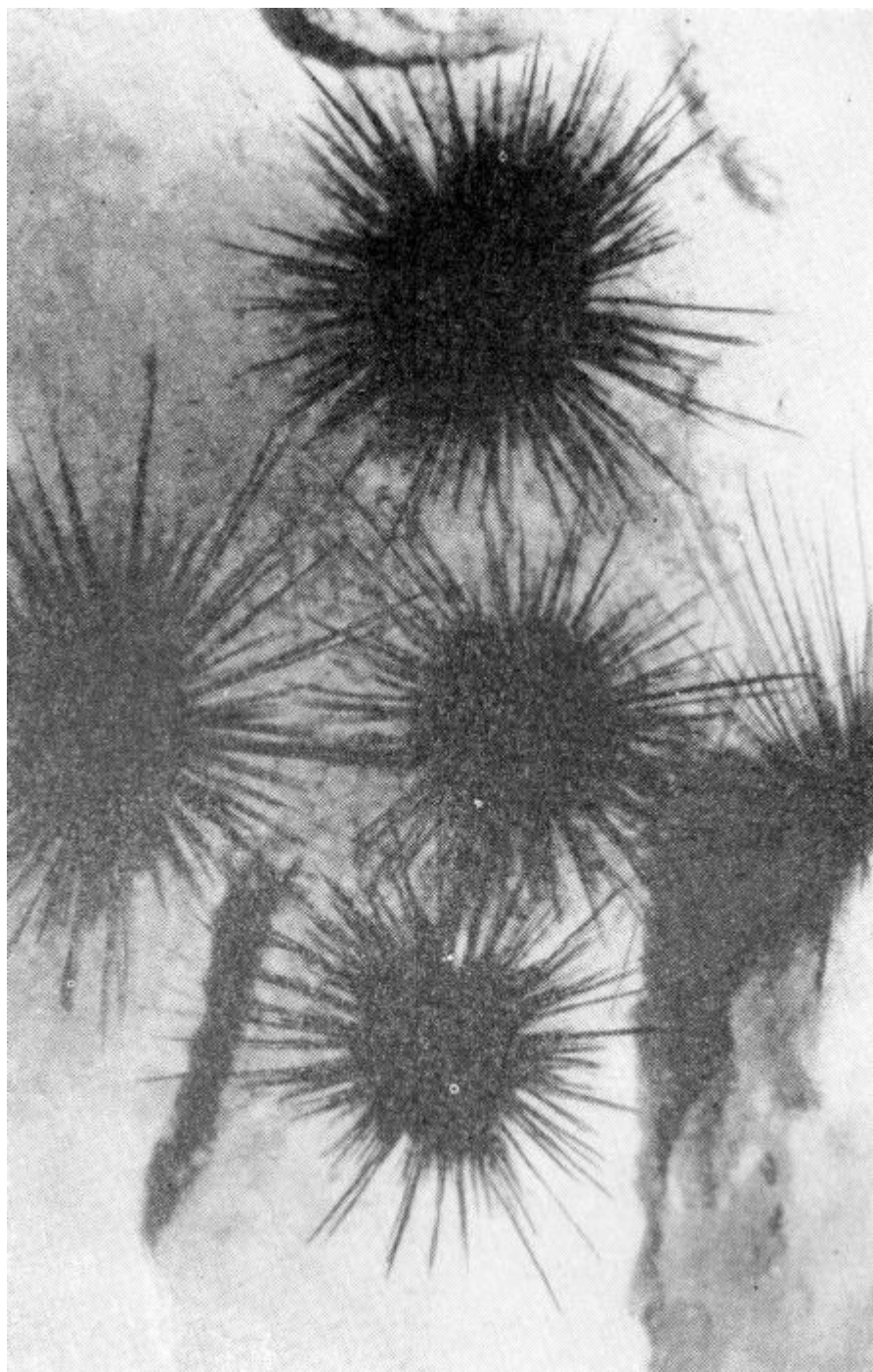
микроскопическими морскими организмами, приносимыми ветром по морю. Эти полипы построили застывшие каменные леса, неподвижные известковые деревья, странно безлиственные и, что еще более странно, протягивавшие свои голые ветви навстречу ветру, которого — и в этом заключается парадокс — они не ощущали. Это звучит необычно, но это так. Коралловые деревья тянут свои ветви в сторону сильного движения воды, навстречу набегающим с океана волнам, то есть навстречу пассату. Так полипы получают больше пищи. Прикрепленные к своим каменным домам, они не могут преследовать добычу — она должна быть доставлена им. Вот почему коралловые рифы всегда красивее и крупнее с наветренной стороны островов.

Каменные деревья рифов прикрывают лагуну. В лагунах скапливается сыпучий песок, на песке вырастает трава. В траве находят приют и пищу насекомые. Птицы кормятся насекомыми. Если б я не позавтракал голубями, я бы остался голодным. На голодный желудок я бы не стал размышлять обо всем этом круговороте явлений. Не пришлось бы тогда ни издателю, ни корректору читать эти страницы — я бы их не написал!

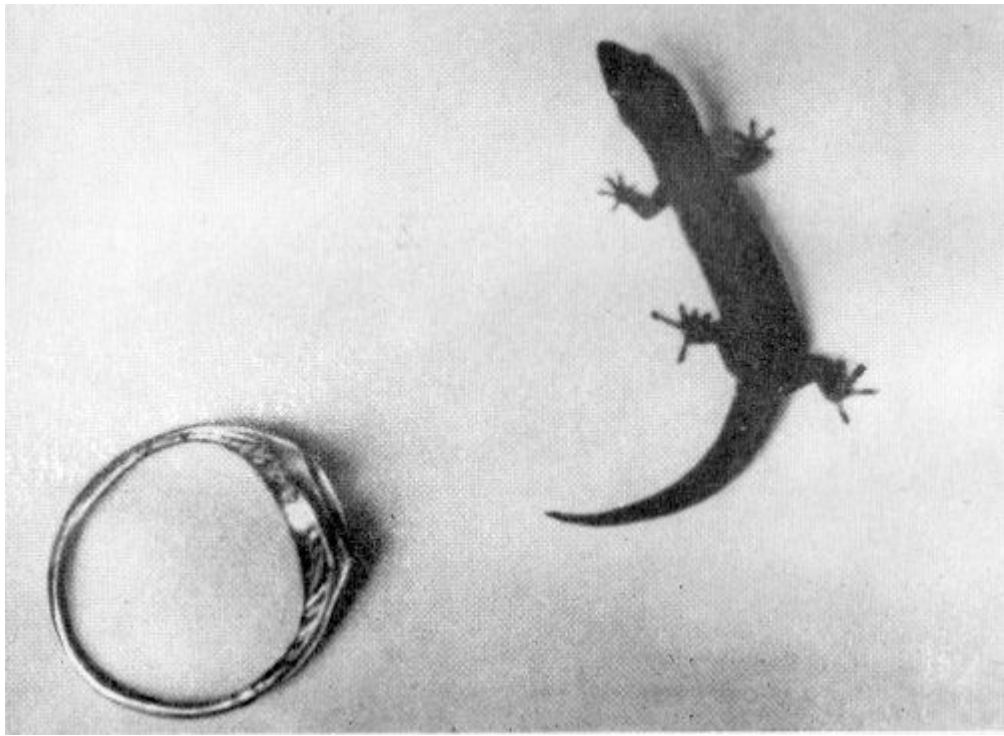


Ракам-отшельникам всегда кажется, что раковина его соседа больше и лучше

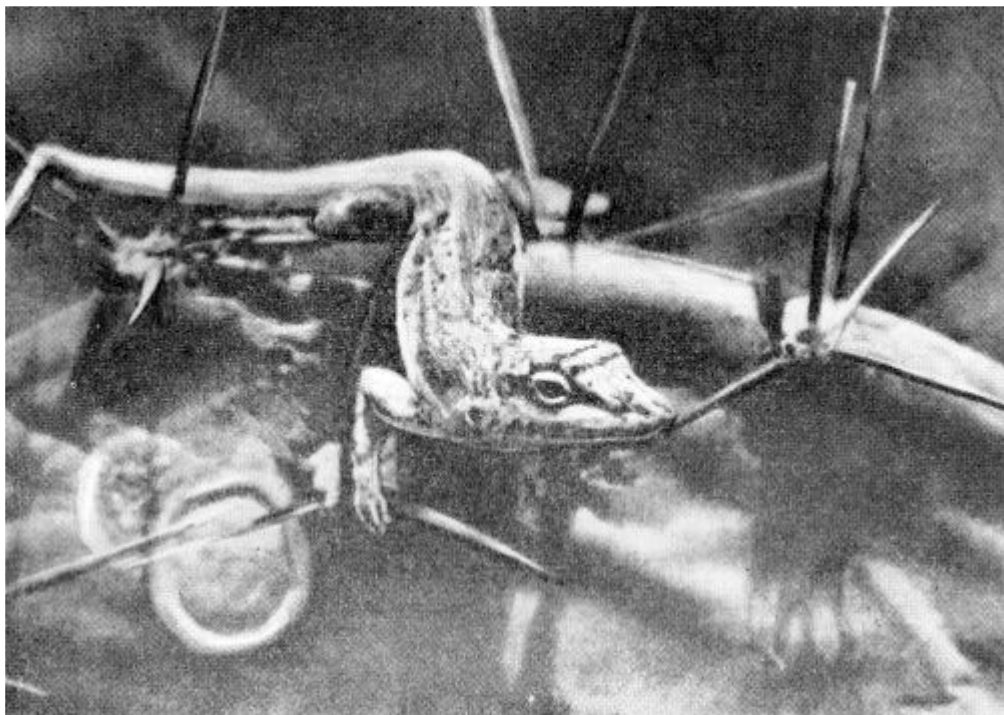




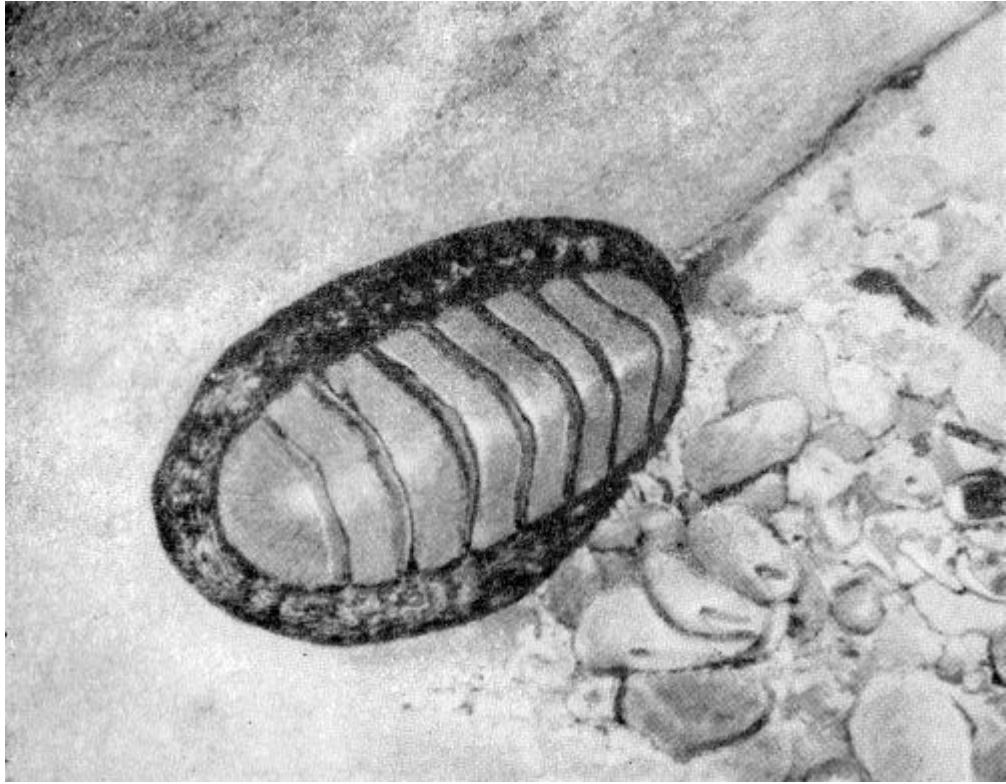
Морские ежи



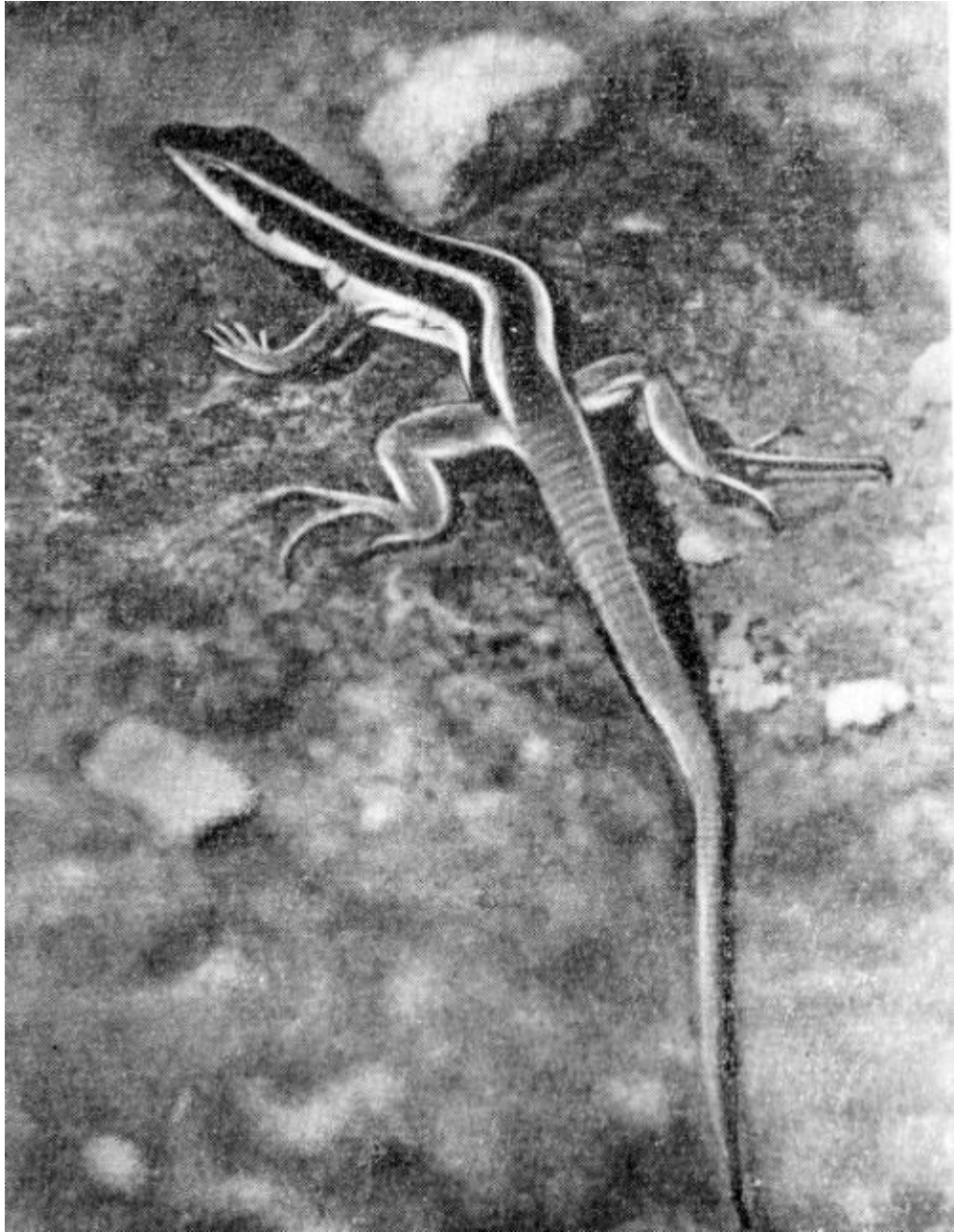
Круглопальный геккон - самая маленькая в мире ящерица



Анолис



Хитон



Ящерица *Ameiva maynardii*



Ножки морского желудя

Взаимосвязь между кораллами и фламинго не так фантастична, как может показаться на первый взгляд. Дарвин давным-давно доказал, что существует связь между кошками и клевером. Полевые мыши уничтожают соты и гнезда шмелей, а от них зависит оплодотворение красного клевера. Мыши ежегодно уничтожают в Англии около двух третей шмелей. Чаще чем где-либо гнезда шмелей встречаются поблизости от деревень и городов. Это происходит потому, что кошки уничтожают мышей. Не будь кошек, мыши развелись бы в огромном количестве, и стало бы еще меньше шмелей и клевера. Итак, клевер зависит от кошек. Чтобы продолжить этот пример, можно сказать, что, не будь старых дев, не было бы в Англии и клевера. Ведь исчезли старые девы, кошек стало бы куда меньше...

Концепция жизни как единой переплетенной сети обуславливает новый подход к биологическим проблемам. Изолированных явлений не существует. Природа — это огромная система переплетенных и разветвляющихся связей. Если потянуть за одну нить, сотни других задрожат или распустятся. Движение передается целому. Некоторые петли этой сети связаны только с поддержанием жизни, с доставкой средств к существованию; поимка одного существа означает, что другое обеспечено пищей, каждая гибель является в то же время щедрым даром. Другие части сети свидетельствуют о функциях жизни как таковой. Любой человек, у которого есть потомство, прибавляет новую клеточку в эту часть сети, ткущейся с самого начала времен. Отец и сын — это отдельные, следующие друг за другом молекулы в общем потоке жизни. Эволюция — это тоже ткань со сложным узором, рисунок которого определяется временем. В большом городе или на континенте отдельные нити жизни трудно различимы. Они вплетены в запутанную ткань и связаны такими сложными взаимоотношениями, что выделить и проследить их почти невозможно. Но это вполне осуществимо на тропическом острове среди океана и составляет одно из удовольствий островного существования. Жизнь здесь со всех сторон ограничена линией прибоя; все нити начинаются и обрываются в узких, замкнутых пределах — вот почему легко проследить их от начала до конца и уловить общий узор, в который они сплетаются.

Остров можно сравнить с тюрьмой. Это тюрьма без решеток и камер, а стенами ее

являются границы прибоа, сверкающего, как расплавленное серебро. Тюремщиком здесь служит случайность. Родиться на острове — значит быть пленником. Лишь немногим удается избежать этой участи. Каждому тут отведено его место. Ящерицы, забежавшие на открытую полянку, где стояла моя хижина, часто забирались на парапет скал, спускавшихся в океан, и останавливались там, словно чувствуя, что их мир кончился. Они никогда не осмеливались заходить за пределы предначертанных им границ. Даже колибри — а ведь они-то могли чувствовать себя свободными! — ограничивали свои полеты полосой растительности, хотя ничто их не задерживало. Я никогда не видел, чтобы хоть одна из птиц пересекла эту границу. А их ближайшие родственники, рубиновошейные колибри³⁹ без всяких колебаний пускаются в путь и пролетают пятьсот миль над бурными водами Мексиканского залива — не чудо ли это? Ведь представители того же семейства на Инагуа не смеют вылететь за пределы острова. Их покинула могучая тяга к миграции. Сфера их существования строго ограничена водой, омывающей остров.

Мне еще только предстояло узнать, как необычайно запутана сеть островной жизни, а все мои мысли были уже поглощены этим. Вечером, устроив привал под прикрытием дюны и приступив к скромному ужину — голуби и утка, застреленные днем и зажаренные на костре, — я погрузился в размышления и решил проследить какое-нибудь явление от его истоков до полного завершения.

Событие случилось раньше, чем я мог предугадать, и, конечно, его принес на своих крыльях ветер. Откуда-то из спутанного лабиринта низкорослых зарослей до меня донесся сильный и острый запах. Сладкий и назойливый, он чем-то напоминал аромат белой акации, душистого горошка и ландыша. Но я звал, что эти цветы здесь ни при чем, и это подстрекало мое любопытство.

Луна уже вошла и заливала голубоватым светом мягкий песок, вокруг ложились глубокие пурпурные тени. Я встал и потянул носом воздух, но запах исчез — его унес ветер. Единственный способ добраться до источника аромата — это ползком направиться на его зов, подобно собаке, выслеживающей зайца. Я заколебался: чистый идиотизм ползти по земле, залитой лунным светом. Это было смешно, но в конце концов почему бы не привести свой замысел в исполнение? Мне пришлось сползти по склону с дюны в песчаную долину. Двигаться по запаху было не легко — его забивало множество других: густой санный аромат береговых трав, сухой, горячий дух обожженной солнцем земли и затхлые испарения мертвых листьев и гниющего дерева. Сотни близких друг другу запахов, странные благоухания — я и не подозревал, что они существуют на свете, пока не сосредоточился на них. Передо мной открывался новый, неизведанный мир.

Мы совершенно пренебрегаем обонянием, своей способностью воспринимать запахи. Нам случается, любуясь вещами своих друзей, трогать их, щупать, восхвалять их красоту или оригинальность, но мы никогда не смеем понюхать их. Исключение делается только для духов и цветов, но даже в этих случаях мы скорее вдыхаем, чем замечаем запах. А это неправильно и глупо. Много ли найдется таких приятных ощущений, как чистый запах хорошо выдубленной кожи или благородный аромат старой библиотеки?

Из всех ощущений именно запах с наибольшей легкостью вызывает у нас ассоциации и воспоминания. Когда я чувствую запах дегтя, то, все равно, где бы я ни был, мне уже кажется, что я нахожусь на верфи и рядом деловито стучит скобель, звонко рыдает ленточная пила. Своеобразный, едкий запах йодоформа вызывает в моей памяти тревожный вечер в больнице, где лежала моя жена; я стоял в длинном, уходящем в перспективу коридоре, по которому непрерывно сновали врачи и сестры, поглощенные своими, казалось нескончаемыми, делами. А вот запах клена — и перед моими глазами возникают вафли с коричневой корочкой и чашка дымящегося чая, Ассафетида неразрывно связана со старомодной аптекой, куда я часто раньше заходил. Запах свежего сена действует на нас

³⁹ Рубиновошейный колибри — [7]

сильнее, нежели его вид. И, вероятно, нет более сильного и волнующего впечатления, чем ароматы влажной земли, выпущенные на волю только что пронесшейся грозой.

Запахи, которые изливались на меня из колючих зарослей, вызвали множество ассоциаций. Когда я раздавил лист какого-то растения, на меня пахло сассафрасом, и я невольно потрогал его: вдруг это действительно сассафрас? Хотя отлично знал, что ближайший куст сассафраса можно найти лишь за тысячу миль отсюда. Прямо в лицо мне кинулся спугнутый жук; я хлопнул рукой по щеке и раздавил его между пальцами. Они тотчас запахло мускусом. Отвратительный запах! Он не проходил, сколько я ни тер руку песком, и вызывал тошноту. Мускусный дух привлек других жуков того же вида. Они жужжали и кружились у меня над головой.

Мускус почти заглушил запах, на который я полз. Понадобилось немало усилий, чтобы проследить его до самого источника. Наконец я добрался до цели: это было небольшое деревцо в цвету — с каждой ветки свисало множество мелких соцветий. Они смутно белели и дрожали в лунном свете, а когда я тряхнул ветку, от дерева унеслось прочь целое облако тончайшей пыльцы. И тут без ветра не обошлось! Ведь опыление этого деревца зависит от перемещения воздуха.

С какой безумной расточительностью расходуются крупинки пыльцы. Буквально миллионы мелких, как пудра, пылинок погибают, чтобы считанные единицы попали на цветок и выполнили свое назначение. Я чиркнул спичкой и осветил цветок. Совсем крохотный, с резко расширенными и разветвленными рыльцами наподобие сливового. Это мудрая предусмотрительность природы: для летучей пыльцы, несущейся по ветру, увеличена поверхность посадки и прилипания.

Я присел на песок у куста. Видимо, вот он, конец нити. Я покорно следовал за ней, но она никуда меня не привела, да еще поставила перед загадкой: если оплодотворение этого деревца зависит от ветра, зачем ему понадобился такой сильный запах? Уж, конечно, не для того, чтобы привлекать насекомых. В противоположность опунциям и кактусам, оно нисколько не нуждается в насекомых. Так зачем же ему запах?

Пришлось признать, что я не могу ответить на этот вопрос, и, считая, что мне тут больше нечего делать, я повернулся и пошел к месту привала, но не прошел и трех шагов, как какой-то голос за моей спиной тихо повторил: «зачем?» Я прямо-таки подпрыгнул от изумления, повернулся в сторону звука и снова услышал: «зачем?»

На земле, под тем самым кустом, где я только что сидел, шевелилась маленькая черная тень. Она быстро, словно в необычайном возбуждении, поднималась и опускалась на месте и вдруг начала тихонько болтать. Я снова чиркнул спичкой, подождал, пока огонь разгорелся, и вытянул руку с горящей спичкой во всю длину. Пламя, мерцая, осветило маленькую земляную сову.⁴⁰ Прямо под ней зияло черное отверстие — вход в ее подземный дом, вырытый в мягкой земле между корнями деревца. Я успел, пока горела спичка, рассмотреть пристально устремленный на меня взгляд пары блестящих глаз. Я упал на землю и подполз поближе. Сова чуть отступила, но в бегство не пустилась. Такой крошечной совы я еще никогда не видал. Вся она была в крапивах и полосках бурого земляного цвета, постепенно переходящего в светлую умбру. Ушные хохолки у нее отсутствовали, а гладкое округлое оперение делало ее похожей на мягкий аккуратный шарик.

Меня рассмешили ужимки этой птицы: она ворковала и тараторила сама с собой, издавала целые вереницы забавных звуков, в которых жалобные ноты сменялись сердитыми, а затем нежными и умоляющими. Меня удивило, что она вела себя совсем как ручная и не

⁴⁰ Земляная сова (*Speotyto cunicularia*) обитает на юго-западе США, в Центральной и Южной Америке. Живет в кроличьих, сурковых и других норах, в них же устраивает и гнезда, выложив стенки норы сухой травой. Питается насекомыми и мелкими позвоночными, караулит добычу у входа в нору либо поблизости от нее, сидя на каком-нибудь кусте или камне. У земляной совы сравнительно длинные ноги, и она хорошо бегаёт, преследует жертву обычно бегом, летает мало.

подумала улететь, когда я протянул руку, а только запрыгала быстрее и отступила чуть-чуть в сторону. А когда я дотронулся до ее норки, она отчаянно заметалась. Внезапный порыв ветра погасил вторую спичку, и все потонуло во мраке. Пока мои глаза привыкали к темноте, сова успела скрыться. Я засунул руку на всю длину в норку, но нащупать птицу мне не удалось, хотя скорее всего она запряталась именно туда.

Вернувшись к месту ночлега, я вырыл углубление в песке, свернулся калачиком и крепко уснул. Перед рассветом холод разбудил меня. Вдали из темноты опять взывала сова. Замедленные модуляции ее жалобных, но на этот раз более спокойных причитаний разносились над дюнами. Как только стало достаточно светло, чтобы различать предметы, я отправился к ее норе. Сова находилась на том же месте. Заметив меня, она замолчала и застыла в неподвижности. С чувством сожаления я поднял ружье и выстрелил.

Ножом я вспорол брюхо, вынул желудок и положил его на лист карликовой пальмы. Он был полон, и, вытряхнув все, что в нем находилось, сюда же на лист, я обнаружил остатки почти переваренной маленькой ящерицы анолис, отдельные части тела скорпиона и, к моему великому удивлению, совсем целый, хотя и помятый панцирь ильного краба⁴¹ — небольшого, шириною не более дюйма, ракообразного с тусклой окраской грязновато-коричневого цвета. В находке ящерицы и скорпиона нет ничего удивительного — это обычная пища земляной совы. Но я никак не думал, что мне попадет панцирь краба. Одна нить превратилась теперь в три: две вели на сушу, третья на океанский берег. Выбросив ящерицу и скорпиона, я вычистил остатки краба, сунул их в склянку и взвалил на плечи свои мешки.

В какой-то момент среди ночи сова отважилась вылететь на берег и схватила мимоходом краба. Но тут-то и была загвоздка: я обследовал весь берег, но нигде не обнаружил никаких следов ильных крабов. Это и понятно: они никогда туда не выходят — их организм к этому не приспособлен. Цепь явлений привела меня от вопроса: «зачем?», относившегося к душистому кусту, к вопросу: «каким образом?», относившемуся к сове. Натуралисты всегда сталкиваются с этими двумя вопросами, Каким образом и зачем — на первый вопрос иногда еще можно дать ответ, на второй — почти никогда.

Вопрос: «каким образом?» — я разрешил только на следующий день, переплыв красивый зеленый залив Лэнтерн Хед, расположенный более чем в тридцати милях от того места, где я увидел сову. Случилось так, что я невольно заинтересовался нитью, ведущей от скорпиона. В поисках яиц ящериц и новых видов я обдирал кору поваленной пальмы и неосторожно сунул пальцы между корою и стволом — там жило несколько скорпионов, и мое вторжение пришлось им не по вкусу. Один из них впился хвостом в мой указательный палец и тотчас скрылся под корой. Я с криком отдернул руку и заскрежетал зубами. Было ужасно больно, толчки крови остро ощущались в пальце. Я думал, что рука у меня немедленно распухнет, как только яд всосется. Первой моей мыслью было тотчас же идти домой, в поселок, но, поразмыслив, я решил отнестись ко всему хладнокровнее. Все еще скрипя зубами, я уселся на песок и постарался взять себя в руки. Прошло десять минут, палец не опух, боль поутихла. Через двадцать минут палец болел так, как если бы меня ужалила пчела. Еще десять минут — и все прошло. Об укусе напоминало лишь небольшое красное пятнышко в том месте, куда вошло жало. Как и все, знающие об укусах скорпионов только понаслышке, я воображал, что они весьма опасны; однако мне и впоследствии приходилось несколько раз подвергаться укусам скорпионов и всегда с одним результатом: полчаса боли и никакого общего отравления.

Лэнтерн Хед — выемка в береговой линии, естественная мелководная гавань со своеобразным строением береговых утесов. Местами берег окаймлен мангровыми зарослями. На корнях мангровых деревьев нашли себе приют большие колонии маленьких

⁴¹ Ильные крабы (Xanthidae) отличаются мелкими размерами и очень волосатыми ножками. Густые щетинки на ногах не дают им погружаться в мягкий ил мангровых зарослей, где они обычно обитают.

устриц и мидий. Устрицы оказались приятным добавлением к моему меню, состоявшему из одних голубей, которые уже успели мне опротиветь.

Я вытащил несколько сильно перепутавшихся между собой корней и обнаружил в расщелинах с десяток ильных крабов. Они разбежались в поисках новых убежищ. Я понял, что моя земляная сова, несомненно, опустилась где-нибудь на корень мангрового дерева и, заметив бегущего краба, проглотила его.

Третья петля зоологической сети завязалась быстрее быстрого. Один из ильных крабов упал в грязь и был тут же схвачен своим более крупным родичем — мангровым крабом,⁴² великолепно окрашенным ракообразным с алыми клешнями и лапами. Он стремительно набросился на свою жертву и тотчас обезоружил ее, вырвав клешни. Затем большой краб совершил неслыханное злодеяние: зажав собрата в своих клешнях, он неторопливо и последовательно ампутировал у него все ноги, обрывая по одному суставу и бросая их в илистую грязь. Там они и остались лежать, причем мускулы еще продолжали дрожать и сокращаться... Гнусность злодеяния усугублялась сардоническим видом убийцы: за все время этой отвратительной процедуры выражение его морды ничуть не изменилось, а выпуклые, на стебельках, глаза с дьявольским спокойствием взирали на жертву. Внешне безмятежный мир под мангровыми корнями оказался ареной вражды и обмана. Жизнь здесь беспощадна. Малейшая оплошность приводит к внезапной и страшной гибели. Законы жизни всюду одинаковы — животные в водоеме у моей хижины тоже постоянно боролись со стихиями, напрягая все силы, и сражались с целыми полчищами голодных хищников. Сова существует лишь благодаря тому, что ящерицы и скорпионы часто забываются и теряют бдительность.

Понадобилось только три звена, чтобы привести меня от благоухания к злодейству. Поэтому не удивительно, что четвертому суждено было опять вернуть меня к прекрасному. Такова жизнь, этот космос контрастов. Недоброжелательство и доброта существуют бок о бок, любовь и неприязнь иногда уживаются в одной семье. Упитанные и голодные живут порой через несколько кварталов. Повозки, в которые запряжены ослы, тянутся по тем же дорогам, где пролетают автомашины обтекаемых форм. Джазовая музыка и симфонии исполняются на одних и тех же инструментах.

К моему великому удивлению, мангровый краб не стал есть искалеченное тело своего меньшего собрата и, таким образом, избежал обвинения в каннибализме. Он бросил раздавленный труп и, словно потеряв к нему всякий интерес, грациозно удалился. Этот совершенно непредвиденный поступок обесмыслил все происшествие. Почему мангровый краб не воспользовался пищей, которую раздобыл? Какой странный инстинкт толкнул его на бессмысленное, жестокое убийство? Неужели он находит радость и удовольствие в самом процессе уничтожения? И так, снова возникло это вечное: «зачем?» Ведь это же на чем-то основано, отвечает какой-то потребности. Как много в природе явлений, которые кажутся совершенно необъяснимыми, бессмысленными и ненужными. Классический тому пример — драматическая гибель странствующих дроздов,⁴³ массами погибающих во время снежных бурь. Какая сила изгоняет их из теплого южного края? Следует ли тут говорить о бессмысленности или о нарочитой экстравагантности?

⁴² Мангровый краб (*Scylla serrata*) ловко орудует своими большими и сильными клешнями: легко взламывает ими крепкие раковины устриц, успешно защищается от обезьян, посещающих мангровые заросли в поисках крабов, и может серьезно повредить палец человеку, который неудачно схватит его.

⁴³ Странствующий дрозд, или американский робин (*Turdus migratorius*), — один из самых красивых дроздов: верх тела у него шиферно-серый, а грудь и живот оранжево-красные. Для Северной Америки довольно обыкновенная птица: ее можно встретить в полях и лесах, в городских садах и парках. Легко уживается в соседстве с человеком. Гнезда вьет на деревьях на высоте полутора-семи метров. Отличный певец, весной на рассвете запекает раньше всех птиц. Осенью и зимой робины собираются большими стаями и кочуют по лесам. Из северных областей своего ареала (из Канады) улетают зимовать на юг.

Четвертое звено появилось в образе большой белой цапли. Ее легко опознать по ярко-желтому клюву и черным ногам. Она не видела меня, потому что после происшествия с ильным крабом я отошел на невысокий уступ, нависавший над водой, и скрылся из ее поля зрения, спрятавшись между двумя кустами. Цапля была настоящей красавицей. Сверкая белоснежным оперением, она грациозно опустилась на землю и выжидательно застыла у самой воды, а затем медленно и элегантно двинулась к мангровой роще. Белые цапли — одни из самых артистичных птиц. И по цвету своего оперения, и по линиям форм они производят впечатление чистоты и невинности. Вся их жизнь — это непрерывная смена красивых поз.

Цапля также завяла свое место в цепочке событий, которые я прослеживал, когда молниеносным движением вдруг схватила и проглотила мангрового краба — либо того самого, что варварски разорвал на куски своего маленького собрата, либо одного из его родичей. Птица оказалась такой же беспощадной, как и краб, но у нее было оправдание — голод. Бессмысленные попытки не доставляли ей удовольствия. Удовлетворив свой аппетит, цапля легко поднялась в воздух и летела, распустив белоснежные крылья.

На этом я пока что решил закончить свою маленькую игру «а что же будет дальше?» Вместе с тем благодаря цапле появилась и новая петля в моей сети: если бы птица не улетела, я бы не свел знакомства с рыбкой бленни.⁴⁴ Рыбка послужила иллюстрацией к великому философскому принципу, вплела новую нить в постепенно увеличивающуюся сеть явлений.

Считая, что с отлетом птицы мои розыски закончились, я встал и подошел к тому месту, где только что была цапля; на земле под воздушными корнями еще виднелись ее широкие треугольные следы. Они вели к тому месту, где краб встретился со своей Немезидой. Тут жидкий ил кончился, и следы уже тянулись по дну неглубокой лужи между двумя мангровыми деревьями. Под водой, там, где цапля снялась и улетела, они резко обрывались. Возле последнего следа лежала клешня проглоченного краба: она оторвалась и упала в воду.

Клешня привлекла внимание множества мелких рыбешек. Они в возбуждении собрались вокруг этой манны, свалившейся к ним буквально с небес. Главная нить, за которой я следовал, дала сотни разветвлений. Цапля, утолявшая голод, случайно оказалась благодетелем целой стаи рыбок, для которых она была не чем иным, как небожителем. Ведь видеть-то им приходится только тонкую ногу да длинные черные пальцы, спускающиеся от верхней границы их мира и достигающие дна. Что такое цапля для рыбы? Пара ног и легкая тень а воде. Но иногда это тень смерти, потому что внезапно мелькнувший длинный клюв вытаскивает с легким плеском рыбешку и уносит ее из мира воды в мир воздуха, откуда нет возврата.

Рябь широким кругом расходилась вокруг клешни, около которой шла настоящая драка. Рыбешки покрупнее торопливо пробивались к добыче, отбрасывая и расталкивая мелюзгу, и в свою очередь отлетали в сторону под напором сильнейших. От множества толчков клешня вздымалась и крутилась. Однажды какая-то большая рыбка чуть не завладела ею, но в следующий же миг клешня была вырвана у нее налетевшей стаей голодных рыб.

И тут я увидел интереснейшую вещь. Рядом с этим живым клубком обезумевших от вида пищи рыб лежала заросшая водорослями раковина уже давно погибшего моллюска — морского черенка.⁴⁵ Когда-то этот моллюск стоймя стоял в песке, но теперь его раковина

⁴⁴ Американские бленни, как и наши маслюки и лумпенусы, принадлежат к семейству морских собачек, или бленниид (Blenniidae). Это небольшие морские рыбки часто удлинённой, почти змеевидной формы, спинные плавники у них тянутся сплошным рядом вдоль всей спины. У некоторых видов самец охраняет отложенную самкой икру, обвившись вокруг нее кольцом.

⁴⁵ Морской черенок, или солен (Solen), — двустворчатый моллюск с длинной и узкой, похожей на черенок

лежала на боку с полураскрытыми створками. Из раковины высовывалась темно-коричневая смешная рыбья голова, походившая на голову старого гнома, словно только что выскочившего из сказки. Нелепые маленькие пучки бахромчатой ткани заменяли ей волосы, глаза были золотистые и нежные. У рыбки было добродушно-изумленное выражение, наполовину удивленный, наполовину флегматичный вид. Я узнал бленни, морскую собачку, рыбешку, которая водилась во всех мелководных водоемах острова.

Со свойственным ей комическим видом морская собачка не отрываясь глядела на рыбешек, сбившихся в кучу вокруг добычи, но не шевельнула ни одним мускулом. Даже когда весь этот борющийся клубок пронесся над моими босыми ногами в нескольких дюймах от ее дома, морская собачка не двинулась с места, а только размеренно открывала и закрывала рот, словно жуя жевательную резинку. Когда с клешней наконец было покончено и стайки пировавших рыб уплыли, я нагнулся и осторожно приблизил палец к раковине. Но морская собачка не двинулась с места и спряталась в домик лишь после того, как я дотронулся до нее пальцем. Осторожно закрыв створки, я вытащил раковину из воды и вернулся на берег.

У верхней створки раковины я обнаружил около полусотни слипшихся икринок. Морская собачка сторожила их, свернувшись колечком. Я опустил раскрытую раковину в воду, но рыбка не поддавалась соблазну: икринки находились на ее попечении, и она была намерена сторожить их до конца.

Я добрался до последнего звена своей цепочки экспериментов, водворив морскую собачку с ее икринками в родные ей воды. Какую бы судьбу ни уготовил ей водоем у мангровой роши, пусть она сбудется. Цветущее дерево с его таинственным ароматом, символизирующим начало жизни, натолкнуло меня на тропу, где обнаружились три различных начала: красота, смерть и примитивная вражда. Морская собачка, охраняющая свое потомство, помогла мне понять такую истину: природа жестока и расточительна, но в то же время она и добра, и предусмотрительна, и щедра. Морская собачка охраняет свое потомство именно в тот период, когда оно больше всего нуждается в защите, и точно так же вся молодь на земле находит защиту и опеку или снабжается инстинктом самосохранения, как, например, ящерицы круглопалые гекконы, живущие в моей хижине, которые выходят на жизненную дорогу, снабженные всем, что им может понадобиться в пути.

Глава X ОБИТАТЕЛИ ТЬМЫ

Однажды в музее мне довелось увидеть картину, изображающую смерть великого немецкого поэта и мыслителя Гёте. Умиравший старец лежал на огромной кровати в затененной, обшитой панелями комнате. Сквозь плотно задернутые занавеси в помещение проникал роящийся пылинками тонкий солнечный луч и падал на изборожденное морщинами лицо. Гёте вытянул руку, словно о чем-то умоляя, черты его были искажены мучительной гримасой, губы полуоткрыты, как будто он только что произнес какое-то слово.

Внизу на раме была прикреплена медная дощечка с указанием имени художника, основных сведений о картине и — крупными буквами — ее названием, гласившим: «Света, больше света!» Согласно преданию, это были последние слова Гёте перед смертью — крик уходящего в небытие великого человека, выражающий, по общепринятому толкованию, его страстное стремление к расширению границ человеческого познания, ко всему светло-разумному среди невежества его эпохи.

Эта замечательная легенда достойным образом венчает жизнь великого немецкого поэта, однако мне кажется более вероятным, что возгласом: «Света, больше света!» — этот

раковиной. У солена сильная и длинная нога, с ее помощью он глубоко (иногда до трех метров) закапывается в грунт.

человечнейший из людей выразил свой страх перед приближающейся смертью, парализовавшей его зрительные нервы и все более окутывавшей его тьмой небытия.

Человек по натуре своей существо дневное, нуждающееся в солнечном свете; в темноте человек беспомощен и неуверен в себе, если только, как у слепых, у него не получили предельного развития другие органы чувств. Вся его деятельность протекает по преимуществу в светлые часы; без свеч, электрического освещения или луны его вечера крайне урезаны и непродуктивны.

Природа распределила все свои создания между двумя царствами: дневным и ночным. Несметное множество живых существ предпочитает ночные часы дневным либо потому, что ночью им легче найти себе пищу, либо потому, что бархатистый покров тьмы обеспечивает им большую безопасность и большее спокойствие. Они хорошо видят в темноте, о чем свидетельствует их высокоразвитый зрительный аппарат.

Тысячи видов бабочек питаются нектаром ночных цветов, многие из которых красиво окрашены, и те же самые бабочки прячутся в тень листья и забиваются под кору деревьев от слепящего, слишком яркого для них дневного света.

Или взять, например, сову. Глухой ночью, когда человек ничего не видит, она отправляется на охоту. Она низко летит над лугами, ища свою добычу — крошечную полевую мышь, коричневую тень среди крошечной тьмы, — и находит ее. По сравнению с зрительным аппаратом совы человеческий глаз — грубое, примитивное устройство, способное воспринимать лишь наиболее кричащие тона. Для совы полумрак, царящий в густой лесной чащобе, или мерцающий свет звезд над болотом, вероятно, то же самое, что дневной свет — для нас. Едва ли можно оспаривать, что сова находит ночное освещение столь же ярким, как мы — дневное. К тому же, быть может, оно мягче и покойнее. Люди умеренных широт, попав в тропики, очень скоро устают от ярких южных красок и начинают тосковать по своему северному краю с его пастельными серо-зелеными тонами.

Вскоре после возвращения из путешествия по острову, которое закончилось два дня спустя после того, как я миновал Лэнтерн Хед, я сделал интересное открытие.

Я вернулся домой голодный, смертельно усталый и невероятно оборванный. Рассортировав собранный материал и наскоро записав для памяти кое-какие свои наблюдения, я отбросил всякие мысли о работе и на несколько дней дал себе отдых, отсыпаясь и наслаждаясь бездельем. Я плескался в своем бассейне и часами лежал на берегу, любясь прибоем и наблюдая за пеликанами, ловившими рыбу у рифа.

В один из таких дней я прошел по берегу дальше, чем обычно, — до того места, где утесы кончались и начиналась длинная полоса ослепительно сверкавшего белого песка, тянувшаяся до самого Лэнтерн Хед. Чуть подальше от берега росла группа старых кокосовых пальм, и тут же на земле валялось несколько трухлявых стволов. Среди них я обнаружил скорлупки яиц, принадлежавших ящерицам совершенно незнакомого мне вида, и стал копаться в песке, в надежде найти целые яйца, а может быть, и саму ящерицу. Довольно долго мои поиски оставались безрезультатными, но вдруг передо мной мелькнуло гибкое коричневое тельце и исчезло под корой пальмы, оставив в моих руках извивающийся хвост. Это подхлестнуло мой интерес, и в конце концов мне удалось поймать хозяйку хвоста — темно-коричневую изящную ящерицу, с большими живыми золотисто-желтыми глазами. Век у нее не было, а подвижные глаза прикрывала кристально прозрачная пленка, подобно тому как стекло прикрывает циферблат часов. Ее кожа, усеянная множеством мельчайших зернистых чешуек, напоминала с виду мягкий бархат. На лапках, у основания каждого пальца, имелись широкие клейкие подушечки, благодаря которым она могла отвесно взбираться по стволам деревьев и даже быстро перебегать по веткам вниз спиной. Это был геккон, причем, как показало дальнейшее исследование, нового рода и вида.

Я уже неоднократно бывал в этих местах, но еще ни разу не находил здесь подобных ящериц, хотя пальмы кишмя кишели анолисами, круглопалыми гекконами, а земля — ящерицами амейвами и лейоцефалусами. Кошачьи, вертикально разрезанные зрачки объяснили мне, в чем дело. Эта ящерица, как и крошечные, гораздо более распространенные

круглопалые гекконы, относилась к числу ночных и начинала проявлять активность тогда, когда я, вместе со всеми дневными тварями, укладывался спать.

Я продолжал искать новых ящериц еще с полчаса, но безуспешно; тогда я решил отказаться от дальнейших поисков и прийти сюда в другой раз, уже как следует снаряженный. Спустившись к воде, я уселся на песок и стал смотреть на закат. Пассат стих, высоко в небе, со стороны Кубы, высились тяжелые громады кучевых облаков, и я бы только обрадовался, если бы они расползлись вширь, так как дождя не было уже много недель и мои запасы воды сильно поубавились. Вскоре небо стало желтеть, затем сделалось оранжевым, и наконец на землю легло глубочайшее безмолвие. Пеликаны закончили свою рыбалку, ветер почти совершенно стих, кузнечики также умолкли, и только тихий плеск волн нарушал глубокую тишину.

Отлив оставил на песке широкую кайму водорослей, которая мелкими полукружьями тянулась вдоль берега насколько хватал глаз. Солнце стало вишнево-красным, сплющилось и, яростно полыхая, зашло за облака; наконец, вспыхнув ярко-зеленым светом, оно исчезло окончательно. Это зеленое свечение носило характер ночной люминесценции и длилось около минуты в самый момент заката. Вскоре после этого небо посерело, а затем стало пурпурно-красным.

Тут из темноты, из громоздившихся рядом со мною куч водорослей, донесся слабый шорох, подобный потрескиванию рвущегося шелка. Я прислушался. Звук усиливался, достиг предельной высоты и утвердился на ней. Я зажег спичку и поглядел вниз. Песок был сплошь усеян береговыми скакунами⁴⁶ — небольшими прозрачными рачками длиной около полудюйма. Они как сумасшедшие прыгали и скакали по берегу, сталкиваясь и задевая друг друга, производя тот шорох, который я услышал вначале. Где они были каких-нибудь четверть часа назад? Что заставило мириады этих рачков устремиться вверх, сквозь толщу сырого шуршащего песка, как раз в тот момент, когда спустилась ночь? Какие неведомые часы оповестили их в сырых и темных глубинах о том, что настал их час двигаться и жить? И все же целые полчища скачущих рачков были там, где днем лишь пена кружилась в водоворотах над белым песком, и пока я наблюдал их, ближайšie ко мне, потревоженные светом, стали снова зарываться в песок, плавно уходя вниз, словно опускаясь на каком-то невидимом лифте.

Наступление темноты послужило сигналом и для других ночных тварей. В кустах и траве заворошились раки-отшельники; мотыльки, мягко трепыхая крыльями, пронеслись мимо меня во тьму; жуки с гудением пролегли над низинами и, с налету наскочив на меня, запутывались в волосах; москиты пели тонко и деловито, придя на смену мухам, которые, вдоволь нажужжавшись за день, теперь спали, прилепившись к изнанке листьев. Из глубины острова доносились низкие крики пары ночных цапель, плескавшихся на мелководье на той стороне соленого озера. Высоко в небе слышались слабые, напоминающие гусиное гоготанье, крики летящих фламинго; каждый вечер после наступления темноты стая облетала вокруг острова и затем опускалась на дальнем берегу озера позади поселка. Там они проводили ночь, и их бормотание во сне было удивительно похоже на болтовню занятых рукодельем старых леди.

Тем не менее в этом шуме не раздавались веселые ночные звуки, какие мы привыкли слышать у себя на родине. На Инагуа не водятся лягушки, и ночь здесь не оглашается их то пронзительным, то мелодичным кваканьем. Тут нет ни сверчков, ни каминов, в которых они стрекочут. Не услышишь здесь и многоголосого трескучего хора кузнечиков, которых полно

⁴⁶ Береговые скакуны (*Orchestia gamarellus*) — небольшие рачки-бокоплавы. Три задние пары брюшных ножек служат у них для прыганья. Они живут в полосе прибоя и во время отлива во множестве остаются на суше, прыгая по поникшим водорослям, по камням и песчаным пляжам. В бесчисленном множестве собираются у выброшенных морем трупов тюленей или рыб и быстро объедают их. Хотя береговые скакуны и морские животные, но они подолгу держатся на раскаленном солнцем песке, а некоторые виды уходят далеко от воды. Одно скакуна-бокоплава нашли в горах Кипра на высоте 1255 метров над уровнем моря.

летом в лесах северных стран. Все ночные звуки на Инагуа либо печальны и заунывны, либо жалобны и таинственны, а в некоторых частях острова — например, в бесплодных саваннах и на сухих солончаках — вообще царит полнейшая тишина, нарушаемая лишь воем ветра. Исключение составляет только большое соленое озеро в глубине острова; воздух над ним буквально гудит от взвизгиваний, криков, всхлипов и жалобных воплей, причем печальные ноты звучат здесь фортиссимо.

Поздним вечером, посадив вновь найденную ящерицу в садок, я отправился на скалы и провел там некоторое время, прислушиваясь к ночным звукам и стараясь отгадать, кому они принадлежат. Внезапно из темноты донесся какой-то странный звук, какой-то «шлеп», — иначе я не могу его определить. Затем последовал свист, за ним — долгая пауза, и опять — «шлеп!» Напрягая зрение, я пытался уловить во тьме какое-либо движение и наконец увидел на фоне звездного неба стремительно движущийся силуэт птицы, падающей на землю.

Спустившись к дому, я схватил ручной фонарь и пошел в ту сторону, откуда доносился шум. Свет фонаря выхватил из мрака выветрившийся коралл, причудливо раскинувший во все стороны свои изъеденные временем ветви; на самом краю скалы я увидел два желтых светящихся глаза. Они были неподвижно устремлены на меня. Мягко ступая в своих теннисных тапочках, я стал подкрадываться ближе.

Внезапно огненные глаза исчезли, и в свете луча передо мной мелькнула коричневая тень и изогнутое серповидное крыло. Я уже решил, что птица улетела, как вдруг характерное «шлеп!», с каким она ударилась о землю прямо передо мной, известило меня о ее возвращении. Коричневая тень превратилась в удлиненное стройное тело, увенчанное круглой головкой с крошечным клювиком. Это был козодой. Вместо того чтобы улететь, он просеменил по камням к вороху морских водорослей и неторопливо устроился подле. Я приблизился, присел на корточки и осветил его фонарем. Он закрыл глаза, словно досадуя на беспокойство, — очевидно, так оно и было на самом деле, — но с места не тронулся.

Это был великолепный образчик ночной птицы, с большими, зоркими глазками, ярко блестящими в темноте — первый признак ночного образа жизни. Благодаря тускло-коричневому, не бросающему оперению козодоя почти невозможно заметить на открытых луговинах и усеянных гравием пустошах, где он залегает на день.

Обманчивое впечатление производит его как будто бы маленький клюв; я знал, что он обладает огромной растяжимостью и исполняет роль отличнейшей сетки или сачка. Козодой питается насекомыми, и сильные, загнутые назад крылья дают ему возможность стремительно настигать и хватать на лету свою добычу.

Я легонько оттолкнул птицу в сторону и, как и следовало ожидать, увидел яйцо, лежавшее на голом камне без всякой подстилки или какого-либо подобия гнезда. Козодой поднялся в воздух, но тут же сел и снова прикрыл собою драгоценное яичко. Утром я вернулся туда со своим простеньким кодаком и сделал несколько снимков; милое создание оказалось на редкость покладистым, позволяло подносить фотоаппарат к самому носу и даже слегка поворачивать себя так, чтобы можно было добиться наилучшего освещения. За все годы моих съемок с натуры у меня не было более спокойного объекта для фотографирования.

Вскоре ветер стал усиливаться. Я вернулся к скале возле хижины, где было потише, и расположился на еще теплом от дневного зноя камне, снова намереваясь слушать. Мало-помалу по всему моему телу разлилась приятная теплота, и незаметно для себя я задремал. Прошло, вероятно, около часа, когда я проснулся от каких-то новых, неведомых мне звуков. До моего слуха доносилось странное попискивание и пощелкивание, хлопанье крыльев и шорох ветвей. Я перевернулся на спину и прислушался. Звуки слышались очень отчетливо и, казалось, доносились с тамариндового дерева,⁴⁷ смутно маячившего у самой

⁴⁷ Тамаринд, или индийский финик (*Tamarindus indica*), — дерево высотой до 25 метров из семейства тропических бобовых. Плоды — длинные стручки с косточками и вязкой мякотью внутри — идут на приготовление лекарств и кондитерских изделий. Тамариндовой водой индийские жрецы натирали кожу

береговой полосы. Я направился туда. Внезапно раздался шум множества крыльев, пронзительный писк, и с ветвей тамаринда взмыла стая летучих мышей, обдав меня воздушной волной. Некоторое время их темные силуэты кружились на фоне звездного неба, затем они одна за другой исчезли во мраке.

Утром я снова наведаясь к тамаринду. Его плоды уже спели: он был сплошь увешан светло-коричневыми стручками, напоминающими толстые, короткие стручки лимской фасоли. Я сорвал и попробовал один: он был сладкий на вкус, несколько вязкий и содержал два круглых зернышка размером с вишневую косточку. Множество стручков было сгладано, на некоторых виднелись отпечатки крошечных острых зубов. Тамаринд доставлял пропитание летучим мышам.

Однако я уже знал, что в тропиках многие породы летучих мышей питаются плодами, и не это интересовало меня, а их размеры; при свете звезд мыши показались мне огромными. Кроме того, могло статься, что они относятся к новому виду или по крайней мере являются разновидностью, характерной только для острова.

От жителей Инагуа я узнал, что в глубине острова есть многочисленные пещеры, где летучие мыши отсиживают днем. Надо полагать, сказали мне, их там несметное множество. Зная склонность островитян к преувеличениям, я поверил едва ли половине того, что они мне рассказали, но даже и в таком случае это место стоило обследовать.

Чтобы добраться до пещер с минимальной затратой сил, за несколько спасенных с «Василиска» вещей я сторговал себе осла, которого рассчитывал использовать для переноски воды и съестных припасов, — иначе говоря, я отдал свое кровное добро за самую строптивую, непослушную, упрямую и глупую скотину, какую когда-либо знал свет. Мне надо было поостеречься, ибо я видел коварную усмешку в глазах торговавшегося со мной островитянина, и мне следовало бы вовремя заметить злорадный огонек в глазах осла. Но я об этом не подумал. Напротив, я полагал, что обделал выгодное дельце, и был окрылен своим приобретением. А когда осел, послушно следовавший за мной к хижине, дал взвалить на себя здоровенный вьюк с мясными консервами и водой, я и вовсе проникся убеждением, что приобрел бесценное сокровище. Я не увидел едва заметной коричневой полосы, тянувшейся от лопатки к брюху осла, и, по своему невежеству, не сообразил, что это — не что иное, как примета дикого осла, лишь недавно пойманного и прирученного.

Островитянин, продавший мне эту тварь, забыл сообщить ее кличку, и я окрестил осла Гризельдой, что на местном языке значит «послушный». О, он и в самом деле был послушным! Я кончил упаковывать вьюк, накрепко приторочил его и, удостоверившись, что не забыл банку с формалином для консервации интересных экземпляров, которые попадутся мне по пути, выступил в свое очередное научное путешествие. В то утро я был в отличном настроении и даже пел, что не случалось со мной уже много месяцев.

Воздух наполнялся терпким, густым ароматом листьев, в кронах деревьев мягко шелестел пассат, овеивая прохладой мою грудь. Все мое тело пронизывало ощущение довольства. Я наслаждался одиночеством в компании ветра и солнца. Кончив петь, я стал насвистывать: «Сказки Венского леса», юморески, отрывки из «Пера Гюнта» оглашали болотистые низины. Затем последовали минорные мелодии из «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Олд мэн ривер», «Орфей», «Летучая мышь». Я и не подозревал, что мой репертуар так разнообразен. Наконец — и это было верхом блаженства — я принялся насвистывать «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси и был всецело поглощен воспроизведением сладостных звуков этой музыкальной пьесы, как вдруг меня бесцеремонно сбили с ног, и я во весь рост растянулся на земле.

Ничего не понимая, я поднялся и увидел Гризельду — он во все лопатки жарил по направлению к колючим зарослям. Достигнув опушки, он повернулся, взревел, словно одержимый, и скрылся между деревьями. Я вскочил на ноги и бросился вдогонку. Его нигде

священных белых слонов, чтобы придать ей более светлый оттенок.

не было видно. Мои припасы, вода — все пропало. Я слышал только топот копыт где-то далеко среди кактусов.

Лишь через полчаса мне удалось настичь Гризельду, который застрял в ветвях железного дерева, безнадежно запутавшись в поводьях. Его задние копыта так и замелькали в воздухе при моем приближении; фотоаппарат и все мое снаряжение в беспорядке валялось вокруг. Недовольный тем, что меня столь грубо вырвали из мира сладостных звуков Дебюсси, и чувствуя боль от ушиба, полученного при падении, я расквитался с Гризельдой при помощи увесистой дубинки. Мы схватились с ним так, что небу жарко стало, затем Гризельда присмирел и был снова навьючен. Взяв в руки повод, я бодро двинулся дальше, но веревка тут же натянулась, и я вынужден был остановиться: Гризельда не тронулся с места. Я дубасил, толкал, дергал его, но он был непреклонен. С отчаяния я даже развел под ним костер, но он лишь отодвинулся и снова стал как вкопанный.

Я уже был готов признать себя побежденным, как вдруг Гризельда ни с того ни с сего затрусил вперед, словно кроткий ягненок. Он решил добиться своего другим путем. Всякое большое дерево, попадавшееся по дороге, он использовал для того, чтобы попытаться сбросить вьюк и крушить его содержимое. Затем он поворачивал голову в мою сторону и — я готов поклясться в этом — ухмылялся. Время от времени мне приходилось подталкивать его; наконец мы вышли на открытую равнину, где почти не было деревьев. Ну, подумал я, уж здесь-то нас ничто не остановит. Но не тут-то было: Гризельда перешел на медленный вальс и плелся черепашим шагом. Он ни в какую не хотел идти быстрее, а идти медленнее было просто невозможно. Весь остаток дня он вел себя столь же скверно, и до наступления темноты мы прошли всего-навсего десять миль, что уж слишком мало для дневного перехода.

В отвратительном расположении духа я развьючил осла, привязал его к кусту и расстелил одеяло. Я чувствовал себя обманутым и кипел от злости. С высот ликования я погрузился в бездны уныния и перекрестил Гризельду в Тимониаса — в честь Тимона Афинского, древнегреческого мизантропа, проклинавшего все человечество.

Та ночь надолго останется в моей памяти, как одна из самых злосчастных ночей в моей жизни. Не успел я завернуться в одеяло, как воздух огласился ужаснейшим ревом — и так три раза подряд. Я выхватил пистолет и вскочил на ноги. Из окружавшей меня кромешной тьмы доносилось шуршание мириадом крабов, ползавших по скалам. Пронзительный рев еще раз огласил ночной мрак, и в ответ неподалеку раздался другой. Рядом метался на привязи Тимониас. Когда я подошел к нему, его копыта замелькали в воздухе; я едва успел увернуться от ударов. Оскалив зубы, Тимониас бросился на меня, и только привязь удержала его.

Громкий цокот копыт по скалам вскоре объяснил мне причину столь бурного поведения осла. Он учуял запах своих диких собратьев и жаждал присоединиться к их компании. Будь у меня в руках дубинка, я б угостил его как следует, но в темноте ничего нельзя было найти. Я растерялся и не знал, как поступить, ибо никогда раньше не имел дело с этой скотиной.

По стуку копыт в темноте можно было определить, что стадо окружило место нашей стоянки. Ночь, оглашаемая омерзительным ослиным ревом, превратилась в кромешный ад. Надо полагать, ни одна африканская степь с ее львами, бабуинами и гиенами не откликалась на зов диких зверей более громко, чем один куст на Инагуа в эту ночь. Я сидел, обливаясь потом, и ничего не мог поделать. А в промежутках между завываниями я слышал, как вокруг ползают огромные сухопутные крабы, стуча своими желтыми клешнями. Потихоньку стало лишь перед самым рассветом, и только тогда я задремал неглубоким, беспокойным сном.

Когда я проснулся, солнце стояло высоко, над землею ходили волны зноя; от движения горячего воздуха очертания предметов стали зыбкими и расплывчатыми. Я не выспался, глаза у меня слипались, и даже Тимониас весь как-то сник от усталости. Я проклинал тот день, когда приобрел его. Я умылся из лужи солоноватой, коричневой от корней тамаринда

водой и смочил волосы. Это меня освежило, хотя, обсохнув, кожа лица неприятно стянулась. Все еще полусонный, я навьючил осла и двинулся дальше в глубь острова.

Земля была сплошь испещрена многочисленными следами пребывания животных — длинными, извилистыми двойными линиями, оставленными большими желтыми крабами, многочисленными отпечатками маленьких круглых раздвоенных копыт. Судя по всему, тут водилось множество диких животных. В одном месте с прогалины на нас выскочила великолепная лошадь, фыркнула и помчалась назад. Во внутренних областях Инагуа, должно быть, живет не одна тысяча таких диких лошадей.

Одну из пещер, о которой мне рассказывали островитяне, я отыскал в тот же день. Вход в нее был скрыт виноградными лозами и частично забит обломками скал. Я привязал Тимониаса к дереву и, вооружившись фонарем и фотоаппаратом, вступил внутрь. Попав с яркого дневного света в темноту, я поначалу как бы ослеп и лишь некоторое время спустя, осмотревшись при свете фонаря, увидел извилистый низкий проход, теряющийся во мраке.

По мере продвижения вперед своды туннеля опускались все ниже и ниже, так что под конец мне пришлось стать на четвереньки и поползти. Пол туннеля был покрыт влажным коричневатым суглинком, издававшим резкий аммиачный запах. Это были разложившиеся испражнения тысяч летучих мышей, накопившиеся тут в течение столетий. Толщина этого слоя достигала нескольких футов. Спертый, сырой воздух был полон удушливых испарений. Неожиданно рядом со мной раздался громкий стук, и, вытянув руку с фонарем, я успел заметить оранжевого сухопутного краба, шмыгнувшего в расселину в скале. Вскоре туннель снова стал расширяться, и я вышел на открытое, темное пространство. Спустившись вниз на шесть-семь футов, при тусклом свете фонаря я обнаружил на дне большую лужу черной воды, горько-соленой на вкус. Здесь на острове все было насыщено солью, даже пещеры. Свет фонаря фантастическими бликами ложился на пятнистые стены, изрытые зияющими черными впадинами. Где-то в вышине, в пятнадцати-двадцати футах надо мной, смутно виднелся потолок пещеры, подпертый высокими известняковыми колоннами в зеленых наплывах каких-то отложений и увешанный причудливыми сосульками сталактитов.

Я посветил фонарем в одну из темных впадин: высоко над головой, под самым потолком, висел живой занавес из летучих мышей. Они беспокойно завозились, расправляя и складывая крылья с характерным звуком, похожим на шелест ткани. Воздух наполнился шумом тонких голосов, пронзительным писком и шуршанием. Все это многократно отдавалось под сводами, нарастая и спадая волнами звуков, жутко замиравшими вдали. Я поднял камень и бросил его в стену. Он гулко отскочил от стены и с громким всплеском упал в воду. Пещера мгновенно ожила. Тысячи крыльев всколыхнули воздух — мыши стаями снимались со своих мест, летали вдоль пещеры, так что ее сводчатый потолок дрожал от биения их крыльев, и дюжинами кружились вокруг фонаря. Свет, казалось, ослеплял их, — они проносились совсем близко от меня. Я чувствовал прохладный ветерок, поднятый их крыльями, и несколько раз ощутил на своем лице и руках легкие прикосновения когтистых перепонок.

За первым камнем полетел второй. Это привело летучих мышей в панику, и они как сумасшедшие заматались из одного конца пещеры в другой. Дав им утомиться, я приготовил фотоаппарат, установил его на штативе и навел на впадину, полную мышей. Затем я зарядил световой пистолет, открыл затвор объектива и, став за выступ стены, спустил курок. Последовала ослепительная вспышка, затем оглушительный грохот, и пещера наполнилась клубами удушливого дыма. Закашлявшись, я вернулся к фотоаппарату и закрыл затвор. Ни одна из мышей не взлетела, хотя некоторые из них корчились — несомненно, от дыма. Оглушительный грохот выстрела не оказал на них никакого действия. Я бросил в стену еще один камень, и пещера мгновенно наполнилась трепещущими тенями летучих мышей. Повторный выстрел был столь же безрезультатен, как и первый. Я производил страшный грохот, словно стрелял не из пистолета, а из пушки, но мыши, казалось, ничего не слышали; для их тонко устроенного слухового аппарата это был слишком грубый звук. Их уши способны улавливать тончайшие шорохи, жужжание крылышек насекомых, шелест

листья, но совершенно невосприимчивы к грохоту взрыва.

Я поймал сетью с полдюжины летучих мышей и поместил их в мешок. Они подняли там страшную возню, пищали и старались вырваться на волю. Прислонив фонарь к камню, я осторожно вытащил одну из них, держа руки подальше от ее острых, похожих на иглы зубов. Громко пища, она отчаянно дергалась, пытаясь укусить меня за пальцы. Ее большие перепончатые крылья то раскрывались, то облепляли мои руки. Я поднес мышь к свету. Ее мордочка напоминала лица фантастических фигур, украшающих постройки готического стиля, хотя и имела в высшей степени человеческое выражение. Я не видел ничего более зловещего даже среди насупленных каменных изваяний, стоящих на парапетах собора Парижской богородицы. Самым удивительным, однако, был ее нос, кончик которого выпячивался кожистым бугорком, по очертаниям напоминавшим цветок лилии. Этот бугорок, вероятно, обладал крайней чувствительностью, ибо, когда я дотронулся до него, мышь отчаянно запищала и форменным образом взбесилась. Она вся дрожала — от кончика смешного носа до скрюченных пальцев лап, ее мордочка судорожно кривилась самыми невообразимыми гримасами, зубы стучали, как кастаньеты, в глазах горел злой огонек, способный ввести в заблуждение относительно подлинного существа ее природы, ибо эти летучие мыши — как и большинство их видов — весьма безобидные твари, желающие только одного — чтобы их оставили в покое.

По удивительному носу этого экземпляра я заключил, что передо мной — листоносая летучая мышь из рода *Artibeus*,⁴⁸ относящегося к одному из тропических семейств, близких к вампирам. Их странно изогнутые носы и длинные, снабженные нежными перепонками уши дают им возможность отлично ориентироваться в темноте. Их перепончатые крылья также необычайно чувствительны и снабжены разветвленной сетью кровеносных сосудов и нервными узлами. Здесь мне вспоминается ныне ставший классическим эксперимент неутомимого естествоиспытателя XVIII века Ладзаро Спалланцани. Этот поистине ненасытной любознательности человек создал в темной комнате запутаннейший лабиринт из натянутых в различных направлениях ниток и проволок с таким расчетом, чтобы между ними только-только могла пролететь летучая мышь. Затем он оперировал несколько мышей так, что они не могли ни видеть, ни чувствовать запахи, и пустил их в комнату. В течение нескольких часов они летали там, ни разу не задев за нитку или проволоку. Перепончатые крылья, нос и уши летучих мышей способны улавливать малейшие колебания воздуха, недоступные человеческому восприятию. Поэтому-то они и могут хватать на лету насекомых и летать ночью по лесу, ловко лавируя в путанице ветвей.⁴⁹

⁴⁸ К роду *Artibeus* принадлежат типичные американские летучие мыши фруктояды. Коренные зубы их уплощены и приспособлены для пережевывания фруктов. Род *Artibeus* вместе с другими многочисленными родами листоносых летучих мышей относится к надсемейству *Phyllostomatiodea*, к которому систематики причисляют и семейство кровососов, или настоящих вампиров, *Desmodontidae*. Эти странные летучие мыши питаются исключительно кровью млекопитающих животных, нападают даже на людей. Подлетая к спящему человеку, вампир убаюкивает его мягкими взмахами крыльев и острыми, как бритва, резцами срезает у жертвы кусочек кожи, затем кончиком языка, усаженным роговыми бугорками, как теркой, углубляет ранку. Обычно, чтобы не разбудить спящего, вампир парит над ним, слизывая на лету струящуюся из ранки кровь. Слюна вампира содержит особое обезболивающее вещество и фермент, препятствующий свертыванию крови (как в слюне у пиявки).

⁴⁹ Книга Джилберта Клинджела «Остров в океане» вышла первым изданием в 1940 году, когда в зоологии большинством ученых была принята гипотеза Ж. Кювье: он считал, будто летучие мыши ориентируются в полете с помощью очень чувствительных органов осязания. Но оказалось (эти исследования были завершены после выхода в свет книги Клинджела), что осязание в ориентировке летучих мышей не играет никакой роли. В полете они издают не воспринимаемые нашим ухом звуки высокой частоты (до 70, а у некоторых видов даже до 120 килогерц), которые, отражаясь от окружающих предметов, улавливаются летучей мышью. По характеру эха (скорости его возвращения, или силе отраженного звука) летучие мыши инстинктивно узнают о расстоянии до препятствия. Эхо — локатор летучих мышей, очень точный навигационный «прибор»: он в состоянии запеленговать даже микроскопически малый предмет диаметром всего в 0,2 миллиметра! Но дальность его

Летучая мышь — олицетворение ночной жизни и вместе с тем одно из замечательнейших живых существ на свете. В представлении европейца летучие мыши — подходящая компания для ведьм, зловещие обитатели кладбищ, ближайšie сородичи вурдалаков. Зато у китайцев — и это делает им честь — оказалось достаточно здравого смысла, чтобы оценить их по достоинству; для китайца летучая мышь — символ счастья, и такую он изображает ее на тончайших шелках и вышивках. Тот факт, что китайцы сумели распознать положительные качества этих животных, свидетельствует о их тонкой чувствительности и наблюдательности. Летучая мышь — одно из наиболее удачных созданий природы, прекрасно сконструированный живой механизм, с которым не может сравниться никакое другое из ее творений.

Характерной особенностью летучей мыши является то, что из всех млекопитающих она одна обладает способностью летать в полном смысле этого слова. Остальные их представители, пытающиеся это делать, всего лишь неуклюжие трюкачи, без году неделя вступившие на тот путь, по которому летучие мыши идут миллионы лет. Все эти белки-летяги, сумчатые летяги⁵⁰ и другие им подобные млекопитающие всего-навсего парашютисты; они могут только планировать в воздухе, и лишь летучие мыши по-настоящему летают. Даже среди птиц немного найдется таких, которые в состоянии состязаться с ними в искусстве воздушной акробатики; ближайšie их соперники — колибри, стрижи и буревестники, но даже и они уступают летучим мышам в умении контролировать свои движения. Так, летучая мышь способна развернуться на месте для движения в обратном направлении или со всего разлета повернуть под прямым углом на пространстве в несколько дюймов — искусство, в котором она не знает себе равных.

Помимо того, летучая мышь — единственное в мире животное, которое летает при помощи перепонки, растянутой на пальцах, хотя несколько сот миллионов лет назад у пресмыкающихся это выходило не хуже: ведь птеродактили летали на одном лишь мизинце. Размах крыльев у некоторых птеродактилей достигал двадцати пяти футов; у летучих мышей он составляет самое большее пять футов — но они все еще продолжают существовать, меж тем как пальцекрылые воздухоплаватели из пресмыкающихся сошли со сцены уже целую вечность тому назад.

Летучая мышь использует для полета все пальцы, за исключением большого, который обособлен и которым она, как когтем, захватывает предметы. Третий, четвертый и пятый пальцы превосходят по длине остальную часть ее «руки». Пальцы человека, изображенные в такой же пропорции, должны быть длиной от плеча до земли, вверху иметь толщину карандаша и суживаться книзу до толщины вязальной спицы. Кости пальцев летучей мыши эластичны, выдерживают почти полный перегиб и все же устроены столь совершенно, что обеспечивают необходимую жесткость крыла во время полета.

Удивительные перепончатые крылья летучей мыши, состоящие из тончайшей эластичной ткани, постоянно смазываются особым жиром, выделяемым сальными железами, находящимися в области носа и глаз. Летучая мышь следит за ними с такой же тщательностью, с какой птица ухаживает за своим оперением. К тому же крылья летучей мыши имеют и иное, не свойственное крыльям птиц, назначение. По сравнению с туловищем

действия невелика: у обычных летучих мышей около метра, у некоторых других видов (подковоносов, например) — 6–8 метров.

⁵⁰ В Австралии обитают пять видов сумчатых летяг (*Acrobates pygmeus*, *Petaurus breviceps*, *P. norfolcensis*, *P. australis*, *Schoinobates volans*), которые все принадлежат к семейству кузу и кускускусов, или австралийских опоссумов (*Phalangeridae*). Первая из них перохвостая, или карликовая, летяга длиной не больше 15 сантиметров (вместе с хвостом). Это самое маленькое сумчатое на Земле. Самый крупный вид — большой летающий кузу (*S. volans*) размером с кошку. Сумчатые летяги планируют, сверху вниз, как и наши белки-летяги, при помощи кожистого парашюта, натянутого между передними и задними лапами каждой стороны.

и по абсолютной величине крылья у летучих мышей гораздо больше, чем у птиц. У летучих мышей использовано под крылья даже пространство между ногами, которые у большинства видов снабжены специальными шпорами для растяжки этой так называемой междубедренной мембраны, а у некоторых видов она поддерживается еще и гибким хвостиком. Эта мембрана имеет двойное назначение. Во-первых, она используется в качестве своеобразной люльки, ибо не раз наблюдалось, что новорожденное потомство располагается в ней, как в сумке, до тех пор, пока самка не сможет пристроить малышей на их постоянное место возле сосков. И во-вторых, у некоторых видов она используется наподобие подноса при поедании особенно крупных насекомых, например, жука. Пожирание жука происходит на лету высоко в небе, и это уже само по себе доказывает, какими искусными воздушными акробатами являются летучие мыши. Трудность тут состоит в том, чтобы сгрызть насекомое, не уронив драгоценных крошек. И летучая мышь прекрасно выходит из положения: она склоняет голову над своей кожаной корзинкой и поедает добычу. При этом животное камнем падает вниз, однако подобные акробатические трюки настолько вошли у него в привычку, что мгновенье спустя оно как ни в чем не бывало продолжает свой полет.

В различных местах на дне пещеры, как раз под естественными нишами, где ночевали летучие мыши, я обнаружил большие кучи семечек тамаринда. Очевидно, летучие мыши этой породы приносили плоды в пещеру и поедали их здесь, либо проглатывали целиком, сорвав с ветки. При помощи сети я наловил еще мышей, до отказа набил ими сумку — они ссорились и пищали, трепыхаясь сплошной массой ворсистых кожистых крыльев — и выбрался наружу. На дневном свете я осматривал их и отпускал одну за другой. Из пятидесяти трех мышей, пойманных мною, лишь четыре оказались самками; все остальные были взрослыми самцами. Надо полагать, леди *Artibeus* пользовались большим почетом и соперничество между самцами было весьма велико.

На одной из самок я обнаружил детеныша — странное крошечное существо со старообразным лицом. Он висел у нее на груди, крепко вцепившись в соски и глубоко зарывшись в мех. Защищая малыша, мать прикрыла его крылом. Я отпустил ее, и она взмыла в солнечное небо с висящим на ее груди детенышем. Пока он не научится летать, самка постоянно носит его на себе и не расстается с ним даже во время поисков пищи. Новорожденные малыши не умеют летать и подрастают очень медленно. Летучие мыши не устраивают себе гнезд, подобно птицам, и так как самка все время либо летает, либо висит вниз головой, уцепившись лапами за стену пещеры, детенышам с первого дня своей жизни приходится цепко держаться за мать.

Удивительно и парадоксально, что ближайшими родичами летучей мыши являются насекомоядные землеройки и кроты. И те и другие — ночные животные, за редким исключением у землероек. Казалось бы, что может быть общего между кротом, прокладывающим свой ход в сырой земле в поисках личинок жуков и дождевых червей, и летучей мышью, порхающей среди звезд на своих перепончатых крыльях? И, однако, у них наблюдается большое сходство в общем анатомическом строении и особенно в устройстве зубов. Долгий путь их эволюционного развития, отмеченный вехами успехов и неудач, рождением и отмиранием сотен различных видов и родов, где-то раздвоился, уводя одних в воздушные выси небесной стихии, других — в вязкие глубины земной плоти. Летучие мыши пошли по одному пути, кроты — по другому.

Никакое совершенствование не обходится без жертв, и летучие мыши также дали отступное природе. За право летать под усеянным звездами небом и удивительное умение хватать на лету насекомых или отыскивать в темноте съедобные плоды, вместо того чтобы копать в глине и опавших листьях, подобно их сородичам, они заплатили способностью ходить. Летучая мышь на земле — жалкая карикатура на самое себя — существо, с поразительной легкостью порхающее в поднебесье. В процессе усовершенствования летательного аппарата колени летучей мыши вывернулись в противоположную сторону и обращены теперь назад и наружу, как локти у человека. Поэтому большинство из них способны разве что неуклюже ковылять по земле, хотя некоторые — как, например, вампир

— в какой-то мере еще сохраняют свойственную мышам походку. Более того: по этой же причине летучие мыши не могут стоять прямо и всю жизнь вынуждены висеть вниз головой между небом и землей.

У себя на севере я как-то целую зиму держал в клетке нескольких малых бурых ночниц.⁵¹ С первых ноябрьских холодов до раннего апреля они неподвижно висели вниз головой; порою их съезжившиеся тельца покрывались инеем и становились похожими на подвешенные рядами снежки. На ощупь они были холодны и тверды, как мрамор, словно уже наступил *rigor mortis*². Временами мне казалось, что они мертвы, однако где-то в глубине их тела упорно теплился чудесный огонек, именуемый жизнью, и в первый же теплый весенний день они ожили, задвигались, запищали. Они пробыли в подвешенном состоянии сто двадцать семь дней и за весь этот период ни на минуту не ослабили цепкой хватки лап, не изменили своего положения. Провисеть столько времени неподвижно — нешуточное дело. Для человека это все равно что проспять всю зиму стоя на ногах. Однако лишь побывав еще в одной пещере, я смог вполне отдать себе отчет в том, какой цепкостью обладают лапы летучих мышей.

Эта вторая пещера оказалась великолепным помещением с арочными проходами и лепным потолком. В некоторых местах крыша провалилась, и от неправильной формы дыр в подземелье тянулись длинные колонны солнечного света, от которого пещера наполнилась мягким, каким-то неземным сиянием, сгущавшимся вдали в полный мрак. Эту пещеру я отыскал с большим трудом, так как располагал о ней лишь самыми смутными сведениями, и если б летучие мыши не помогли мне, я, возможно, так и не нашел бы ее. Дело было так. Собираясь расположиться на ночлег, я заметил дымок, поднимающийся над вершиной отдаленного холма. Я знал, что на много миль вокруг нет ни одной живой души и что сам остров — не вулканического происхождения.

Струйка дыма становилась гуще, и, бросив все, я поспешил к холму.

Лишь совсем приблизившись к нему, я увидел, что это был не дым, а летучие мыши, сплошной массой валившие из отверстия на вершине холма. Сумерки обманули меня. Сотни летучих мышей вылетали из пещеры, столбом поднимались над землей и исчезали в бархатном полумраке.

На следующее утро перед рассветом я при помощи электрического фонаря отыскал вход в пещеру и вошел внутрь. Мне хотелось понаблюдать за возвращением летучих мышей. В пещере было темно, и она произвела на меня жуткое впечатление, чему, несомненно, способствовало мое одиночество. Мышей здесь в это время почти не было, и я не мог понять, почему те, что остались, не улетели вместе с остальными. В одном месте я обнаружил трех мышей, висевших рядком друг подле друга, и тронул одну из них. Она была мертва, и ее истлевшие внутренности удерживались лишь шкурой. Я отделил мумию от стены, и она мягко упала на землю. Две другие мыши также были мертвы. Они умерли во время сна от старости, болезни или по какой-либо другой причине. Но хотя жизнь в них угасла, тело высохло и мумифицировалось, маленькие коготки по-прежнему продолжали удерживать летучих мышей в том положении, в каком они заснули, и даже смерть не смогла ослабить их цепкой хватки.

Я устроился в уголке пещеры и стал ждать. Должно быть, я задремал, ибо, очнувшись, различил слабое сияние, исходившее от дыры в потолке. Летучие мыши возвращались. На фоне смутно белеющего неба мне были видны их порхающие силуэты и слышен шум крыльев, о мере того как они влетали внутрь. Непрерывно умножаясь в числе, они устремлялись к отверстию и влетали в пещеру, которая вскоре наполнилась их писком. Они

⁵¹ Малая бурая ночница (*Myotis lucifugus*) — обычная североамериканская летучая мышь; обитает в Канаде и США, за исключением самых южных штатов. Летает ночью над полями, лесными опушками и над водой. Иногда охотится днем. Зимой малые бурые ночницы мигрируют на юг или перезимовывают на родине в пещерах, дуплах и других убежищах.

приносили с собой плоды тамаринда, я слышал, как они жевали их и роняли косточки на землю. Я сидел очень тихо — несколько мышей даже устроились на стене над моей головой. Подняв легкий ветерок, они пролетели мимо меня и, взмыв вверх, с мягким шлепком прилепились к скале. Вскоре серое утреннее небо стало розоветь, теперь мыши сплошным потоком устремлялись в пещеру через отверстие в потолке, наполняя воздух трепетом крыльев. Временами их сразу влетало так много, что они совершенно затмевали небо.

Летучие мыши бежали от света и в темных углах пещеры находили себе убежище. Мало-помалу чириканье и пискотня стихли, не слышно стало их возни и хлопанья крыльев — увешав стены пещеры живыми занавесями из коричневой шерсти и морщинистых крыльев, они отошли ко сну.

Розовый свет, струившийся из отверстия в потолке стал красным, и в подземелье неслышно, точно украдкой скользнул солнечный луч. День настал, пробудив к жизни половину животного царства и принеся летучим мышам полный покой.

Глава XI ЗАГАДОЧНАЯ МИГРАЦИЯ

Благодаря одной свадьбе, которой я совершенно не интересовался и в которой не принимал никакого участия, мне довелось наблюдать замечательное явление. Шум праздника, усиленный парой чудовищных барабанов и несколькими гитарами, в силу странной прихоти акустики до раннего утра разносился далеко вокруг, затопляя и мою полянку.

Под конец мне стало невольно от этого грохота; совершенно разбитый после сна урывками, в который назойливо вторгся хоровой напев, в сотый раз уверявший меня в том, что певцы не хотят «ни гороха, ни риса, ни кокосового масла», я вне себя от раздражения встал с постели, облачился в шорты и тапочки и вышел из хижины.

Некоторое время я бесцельно бродил по окрестностям, затем свернул на петлисто спускающуюся к берегу ослиную тропу и вышел к морю через большую рощу кактусов и опунций, кончавшуюся вблизи нагромождения скал у самой кромки воды. Волны прибоя плавно накатывались на берег и длинными извивающимися струями сбегали между камнями, залитыми лунным светом. Где-то вдали ночь все еще сотрясалась от криков затянувшейся гульбы, однако эти звуки больше не мешали мне. Мой слух был всецело поглощен шумом и вздохами прибоя. Теплый воздух был густ и пахуч, пассат — на редкость мягок. Впервые за весь вечер я почувствовал облегчение и, опустившись на песок, задремал. Прошло около часа. И вдруг сквозь полусон я уловил множество слабых звуков, которых не было слышно прежде — какое-то тихое поскребывание и постукивание, едва слышное сквозь гул прибоя. Однажды со стороны бухты до меня донеслась певучая трель пересмешника; он как будто без особой охоты посвистал с минуту и смолк. Однако поскребывание не прекращалось, становясь все более явственным и учащенным.

Я поднял голову. По белизне береговой полосы, отливавшей серебром в свете луны, двигались маленькие темные существа. Сплошной массой они отделялись от темного кустарника и длинными полосами сползали к прибоя. Я смутно видел, как волны, искрясь, набегали на берег и обдавали их своей прохладой. На секунду они как бы застывали у кромки воды, наполовину погрузившись в пену, затем исчезали. При их столкновении с морскими раковинами и раздавался тот негромкий стук, который разбудил меня.

Я не сразу осознал весь смысл того, что происходило у меня на глазах. Это были крабы — не «клетчатые» крабы-грапсусы, живущие в полосе прибоя, не те ракообразные, что обитают в темно-синих глубинах, и не те крабы-призраки, что бесшумными тенями снуют по песку за береговой полосой, а крабы сухопутные — чудные круглобокие существа, живущие в норах в глубине острова. Их место — не на берегу, а на отдельных засушливых пространствах, где над песками гордо высятся огромные кактусы. Кроме обычных

раков-отшельников, на Инагуа водятся еще две породы сухопутных крабов — небольшие пурпурные размером с кулак и огромные желтые великаны с чудовищными шафранными клешнями. Я встречал их в местах, удаленных на многие мили от побережья, вплоть до берегов большого озера в центре острова, где они в поисках пищи (древесных веток и свежей зелени) рыскали по прогалинам, заросшим колючим кустарником, и бесплодным саваннам. Однако последнее время, точнее говоря, с тех пор как начался период сильных ветров, их что-то не было видно. Дождя не выпадало много недель подряд, и крабы прятались в своих норах, проводя в спячке большую часть суток. На острове началась засуха, земля сохла и растрескалась; во время ходьбы из-под ног взлетала пыль.

Появление крабов на берегу показалось мне странным. Я снова взглянул на них. Непрерывным потоком они спускались от кустарника к воде; их тут были сотни и сотни. При этом у них был такой вид, будто они совершают какое-то важное, не терпящее отлагательства дело. Даже когда я вскочил на ноги и пошел прямо на них, они не остановились, а только взяли немного в сторону и продолжали свой путь к морю.

И тут меня словно осенило.

Далеко в глубине острова, на расстоянии многих миль отсюда, в тот день прошел дождь. Это был сильнейший тропический ливень, затопивший пересохшие солончаковые низины и наполнивший водой все впадины. Он лил несколько часов кряду, и толстый слой пыли превратился в вязкое скользкое месиво. Отдельные капли продолжали падать до самого заката, и под вечер в косых лучах заходящего солнца вспыхнула радуга, выгнувшись размашистой дугой на фоне темных туч. Стало быть, как раз этого-то дождя и ждали крабы, попрятавшись в глубине своих нор, и когда вода пришла, смочив их тело и превратив сушу в миниатюрное море, они необъяснимым образом узнали, что их час настал. Они тысячами покидали свои подземные обиталища и выходили под открытое небо, охваченные внезапным порывом, который, словно магнит, повернул их всех в одну сторону.

Им пришла пора вернуться к морю.

Много часов — целый год прошел с тех пор, как они покинули материнское лоно океана, и теперь настало время вернуться, но совсем не такими, какими они пришли на сушу. В тот день — год назад — все побережье и тропы в зарослях кустарника так кишели ими, что буквально шагу нельзя было сделать, не наступив на них. Тогда они были совсем крошками в какой-нибудь дюйм длиной. Золотое времечко для птиц, которые до отвала наедались молодыми крабами и едва могли летать. Казалось, крабы взялись неизвестно откуда и несколько дней наводняли побережье, а затем мало-помалу втянулись в леса и расплозились по своим уединенным убежищам в глубине острова. Они прокладывали себе путь, перебираясь через камни и валуны, продираясь между железными деревьями и под густым сплетением ветвей опунции; всевозможные опасности и смерть подстерегали их буквально на каждом шагу. Оставшиеся в живых подрастали, и в конце концов недра острова поглотили всех.

При свете луны я поймал одного краба — пурпурного, с желтыми пятнами — и осмотрел его. Внизу, под животом, у него выпирал большой красноватый комок, прикрытый снаружи «фартуком»: это была самка с икрой. Она пыталась вырваться и щипала мои пальцы клешнями. Я опустил ее на песок и хотел заставить вернуться в кусты. Однако инстинкт, владевший ею этой ночью, был сильнее страха. Кокетливо отступив в сторону, грациозно перебирая ногами, она устала на меня клешни и бросилась вперед, намереваясь проскочить между моими ногами. Я пропустил ее, и, стрелой пролетев остающееся до воды расстояние, она исчезла в пузырящейся пене.

Там, под водой — я не мог видеть, но знал это — ибо таков обычай пурпурных крабов — произойдет великое таинство. В прохладных глубинах, в укромной темной расщелине, недоступной для прожорливых рыб, усталая мать разрешится от бремени красных икринок. В полосе прибоя, где море вскипает пузырьками и над волнами носятся облака серебристой водяной пыли, из этих икринок выведется потомство. А самка, утомленная долгим путешествием и превратностями наземной жизни, снова попытается вернуться на сушу.

Некоторым удастся пожить еще немного, а затем их поблекшие панцири останутся лежать на скалах, выгорая под солнцем; другие падут жертвой плотоядных хищников, даже не успев выбраться на берег. Но все это не имеет значения, ибо жизнь прошла, таков уж их удел. Если их естественный жизненный цикл ничем не нарушится, через несколько дней, а то и часов море у берегов будет кишмя кишеть микроскопическими личинками, вылупившимися из пурпурно-красных икринок — диковинного вида молодью, глядя на которую никак не подумаешь, что из нее вырастут крабы.

Ученые называют эти микроскопические личинки зооа. Размером менее булавочной головки, марсиански причудливые, плавают в воде эти прозрачные существа, видимые разве что в сильную лупу. Много дней подряд они будут носиться по воле течения и волн, энергично дергая своими похожими на перышки лапками, вглядываясь в толщу воды большими черными глазами, ища света и пожирая на своем пути всю микроскопическую пищу. Другие существа, не уступающие им в прожорливости, но покрупнее, сотнями будут уничтожать их. Одни будут захвачены щупальцами коралловых полипов и погибнут в их жгучих объятиях, другие — выброшены на берег и высохнут на горячем песке, третьи — унесены в открытое море и навсегда потеряны для жизни. Однако в конечном итоге многие тысячи уцелеют, слиняут и изменят свой облик.

Этим новым обликом, не имеющим ничего общего с прежним, откроется новый этап их развития, так называемая стадия мегалопы. Они по-прежнему останутся диковинными, необычного вида существами, но уже приобретут отдаленное сходство с крабом; вернее сказать, это будет чудовищная пародия на краба — краб с хвостом и непропорционально огромными клешнями, под стать разве что его аппетиту. В стадии мегалопы будущий краб становится каннибалом и алчно пожирает своих меньших братьев и сестер, которые, на свою беду, еще не достигли стадии мегалопы. Причем он не довольствуется одной только крабьей молодью, но пожирает решительно все, что ни попадается ему на глаза. Таким образом, прокладывая себе дорогу в жизнь, он подрастает, время от времени сбрасывает шкурку и наконец линяет в последний раз, а затем, мокрый и все такой же крошечный, выходит на берег совершенно законченным крабом.

Однако этой крошке еще далеко до настоящего сухопутного краба. Чтобы стать им, нужна тренировка. Его предкам потребовалось несколько сот тысяч лет, чтобы осуществить переход из воды на сушу, и начинали они с того, что поднимались по рифам какого-нибудь доисторического моря к поверхности, выставляли наружу голову и тотчас же прятались обратно. Молодой краб также повторяет историю своих далеких предков. Под покровом вечера — ибо он становится ночным животным и больше не стремится к свету — он выползает на песок, однако не заходит слишком далеко от воды. Море по-прежнему остается его матерью, и, ища защиты, краб бросается к нему, как цыпленок бросается под крыло наседки. А в защите он очень нуждается, ибо тысячеликая смерть подстерегает его на каждом шагу.

Прежде всего малютке крабу грозит опасность высохнуть на горячем песке. Снизу под его крошечным, длиной в одну восьмую дюйма, панцирем расположены маленькие жабры — тончайшие кусочки бахромчатой ткани, искусно запрятанные внутрь, где их не могут поранить твердые, острые песчинки. Эти жабры хорошо служили ему в море, забирая из воды кислород, и в течение всей его младенческой поры были приятно влажны. Но вот настал эпохальный момент, и малютка краб, преодолев последний дюйм пены, вышел из воды на воздух, должно быть, испытав необычный подъем жизненных сил, ибо жабры, которым пришлось немало потрудиться, извлекая растворенный в воде кислород, теперь получали его в избытке. Малютка должен был просто захмелеть от вольного воздуха.

Есть что-то поистине космическое в этом внезапном переходе из одного мира в другой. Тем не менее малютка краб едва ли воспринимал все это в космическом плане, ибо крошки крабы руководствуются главным образом инстинктом. Инстинкт в сочетании с жизнедеятельностью заставил его пойти дальше по суше и на целых шесть дюймов отдалиться от воды. Надо полагать, это далось ему в отчаянной борьбе, ибо вспомним, что в

длину младенец не более одной восьмой дюйма. Крошечные песчинки казались ему валунами, а наполовину засыпанные песком раковины — настоящими горами.

Вскоре, однако, где-то на задворках сознания, если он вообще обладает таковым, у малютки появляется ощущение какого-то неблагополучия. В жабрах у него першит, их словно что-то сдавило — в высшей степени неприятное, угнетающее чувство. Охваченный страхом, он бросается к воде, но остается там недолго. Вскоре его опять потянет на воздух, к теплому ветру, овевающему побережье и шелестящему в листве деревьев за полосой песка.

Так в течение некоторого времени маленький краб повторяет путь своих предков, выходя на сушу и снова возвращаясь в материнское лоно океана, и мало-помалу тяга к суше становится господствующей среди его инстинктов; только теперь он не такой уж малютка, как прежде: он несколько раз линял, сбрасывал старый панцирь и увеличивался в размерах. Его жабры привыкнут к воздуху, хотя по-прежнему должны оставаться влажными. В помощь им у него образуется воздушная полость, принимающая на себя дыхательные функции. И наконец наступает день, когда крабы, до тех пор державшиеся береговой полосы, сплошной массой покидают побережье и углубляются в неизведанные, таинственные области центральной части острова. Они переходят свой рубикон. Целый год они проживут вдали от океана, а когда вернуться, их жизненная цель будет достигнута. И хотя многие из них вообще не увидят больше моря, они неустрашимо шагают вперед. «Идите в глубь острова, — говорит им инстинкт, — идите в глубь острова до самого его центра». И они идут, сотнями погибая в пути. Иных расклевывают птицы, иные падают в глубокие ямы, откуда невозможно выбраться, и умирают от голода и жажды, ибо тропические острова не отличаются обилием воды. Лишь питаясь молодыми ветками деревьев и свежей зеленью, они могут обеспечить себя водой, которая им столь необходима. Ведь жабры постоянно должны оставаться влажными, и как только они чуть-чуть подсохнут — смерть последует незамедлительно.

Больше всего крабы боятся солнца. Непрерывное десятиминутное пребывание на солнце грозит крабу гибелью. У них нет потовых желез для охлаждения тела при перегревании, и под лучами тропического солнца их пурпурный панцирь может разогреться настолько, что будет горячим на ощупь. Крабы не обладают большой живучестью. При первом же резком скачке температуры они становятся сонливыми, ноги у них подламываются, и они как подкошенные валятся на землю. Упав, краб больше не поднимается. Я установил это совершенно случайно, гоняясь по открытой лужайке за одним крабом. Он как одержимый метался по поляне, пытаясь укрыться в тени, и, потеряв всякий страх передо мной, даже хотел прошмыгнуть между моими ногами. Однако я, не понимая, в чем дело, все время держал его на солнце, и не прошло и трех минут, как его клешни бессильно обвисли и он ткнулся головой в землю; мгновение спустя он был уже мертв.

Хотя крабы тысячами погибают в пути, какая-то часть их все же достигает цели. В тени кустов и под корнями деревьев они роют глубокие норы, длинные извилистые пещеры; выскребая клешнями глину, скатывают ее в комочки и один за другим складывают эти комочки у входа в нору. В теплые тропические ночи они отправляются на кормежку и возвращаются в свои логова с сочными зелеными ветками.

Постепенно крабы подрастают, время от времени сбрасывая старый панцирь, и к ноябрю достигают полной зрелости, превращаясь в пурпурно-красные существа с гротескными, как у гномов, «лицами». Жуткое своеобразие их облика усиливается еще тем, что глаза у них расположены на подвижных стебельках, а рот раскрывается не сверху вниз, а в стороны.

Проходит период дождей, тропическое солнце палит беспощадно. Земля высыхает и становится рыхлой, как пыль, на месте луж и озер образуются огромные лепешки спекшейся грязи. Растительность блекнет, теряет свою сочность, сохнет и увядает. Для сухопутных крабов наступают черные дни. Они не отваживаются выходить из своих нор даже на кормежку, ибо только там, в прохладной глубине подземных убежищ, сохраняется достаточно влаги для поддержания жизни. Февраль сменяется мартом, март — апрелем.

Солнце печет все сильнее, и кажется, только кактусы остаются зелеными и свежими.

Особенно нуждаются во влаге самки, ибо к этому времени они уже обременены икрой, пурпурными комками висящей у них снизу на брюшке. У каждой самки сотни икринок, каждая размером с булавочную головку, и все они склеены друг с другом в густую тягучую массу. Пора отправляться к морю — если только пройдет дождь.

Вот самка пошевелилась в своей норе: в воздухе что-то есть. Небо пасмурно, далеко на горизонте ходят серые тучи, сбиваясь в сплошную темную массу. Слышны прерывистые раскаты грома. Пассат совершенно улегся — воздух тих и спокоен. Духота стоит страшная. Над пересохшими солончаками волнами ходит зной, отчего в воздухе то и дело возникают странные изображения. Облака громоздятся друг на друга все выше и выше, в середине туча приобретает янтарно-черный оттенок. Снова грохочет гром. Солнце опускается к горизонту, затопляя землю сверкающим золотом. Со стороны облаков в заросли сочится новый запах: пахнет свежестью, зеленью и прохладой. Неожиданно спустившаяся тьма раздражается холодным дождем, вода хлещет непрерывными струями, потоком разливаясь по земле.

Глубоко под землей крабы лихорадочно разбирают перегородки в своих норах, поспешно откатывая и унося прочь шарики из глины. В образовавшиеся отверстия устремляется вода; она впитывается в почву и начисто размывает глиняные катышки. Долгожданный час пробил.

Со всех сторон крабы выходят на поверхность, сбиваясь на ходу в огромные косяки, и пускаются в путь по омытой дождем траве. Их панцири влажно блестят при вспышках молнии, рельефно выделяясь в черноте ночи. День за днем, неделя за неделей ждали они этого часа, и теперь ничто не остановит их: ни камни, ни заросли, ни жидкая грязь, ни густое сплетение виноградных лоз. Необъяснимым образом каждое из этих пурпурно-красных тел, словно магнитная стрелка, повернулось в сторону океана, и их не обманут ни пресная вода, ни солоноватые лужи, оставшиеся после дождя. Они алчут соленой горечи морской воды и гула бушующего прибоя. Быть может, каким-то неведомым образом им вспоминаются сцены их детства, когда они плавали в голубом океане, и крабы часами идут вперед и вперед, не останавливаясь даже для того, чтобы подкрепиться. Нужно успеть выметать икру, прежде чем земля снова подсохнет — ведь только от них зависит теперь судьба крабьего рода на Инагуа.

Я востропнулся и огляделся. Далеко на востоке небо смутно забелело, луна стояла совсем низко. Без малого четыре часа подряд я просидел здесь, наблюдая шествие крабов. Волна за волной они выходили из кустарника и бросались в пену прибоя. Через несколько дней там народится новое поколение крабов и повторит тот же самый жизненный цикл. Какой таинственной властью обладает океан над своими блудными детьми, призывая их к себе для того, чтобы обновить жизнь? И каким образом он выводит их из глубины земли, миля за милей направляя их многотрудный путь? Влечет ли крабов гул прибоя, свист и вздохи бурунов, или все дело в тончайших колебаниях воздуха, недоступных человеческому уху?

Я весь обратился в слух: быть может, ночь пошлет хоть какой-то намек? Но в ту же минуту восток заалел, и тут только я заметил, что свадебные барабаны уже давно молчат.

Глава XII В ПОИСКАХ РОЗОВЫХ ПТИЦ

После миграции сухопутных крабов в жизни острова произошли заметные перемены. Пассат, неумолчно свистевший дни и ночи напролет, почти совсем стих; часто шли сильные дожди, но через несколько часов все подсыхало, а затем снова налетал ливень. Парило так, что впору было задохнуться. По вечерам стали появляться москиты, выводившиеся в глубоких расселинах скал, заполненных водой, так что прогулки при луне и ночные бдения на камнях у моря потеряли для меня всю свою привлекательность. Большое озеро за

поселком, прежде изо дня в день посещавшееся компаниями фламинго и куликами-песочниками, опустело и ярко сверкало на солнце своей гладью. Жара усиливалась. Блеск соли нестерпимо резал глаза. Песочники по ночам снимались с места и улетали на север; фламинго небольшими группами по двое, по трое перебирались в глубь острова.

Наступил май. Казалось, сама атмосфера острова пропитана смертельной скукой, и это было особенно заметно в поселке. Негры и мулаты группами собирались в укромных уголках, однако веселья было мало. При моем приближении разговор прекращался и возобновлялся шепотом лишь после того, как я исчезал из виду. Никто не смеялся, не шутил и не проказничал, как это бывало в подобных случаях на Гаити. Повсюду царил дух уныния и беспомощности. Все ветшало и разваливалось в этом маленьком мирке, окруженном узким кольцом прибоа.

Я, при всей своей увлеченности научными исследованиями, также начал сдавать. Несомненно, причиной тому была жара. Птицы и животные, как бы хороши они ни были сами по себе, временами начинают нагонять скуку. Я все чаще стал придумывать для себя всевозможные предлоги остаться дома и побездельничать. А ведь я не жил на острове и полугодом, меж тем как аборигены вращались в замкнутом кругу островной жизни со дня своего рождения.

Поэтому я отнюдь не огорчился, получив от музея письмо с предписанием отправиться в Санто-Доминго для сбора ящериц полупалых гекконов,⁵² необходимых для экспериментальных целей. Через несколько недель я упаковал все свои материалы и заказал билет до Порт-о-Пренса на Гаити — на один из немногих пароходов, заходящих на Инагуа. Закрывая дверь своей хижины, я видел, как мой друг паук, едва я оказался вне его близорукого поля зрения, выполз на окно и принялся ткать паутину между перемычками. Доведется ли мне снова увидеть эту хижину, где я провел столько спокойных часов? И когда старое датское судно, груженное лесом, проходило мимо моего утеса, я мельком увидел коричневую крышу, приютившуюся в зелени листьев. Она казалась совсем крошечной за разделявшей нас голубой далью воды.

Я попросил у капитана разрешения взобраться на мачту, чтобы в последний раз обозреть остров. С высоты «вороньего гнезда» мне было видно лежащее в миле от берега озеро, ослепительно сверкавшее на солнце. В одном углу что-то ярко розовело — это была стая фламинго, все еще державшаяся там. Остальные птицы, изо дня в день плескавшиеся на мелководье, давно уже перебрались в глубь острова. На моих глазах розовое пятно затрепетало и превратилось в россыпь отдельных розовых точек. Поднявшись высоко в небо, стая повернула к побережью, сделала круг над моей хижинкой и с криком, едва слышным за шумом волн, полетела в глубь острова. Через несколько минут она совершенно скрылась из виду; по мере того как расстояние между нами и берегом увеличивалось, Инагуа стал превращаться в длинную тонкую полоску зелени, затем подернулся голубоватой дымкой и наконец исчез с горизонта.

Что случилось со мной на острове Эспаньола, как я томился в доминиканской тюрьме по милости тупоумного чиновника, который не сумел прочесть мое свидетельство на право ношения оружия, как я совершенно неумышленно дал толчок небольшому следственному процессу и был отомщен и как я собирал вышеупомянутых полупалых гекконов — все это длинная история, не имеющая отношения к данной книге. Достаточно сказать, что я вернулся на родину как раз вовремя, чтобы стать свидетелем начала экономического спада в Америке. Мысль о том, чтобы вернуться на Инагуа и завершить начатые исследования, постоянно занимала меня, однако год проходил за годом, а мне все не представлялось такой возможности. Так минуло восемь лет. Стая фламинго, улетающая от побережья в глубь

⁵² У полупалых гекконов (*Hemidactylus*) пальцы снабжены присасывательными пластинками только при основании; два конечных лишены этих приспособлений.

острова, — эта картина неотступно стояла у меня перед глазами, и я решил, что непременно вернусь на Инагуа и сфотографирую этих великолепных птиц на их гнездовьях. Я предполагал взять с собой водолазный костюм, чтобы продолжить свои исследования с того самого места на скале у моря, где они были прерваны.

В годы депрессии я совместно с сотрудниками Чесапикской биологической станции в Соломонсе (штат Мэриленд) занимался научно-исследовательской работой в Чесапикском заливе и с этой целью сконструировал стальной водолазный цилиндр, в котором вместе со своими коллегами провел не один час под водой, наблюдая через толстое стекло жизнь морских глубин. Картины, виденные в Чесапикском заливе, пробудили во мне ненасытный интерес к подводному миру, и мысль исследовать рифы Инагуа стала все сильнее захватывать мое воображение.

Однако, для того чтобы мечта стала действительностью, сплошь и рядом необходим какой-то толчок извне. Точно так же обстояло дело со мною, и я получил такой толчок совершенно случайно. Я был с друзьями на музыкальном ревю, и после представления мы зашли в ресторан выпить чашку кофе с сэндвичами. На стуле против меня лежала скомканная газета, и, так как разговор не вязался, я от скуки взял ее и стал просматривать. В ней не оказалось ничего интересного — обычный обзор событий за день. Я уже хотел было положить ее, как вдруг мое внимание привлек небольшой заголовок:

«РЕВОЛЮЦИЯ НА ТРОПИЧЕСКОМ ОСТРОВЕ.
ВОСЕМЬ АМЕРИКАНЦЕВ И ДВАДЦАТЬ СЛУЖАЩИХ БЕЖАЛИ.
ВОССТАНИЕ НА ОСТРОВЕ ИНАГУА. ПОСЕЛОК В ОГНЕ».

В заметке скупо и невразумительно говорилось о бунте и побоище, происшедшем между двумя сторонами — ничего больше. Очевидно, ее поместили, чтобы заполнить место, и редактор обкорнал ее, оставив лишь голые факты. Какие американцы? Что произошло на Инагуа? В редакции газеты мне мало что смогли сообщить в дополнение к напечатанному, и я мог только строить догадки о происшедших событиях.

С этого момента остров безраздельно завладел моими мыслями. Я вспоминал царившие там угрюмость и отчаяние, а также группы негров и мулатов, шушукавшихся в укромных местах. Но живее всего мне вспоминалась взмывшая в небо стая фламинго, которую я видел с судна. Если б я смог добраться до острова в четыре недели, я прибыл бы туда в тот же месяц и день, когда уехал, и смог бы продолжить свои исследования с того места, на котором они были прерваны.

В первый раз я появился на Инагуа подобно Нептуну, выходящему из волн морских; я был с ног до головы увешан водорослями, с моих пальцев стекала соленая пена. Во второй раз я прибыл на манер Икара, личности также мифической, которой было дано испытать на миг головокружительный восторг полета, а затем упасть. Однако, в отличие от него, я приземлился настолько мягко, что шаткое равновесие чемодана, который я держал зажатым между ногами, осталось почти ненарушенным. Было что-то святотатственное в таком способе прибытия на тропический остров, и я был до того поражен, что прошло несколько секунд, прежде чем я опомнился и принялся благодарить полуголых, загорелых улыбающихся джентльменов, по чьей милости я временно воспарил в небеса.

Не всякому выпадает счастье высадиться на тропический остров сперва наподобие одного, а затем другого мифического существа, и я был буквально в восторге от этого. Все произошло удивительнейшим образом. Пароход, на котором я плыл, — небольшое грузо-пассажирское судно, шедшее в Вест-Индию и до отказа набитое отдыхающими от дел лавочниками и досужими туристами, — бросил якорь у острова чуть позднее полуночи. Луны не было, и я не мог видеть берег, однако с востока тянуло знакомым, доводящим до ностальгии запахом жасмина и лаванды, по которому можно узнать остров. И вместе с запахом доносился рев бурунов между скалами, пробуждавший в душе воспоминания о прошлом.

Мне хотелось поскорее сойти на берег, и я с нетерпением ждал лодки. Через полчаса — все это время капитан, сделавший остановку у Инагуа лишь затем, чтобы посадить меня, и

недовольный задержкой, исходил изощренными голландскими ругательствами, — через полчаса, прыгая на волнах, из темноты вынырнул моторный катер; в нем прибыли двое белых — один постарше, с очень суровым лицом, другой — молодой парень с явно выраженным джорджийским акцентом. Исчезнув в каюте капитана, они сотворили какой-то таинственный обряд над судовыми документами, а затем, учинив мне краткий допрос относительно цели моего пребывания на острове, проводили меня на катер. Все это снова напомнило мне тот строгий экзамен, которому я подвергся, впервые высадившись на Инагуа. Не успели мы ступить на палубу" катера, как капитан, не дожидаясь, пока полностью выберут якорную цепь, скомандовал полный вперед, и пароход со всеми лавочниками и туристами сорвался с места, оставив нас в кромешной тьме.

Мы приблизились к берегу и остановились перед полосой прибоя. Внезапно напротив нас ярко вспыхнули электрические огни, раздалось какое-то жужжание, и, отвесно спустившись с неба, рядом с катером в воздухе повисла деревянная платформа, а высоко над нами вытянулась стрела гигантского подъемного крана, поддерживавшая ее на стропах. Мы быстро устроились на площадке и ухватились за веревки, на которых она висела. Платформа стремительно взмыла ввысь, на головокружительной высоте перенеслась через полосу прибоя и отвесно опустилась на вершину прибрежного утеса. Вне себя от изумления, я сошел на землю и внимательно огляделся. Шестеро полуголых молодых людей — на них были только шорты и теннисные тапочки — в самых необычных позах стояли возле каких-то ящиков, по-видимому, с оборудованием; еще один склонился над тихо посвистывавшей паровой лебедкой. Целый рой электрических ламп ярко освещал сверху всю эту сцену. Восемь лет назад на Инагуа не было ни электричества, ни подъемных кранов, которые могли бы пронести тебя, как Икара, над грохочущими валами прибоя, да и эти молодые люди были явно не из коренных островитян. А когда один из них поприветствовал меня по-английски с сильным гарвардским акцентом, я понял, в чем дело. Соль — единственное богатство острова — снова вернулась.

Высокий стройный парень, тот, что говорил с гарвардским акцентом, приветливо улыбался мне. Как и все другие, он был одет в великолепный темно-коричневый «костюм» загара, с легким медно-красным оттенком. Его руки и ноги сплошь пестрели маслянистыми мазками, его рукопожатие было шероховатым и мозолистым. Про него никак нельзя было сказать, что он боится запачкать руки на работе; но особенно меня поразил гарвардский акцент в устах человека, краснокожего, как индеец.

На острове произошли разительные перемены. Вглядываясь в темноту из круга света, я увидел несколько новых построек, сверкавших стальными деталями и алюминиевой краской. И хотя старые развалюхи с зияющими провалами окон и дырявыми крышами все еще стояли здесь мрачными привидениями, каковыми они на самом деле и были, все же поселок совершенно преобразился.

В истории предпринимательства мало сыщется деятелей со столь интересным прошлым, как у трех братьев Эриксон из Новой Англии. Их бизнесом было химическое производство на основе добываемой из морской воды соли. Они приехали на Инагуа, и это объяснялось тремя обстоятельствами: высоким процентным содержанием соли в прибрежных водах острова, максимальным количеством солнечных дней в году и наличием сильных пассатов, способствующих выпариванию морской влаги.

Мне пришлось пережить одно маленькое разочарование. Моя старая хижина совершенно развалилась, жить в ней стало невозможно. Я вынужден был обосноваться на окраине поселка и за приличную плату в три доллара в месяц снять хороший двухкомнатный дом. На другие три доллара я обзавелся прачкой и стиральной в лице Селестины, пожилой негритянки; к числу ее наиболее выдающихся достоинств относилось то, что она умела петь «Кукарачу» — результат нескольких лет, проведенных ею в Мексике, — причем пела она эту песню так вдохновенно и задушевно, что я охотно оставил бы Селестину у себя уже только за то, чтобы иметь возможность слушать ее пение.

Хотя Селестина не щадила своих сил на поприще кулинарии, произведения ее

искусства носили отчетливо выраженный инагуанский характер и как таковые были в высшей степени неудобоваримы. К счастью, время от времени я мог передохнуть от ее чистосердечной заботливости, получая приглашения на обеды от Эриксонов, а также от уполномоченного по делам негров. На обедах у Эриксонов всегда царило безудержное веселье; вечера, проведенные мною с уполномоченным в его крохотной резиденции, надолго останутся в моей памяти как самые приятные из всех, какие я помню. Мы болтали за чашкой чая и до поздней ночи обменивались впечатлениями, меж тем как во дворе шумно возились сухопутные крабы. Среди английских колониальных чиновников иногда встречаются способные и дельные люди, и мистер Мэлоун относился к их числу.

Меня ожидал и другой сюрприз. Мои старые знакомые Дэксоны процветали. Религия стала прибыльным делом. Я встретил их обоих наутро после приезда. На Томасе был великолепный желтый костюм в полоску шириною в полдюйма и белая шляпа а 1а «охотник на львов». Дэвид выглядел столь же элегантно в клетчатом жокейском пиджаке, заказанном по почте и доставленном специальной шхуной. Томас носил внушительное звание «епископа гаитянского», и, как он со всей серьезностью уверял меня, ему не нужно было работать.

За пределами поселка и узкой сферы деятельности Эриксонов остров оставался таким же, каким был со времени открытия Колумбом Нового Света. Залитый солнцем, обдуваемый пассатами, он ничуть не изменился со дня моего отъезда. Раздумывая над тем, каким образом отыскать гнездовья фламинго, я приходил ко все более неутешительным выводам. Площадь острова составляет восемьсот квадратных миль, и, не зная хотя бы приблизительно местонахождения гнездовий, я мог проискать их целый месяц и не найти. Несколько предварительных вылазок ничего не дали. В довершение всего, только что расставшись с суровой северной зимой, я совсем позабыл о том, что надо беречься от палящего южного солнца, и поплатился за свою забывчивость страшными ожогами.

Если б не Мэри Дарлинг, которая провела меня к той части большого соленого озера в центре острова, где находились гнездовья фламинго, я бы так никогда и отыскал их. Мэри была удивительнейшая женщина. Хотя у нее уже было несколько внуков, ее никак нельзя было назвать бабушкой, настолько молодо она выглядела. Жила она одна, в дощатой, крытой пальмовыми листьями хижине на южном побережье, между Метьютауном и Лэнтерн Хед, промышляя себе на жизнь охотой на диких свиней, во множестве водившихся вокруг, и плетением корзин и шляп из травы. Помимо того, она выращивала сладкий картофель, несколько худосочную кукурузу и просо, а с рифа, расположенного сразу за дверью хижины, выуживала съедобных моллюсков и другие деликатесы. Она постоянно носила с собой допотопное ружье, которое заряжалось кусочками железа, отпиленными от старых корабельных скреп, и стреляло с оглушительным грохотом, разносившимся на мили вокруг, так что всякая дикая свинья, перебегавшая Мэри дорогу, погибала либо от пули, либо от разрыва сердца. Я никак не мог решить, с какого конца ружье безопаснее, ибо оно угрожало разорваться всякий раз, как трогали спусковой крючок. Помимо ружья, Мэри была вооружена двухфутовым ножом мачете, придававшим ей в высшей степени воинственный вид. Одним словом, эта женщина привыкла во всем полагаться на самое себя. Ее-то мне и порекомендовали как единственного человека, способного помочь в моих поисках, и я решил навестить ее, так как никто не знал, когда Мэри в следующий раз появится в поселке, где она бывала весьма нечасто. Я застал Мэри у ее хижины в тот момент, когда она подходила с пятидесятифунтовой вязанкой карликовых пальм на голове, и со свойственной северянам нетерпеливостью попросил ее отложить свои дела и повести меня к гнездовьям фламинго. Она подумала с минуту, попыхивая трубкой, и ответила, что это можно будет устроить не раньше следующего понедельника.

Мне не хотелось ждать, и я предложил доллар надбавки — столько, сколько она, дай бог, заработала бы за две недели упорного труда. Однако Мэри отрицательно покачала головой. Я прибавил еще доллар, но она не соглашалась ни на какой другой день, кроме понедельника. Я знал, что ей, быть может, никогда больше не представится случай заработать два доллара в такой короткий срок, однако уговорить ее было невозможно. Мэри

не придавала особенного значения деньгам, так что мне пришлось смириться и выждать почти целую неделю. Предложи я ей сто долларов — результат был бы тот же. Вполне возможно, в тот момент, когда я предложил Мэри эту сделку, ей не нужен был доллар и, следовательно, не нужно было и работать ради него. Впоследствии я узнал, что все время до следующего понедельника она плела свои корзины да спала!

Как бы там ни было, в понедельник утром Мэри явилась ко мне с двумя ослами по кличке Элен и Самсон. Вскоре я уже знал их, точно своих ближайших родственников. Я спал вместе с ними и пил из одного ведра, ибо в противном случае рисковал умереть от жажды. По темпераменту Элен и Самсон не уступали Тимониасу, однако Мэри умела держать их в руках, и любо-дорого было слушать, как она с ними разговаривала! Она улещала и обхаживала их, умоляла и расточала ласкательные имена, ругалась и богохульствовала, визжала и рычала, шептала и пела — и всегда добивалась своего.

— Ну, Самсонушка, будь же джентльменом. Самсон, ты огорчаешь меня. Если ты не будешь вести себя хорошо, я дам тебе по башке... Ослик, не надо делать этого... А ну, поди сюда, если тебе жизнь не надоела...

Я начал понимать, что обращение с ослами — весьма тонкое искусство, и с превеликим удовольствием предоставил заниматься им Мэри.

По еле заметной тропинке мы направились в глубину острова. Перед нами взлетали стаи голубей, то и дело попадались дикие свиньи. Затем тропинка стала суживаться, с обеих сторон теснимая густым кустарником. Нам приходилось осторожно лавировать между угрюмого вида деревьями, угрожающе тянувшимися к нам своими шиповатыми ветвями. Все чаще стали попадаться приземистые и круглые, как тыквы, кактусы с красными верхушками, словно голова турка в феске. Они росли прямо на голом камне в ложбинах, где деревья расступались, образуя прогалины. Температура воздуха возрастала с невероятной быстротой: мой карманный термометр показывал 108° по Фаренгейту в тени. Элен и Самсон взмокли от пота, их языки вывалились, с них клочьями падала пена. Раскаленный камень обжигал ногу сквозь подошвы.

К полудню я истребил почти три кварты воды, и мы заново наполнили наши кувшины из впадины между скалами. Мэри обладала гениальной способностью находить воду. Из тысячи ямок в почве она безошибочно выбирала одну и, отвалив в сторону пласт прелой побуревшей листвы и черной земли, обнаруживала на дне лужицу темно-коричневой, вонючей, кишасей насекомыми жижи. Все же это была хоть какая-то влага, и, смочив губы, я снова готов был следовать в дебри кустарника за этой отважной женщиной.

На следующий день мы достигли последней на нашем пути ямы с водой, находившейся между корнями тамариндового дерева; ни разу в жизни я не пил ничего отвратительнее. Мэри с невозмутимым видом наполнила большое ведро, которое ока всю дорогу несла на голове, напоила из него ослов — яма была слишком глубока для них — и затем снова наполнила ведро водой, на этот раз для нашего собственного употребления. Сломав ветку с ароматными колючими листьями, она бросила ее сверху, чтобы вода не расплескивалась при ходьбе. Ведро, вмещавшее семь галлонов жидкости, должно было весить не менее пятидесяти фунтов, однако Мэри поставила его себе на голову и с царственной осанкой, сохраняя полное равновесие, поплыла вниз по тропинке, не проливая ни капли воды. Мало того, выполняя этот акробатический трюк, она пальцами ног, не уступавшими в ловкости пальцам рук, подобрала с земли хворостину, не покачнув ведра, подхватила ее рукой и широко шагнула вслед за Элен, сошедшей с тропы. Не так уж плохо для пожилой женщины, которой под пятьдесят!

Бесплодная каменистая почва, по которой мы ступали, сменилась тонким слоем ила. Местами земля была сплошь усеяна трупами маленьких рыбок; по-видимому, еще совсем недавно здесь на мили вокруг простиралась вода большого озера, далеко превышавшего свои теперешние размеры, и при его высыхании рыбы, оставшиеся в замкнутых водоемах, погибли. Несмотря на то что погода стояла жаркая и их изо дня в день пропекало знойным тропическим солнцем, трупы рыб почти не поддались гниению: почва и ил были до того

насыщены солью, что рыбы попросту засолились и имели вид селедок с провалившимися глазами и животами. Их чешуйчатые бока ослепительно сверкали на солнце, и нам казалось, будто мы ступаем по земле, сплошь усыпанной серебряными монетами.

День клонился к закату, когда мы достигли озера. Стояло полное безветрие, и озеро, бледно-зеленого или, вернее, какого-то среднего между изумрудным и ультрамариновым цвета, было совершенно спокойно. Оно представлялось огромным и как бы уходило в бесконечность, молчаливое и неподвижное; на горизонте, затуманенном легкой дымкой, водная гладь незаметно сливалась с голубизною неба, и от этого создавалось впечатление, будто находишься на дне широкой чаши, верхний край которой теряется в беспредельной вышине.

Неподалеку от берега виднелись два крохотных островка со следами растительности — единственной в этом текучем мире, и между ними — тонкая розовая полоска. Это и были фламинго. Забыв об усталости, я предоставил Мэри устраиваться на ночлег на ближайшем острове и, пока не стемнело, пустился вброд по озеру. Оно было неглубоко — вода едва доходила мне до колен; дно состояло из твердой каменной породы, прикрытой сверху слоем рыхлого песка, и кишмя кишело улитками церитеумами, которых с избытком хватило бы на сотню тысяч фламинго.

Мало-помалу розовая полоска стала вырисовываться более отчетливо, и я уже мог видеть, что в длину она растянулась на добрую милю; вся стая, должно быть, насчитывала около тысячи птиц. Еще немного — и мне стал слышен их своеобразный гогот, похожий на гусиный, к которому примешивались крики дюжины других пород птиц. Стаи чаек в опрятных черно-белых нарядах с резкими, хриплыми криками пронеслись над моей головой; пеликаны с плеском ныряли за рыбой вниз головой; грациозные крачки кружили в вышине, издавая свои жалобные крики; песочники густо толпились на отмелях, оглашая воздух мелодичным свистом. Картину довершали гордо выступающие фигуры белых цапель и их более сумрачных серых сородичей, а также множество уток, целыми флотилиями бороздивших озерную гладь.

Однако тон на этом птичьем базаре задавали фламинго. Вооружившись биноклем, я издали мог наблюдать, как они, степенно переходя с места на место, опускают в воду совки клювов и достают со дна добычу. Благодаря своей великолепной нежно-розовой окраске, менявшейся в зависимости от освещения, они резко выделялись среди остальных птиц. На моих глазах, пока солнце угасало за облаками, розовая полоска между бледно-голубым небом и зеленой водой превратилась в алую, затем в киноварную, наконец в кроваво-красную.

Сторожевые птицы, охранявшие стаю, заметили меня. Гогот усилился, красная полоска заволновалась. Я продолжал подходить ближе. Фламинго как один подняли головы и беспокойно забегали на месте. Расстояние между мною и птицами сокращалось. Вот между нами осталось сто ярдов, пятьдесят, и вдруг словно буйный вихрь пронесся над озером. Тысяча пар алых крыльев разом всколыхнула воздух, и вся стая с криком оторвалась от воды. Никогда в жизни мне не доводилось наблюдать столь величественное и захватывающее зрелище — у меня прямо-таки пробежали мурашки. Длинными алыми вереницами по сто птиц в каждой фламинго взмывали высоко в небо и, сделав несколько кругов, красочными волнами затопляли горизонт.

Это было до того великолепное зрелище, что я буквально разинул рот от изумления. Прошло несколько минут, прежде чем я пришел в себя и направился к крохотным, лишь на несколько дюймов выступавшим из воды островкам, где стояли фламинго. Там-то, на голом камне и находились гнезда фламинго — кучки засохшей грязи в фут высотой, с углублением наверху; в каждом углублении лежало по одному яйцу. Яйца были белые, как мел, раза в три крупнее куриных. Одно яйцо оказалось раздавленным, и из него сочился желток темно-красного цвета.

По-видимому, птицы лишь недавно начали класть яйца. Несколько гнезд еще строилось. С удивлением я обнаружил, что они укрепляются при помощи водорослей,

слоями уложенных во влажную грязь, — особенность, о которой не упоминается ни в одной из известных мне книг по орнитологии и которой, возможно, отличаются лишь фламинго, обитающие на Инагуа.

Мне хотелось сфотографировать птиц вблизи, и, исследовав местность с этой целью, я пришел к выводу, что сделать сколько-нибудь удовлетворительные снимки можно только из укрытия. Однако построить укрытие на этой голой каменной гряде было решительно негде и не из чего. Оставалось только соорудить нечто вроде лодки с домиком и стать на якорю поблизости от гнездовий.

Солгав Мэри, что фламинго еще не начали класть яйца, — в противном случае она извела бы их все до единого себе на яичницу, — я вернулся в Метьютаун и на некоторое время оставил птиц в покое, чтобы дать им возможность построить побольше гнезд и прочно осесть на гнездовье. Из парусины и фанеры, купленных у Эриксонов, я смастерил некое подобие лодки — чрезвычайно валкое, тупорылое с обоих концов сооружение, чуть побольше обычного плоскодонного ялика. В интересах транспортабельности оно было максимально облегчено, так как его предстояло доставить на озеро. О том, чтобы воспользоваться для транспортировки тем же путем, по которому мы с Мэри прошли с таким трудом, не могло быть и речи. Поэтому я нанял ослиную упряжку и на тележке подвез лодку к заливу, который узким отростком тянулся от озера к поселку, не доходя до него каких-нибудь восемь миль. Отсюда до гнездовий фламинго было пятнадцать-двадцать миль по воде. Пока я возился с погрузкой продовольствия, питьевой воды и фотопринадлежностей, задул пассат, он крепчал день ото дня и к намеченному сроку отплытия достиг предельной силы. Берег, где находилась лодка, покрылся взбитой пеной, лежавшей валами, и короткие, но крутые волны с шумом набегали на песок.

Не без труда столкнув свою шаланду с берега, я попытался сесть в нее. Однако утлая посудина, перегруженная снаряжением, тяжело осела и стала черпать воду. Оставалось лишь выскочить из нее и снять часть груза — единственный выход из положения; ждать, пока ветер утихнет, было совершенно бесполезно: он мог дуть с неослабевающей силой много недель подряд. Сбросив с себя уже промокшую одежду, я отправился в путь, толкая лодку перед собой и прячась за ее кормом от хлещущих в лицо волн. Озеро было открыто со всех сторон, и найти лучшую защиту от ветра было просто невозможно. Далеко на горизонте маячила группа низких островов, и, безостановочно двигаясь, я рассчитывал достичь их к закату.

Час за часом я продвигался вперед, толкая лодку — нелегкая работа. Хотя вода стояла невысоко, чуть повыше пояса, она оказывала весьма ошутимое сопротивление. Тяжелогруженую лодку приходилось держать строг против ветра, и когда она хоть чуть-чуть разворачивалась, с нею невозможно было справиться. Положение осложнялось еще тем, что волны начали перехлестывать через борта, и я то и дело собирал воду, пользуясь рубашкой вместо тряпки. Кожа у меня зудела от соли, глаза нестерпимо щипало. В довершение всего от жары страшно разболелась голова, в то время как раньше это со мной почти никогда не случалось.

К трем часам пополудни я настолько удалился от берегов, что они совершенно скрылись из виду, и только остров на горизонте как будто чуть выступил из воды. Я начал уставать, мне стало казаться, будто я попал сюда совершенно случайно. Волны в этом месте достигали наибольшей высоты, дно стало постепенно опускаться, так что теперь из воды высывались лишь моя голова и плечи. Продвижение невероятно замедлилось; мне едва удавалось нащупывать дно пальцами ног. Временами на моем пути попадались ямы, и я преодолевал их вплавь либо обходил кругом. До наступления темноты оставался еще час; за весь день я прошел восемь или десять миль и совсем выбился из сил, а до острова было еще с милю или две. Вокруг меня, насколько хватал глаз, простиралось необъятное водное пространство: я находился почти в центре озера.

Начинало смеркаться, когда я, едва держась на ногах от усталости, наконец достиг острова. И каково же было мое негодование и отчаяние, когда я обнаружил у кромки воды

непроходимый заслон из опунций, шириною в несколько ярдов! В изнеможении я опустился прямо в грязь у берега и просидел так несколько минут. Однако нельзя же было в самом деле ночевать здесь в слякоти и воде; и вот, достав свой мачете, я принялся осторожно прорубать проход в этой живой изгороди. Острые шипы вонзались мне в руки и ноги, но в конце концов я пробился сквозь нее и, рухнув на сухой песок, тут же заснул. Однако спал я недолго — гудение москитов быстро вернуло меня к действительности. Пришлось сходить к лодке за палаткой, а заодно захватить кувшин воды и несколько банок консервов. Каждую минуту клюя носом, отмахиваясь от москитов, я кое-как разбил в темноте палатку, залез внутрь и, только натянув москитную сетку, испытал облегчение. Покончив с банкой фруктовых консервов, я растянулся на парусиновом полу палатки и заснул как убитый.

Утром я проснулся от жары. Озеро было спокойно и гладко, как стекло. Я тотчас собрал палатку и выступил в путь, спеша воспользоваться затишьем. Однако не успел я покинуть остров, как ветер задул с прежней силой, и уже через полчаса волны разгулялись вовсю. Но теперь вода доходила мне только до колен, и я продвигался вперед гораздо быстрее, хотя сопротивление воды все еще оставалось значительным. Около одиннадцати часов вдали показались фламинго. Розоватое сияние их оперения можно было увидеть задолго до того, как стали различимы сами птицы; весь горизонт, казалось, запорошил розовый пух. Мне оставалось пройти еще около пяти миль, когда я впервые в жизни увидел мираж. Группа из шести или восьми фламинго, державшаяся возле маленького островка значительно левее всей стаи, стала разрастаться в размерах, увеличилась вчетверо, и затем над головой каждой птицы возникло ее перевернутое изображение. Перевернутые птицы ходили по перевернутому озеру, повторяя каждое движение своих собратьев внизу и почти касаясь их головами. Мираж длился около часа и рассеялся так же медленно, как и возник. Меня удивило, что вода, по которой ходили отраженные птицы, казалась совершенно спокойной, и, приблизившись, я увидел в том месте заводь, защищенную от ветра сухой песчаной косой.

Лишь к вечеру я добрался до острова, где мы с Мэри останавливались в прошлый раз, и расположился на ночлег. Рассчитывая пробыть здесь несколько дней, я хорошенько укрепил палатку, приготовил себе приличный ужин и сразу после захода солнца лег спать. Шутка сказать — пройти многие мили вброд по озеру, толкая тяжелую лодку; я вконец измотался, и, по крайней мере в тот вечер, мне было не до фламинго. Я должен был отдохнуть и восстановить свои силы. Ночь была душная, и хотя палатка со всех сторон обдувалась ветром, я спал неглубоким сном и несколько раз просыпался. Эта ночевка — одно из ярчайших переживаний всей моей кочевой жизни. Едва взошла луна, по черной воде забегали длинные синие полосы, протянувшиеся от разрывов между облаками, и воздух стал наполняться пестрой разноголосицей самых различных птиц. Концерт начался тихим попискиванием песочников и жалобными криками ржанок и зуйков. Затем из дюжины мест разом по озеру рассыпалось отчаянное «круцк» камышниц. Мало-помалу к ним присоединились другие птицы. Посвист пастушков и пронзительные крики небольших зеленых цапель, сопровождаемые тихой плескотней, казалось, всколыхнули все озеро. Шум усиливался с минуты на минуту, и через некоторое время озеро превратилось в форменный бедлам. Это было просто поразительно, ибо повсюду на Инагуа ночи отличаются необычайным спокойствием и, можно сказать, мертвой тишиной, если не считать шума ветра, постукивания клешней сухопутных крабов и трели пересмешника, перелетной мэрилендской желтошейки или какой-либо другой славки, случайно запевшей во сне.

Сумасшедший гвалт нарастал до тех пор, пока не вступили фламинго. С этого момента озера не стало — был один только сплошной рев, темное пустое пространство, вскипающее волнами оглушительного шума. Единственное, с чем его можно сравнить — это с гулом толпы над стадионом во время большого футбольного состязания. И тем не менее никакой футбольный матч не даст вам того ощущения величия, которое исходило от озера в эту ночь. Голоса птиц звучали на такой печальный, минорный лад, что у меня мурашки бегали по коже. Нечто подобное я испытывал, слушая некоторые пассажи Сибелиуса или

пробирающие до мозга костей каденции из «Гибели богов».

Под утро, однако, шум на озере несколько стих. Когда я проснулся, мне послышались новые ноты в доносившемся с озера птичьем гаме. Они принадлежали фламинго, которые больше не переговаривались между собой, как бы ведя нескончаемую беседу, а гоготали громко, пронзительно и отрывисто, как будто чем-то встревоженные. Я выбрался из палатки, сошел к воде и прислушался. Где-то рядом со стаей раздался громкий всплеск, как если бы в воду бултыхнулось какое-то крупное животное. Фламинго тоже услышали шум и тревожно закричали. Крик этот, словно волна, акр за акром, всколыхнул стаю, замер и тут же возобновился. Затем наступила мертвая тишина, казавшаяся особенно напряженной после шума, который ей предшествовал. Прошло около минуты, и вдруг оглушительный птичий гомон, хлопанье тысячи пар крыльев, словно удар грома, потрясли все вокруг; фламинго тучей поднялись в воздух, затмив звезды и луну — в судный день мертвые едва ли восстанут из могил с большим шумом. Протяжный жалобный клич, отражаясь от воды, прокатился над озером и замер в ночи.

Я быстро позавтракал и отправился на лодке к месту гнездовья. Оно значительно разрослось по сравнению с тем, что я видел здесь в первый раз — на камнях было наклепано с дюжину, а то и с две новых гнезд, и во всех лежали яйца, правда, почти целиком растоптанные птицами при их паническом отлете. Камни повсюду были усеяны осколками скорлупы, раздавленными зародышами и кроваво-красными желтками. Среди множества битых яиц я нашел всего-навсего четыре целых.

Надеясь на скорое возвращение всей стаи, я отправился обратно на остров и до самого вечера пробыл в палатке, не выходя наружу. Однако стая так и не вернулась, хотя отдельные косяки фламинго то и дело пролетали над гнездовьем, как бы производя рекогносцировку. На следующий день я пытался заснять немногих оставшихся фламинго, однако усилившийся ветер совершенно растрепал парусиновый домик на лодке, служивший мне укрытием, и его беспрестанно хлопающая на ветру крыша только отпугивала птиц. А ночью новое несчастье довершило судьбу гнездовья: волны захлестнули гнезда, и яйца унесло водой.

Как правило, фламинго строят свои гнезда-башенки с полной гарантией против наводнения; однако гнездовья, где высиживаются птенцы, всегда располагаются в местах с чрезвычайно неустойчивым уровнем воды и рискуют быть затопленными в любой момент. Так, гнездовье в тысячу гнезд может быть уничтожено за несколько часов в результате проливного дождя или сильного ветра, который гонит массу воды в одном направлении, что и произошло в данном случае.

На следующий день озеро было совершенно пусто: повсюду лишь зеленая вода да голубое небо. Стая исчезла бесследно, более безжизненный пейзаж трудно себе представить. Мне предстояло снова в полном одиночестве преодолевать мелководье — перспектива, маловдохновляющая. Уже в который раз за время пребывания на Инагуа я спрашивал себя, что заставляет меня идти все дальше и дальше в моих исканиях, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства. Когда восемь лет назад я принял решение остаться на острове для исследовательской работы, это было чистое любопытство в сочетании с чувством долга: мне хотелось хоть в какой-то мере возместить науке ущерб, причиненный крахом экспедиции. В случае с фламинго это была тяга к красоте и ничего больше: ведь я не был связан никакими обязательствами. Хотя красота и неудобство не всегда неразлучно сопутствуют друг другу, здесь дело обстояло именно так, и с этим приходилось мириться, ибо фламинго острова Инагуа — поистине грандиознейшее и прекраснейшее зрелище из всех, какие есть на свете. Если бы эта стая фламинго не находилась в таком труднодоступном месте и до нее можно было добраться, не мучаясь от зноя, жажды и жгучей соленой воды, остров Инагуа стал бы местом паломничества многих сотен тысяч людей. И однако этого никогда не случится, ибо куда приходит цивилизация, там больше никогда не увидеть фламинго, и созерцать это чудеснейшее из явлений пернатого мира навсегда останется привилегией горстки натуралистов и энтузиастов, в чьих сердцах живет неумная страсть к невыразимо прекрасному, к высшей красоте.

Фламинго — вымирающие представители некогда весьма многочисленной группы пернатых, район обитания которой простирался далеко на север вплоть до полярного круга. Время пощадило лишь очень немногие виды этих птиц, некогда населявших всю Землю. Они оттеснялись все дальше и дальше в пустынные, малообитаемые области, и теперь, когда я пишу эти строки, сохранились в западном полушарии лишь в виде нескольких больших колоний. Крупная колония фламинго существует на островах Андрос, и отдельные разрозненные группы обитают на песчаном побережье Бразилии; инагуанская колония является наиболее крупной и значительной из всех. Здесь, если только судьба не ускорит развязку, прибегнув к помощи человека или стихийных бедствий, фламинго будут до последней возможности цепляться за жизнь, пока не придет и их черед кануть в темные глубины времени вслед за другими замечательными созданиями природы — динозаврами и птеродактилями, саблезубыми тиграми и гигантскими ленивцами. Несмотря на войны, голод и эпидемии, люди неуклонно вытесняют с лица земли диких животных; развитие средств сообщения раздвигает границы обитаемого людьми мира, и только существа, обладающие предельной приспособляемостью, имеют шансы выжить в тесном соседстве с человеком вне зоопарков и заповедников. Фламинго приспособляемостью не отличаются, и, если раз и навсегда не оградить их от посягательств извне, недалек тот час, когда они бесследно исчезнут с лица земли. Словно предчувствуя, что после фламинго ей уже не создать ничего подобного, природа наделила их таким великолепием осанки и оперения, какого не встретишь ни у одной другой птицы такого же размера. И если в ближайшие сто или двести лет фламинго будут полностью истреблены — а это, как я думаю, более чем вероятно, — они блистательно завершат историю существования всего их рода.

Природа не ограничилась тем, что создала в лице фламинго одну из красивейших птиц на земле. Фламинго — птица-парадокс. Если, хватая добычу, огромное большинство птиц выбрасывает клюв вперед, фламинго поступает как раз наоборот: изгибает шею вниз и назад, приближает голову к самым ногам, клюв поворачивает верхней челюстью вниз и собирает, как ложкой, улиток церитеумов. Медленно ступая по воде, фламинго качает головой вверх-вниз и хватается клювом улиток, поворачивая клюв «вверх ногами». По краям клюв снабжен густым гребнем или цедилкой, через которую процеживается случайно захваченный ил и вода. Помимо всего прочего, удивительно еще и то, что добыча фламинго — улитки церитеумы — необычайно малы: на ладони их свободно уместится несколько сот; некоторые птицы, будучи вдесятеро меньше фламинго, способны глотать куда более крупную добычу. Лишь астрономическое обилие этих улиток дает фламинго возможность существовать на столь микроскопической диете.

Как бы то ни было, фламинго прекрасно приспособлены к тому образу жизни, который они ведут. Их длинные ноги — идеальный орган для многочасовой ходьбы по озерам и прудам, а их не менее длинная шея компенсирует высокую посадку корпуса своей способностью пригибаться низко к земле. При таком долговязо-приземистом складе тела фламинго никогда не намокает и чувствует себя отлично среди водной стихии; всякое другое анатомическое строение менее соответствовало бы условиям его существования.

Не зная, что предпринять, я взобрался на единственное росшее на острове дерево, своим узловатым, перекрученным стволом наклонявшееся к востоку, и, медленно поворачиваясь, осмотрел в бинокль весь горизонт. Озеро было пустынно: на мили вокруг лишь белые барашки волн да длинные полосы взбитой ветром пены. Фламинго и след простыл. Приподнимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть как можно дальше за кромку воды, и то и дело отнимая от глаз бинокль, чтобы сохранить равновесие, я еще раз обшарил горизонт и уже был готов отказаться от всякой надежды, как вдруг далеко на севере мне почудилось смутное розоватое мерцание. Я напряг зрение, но так и не мог разобраться, что это такое. Временами мерцание бесследно исчезало, и меня охватывало сомнение, действительно ли я вижу его. Оно было до того слабым, что я уже совсем решил не придавать ему никакого значения и отправиться в обратный путь, но в последний момент заколебался: а что, если это все-таки фламинго?

По чести говоря, я до такой степени устал и упал духом, что мне было почти все равно, если бы так и оказалось на самом деле.

Итак, я нагрузил лодку и вновь пошел вброд по озеру. К моему ужасу, дно опять начало опускаться — очень скоро я оказался по шею в воде — и, что еще хуже, стало неровным. Между тем скорость ветра достигала по меньшей мере тридцати миль в час, и я то и дело уходил с головой под воду. Не в силах больше противостоять напору ветра и волн, я решил облегчить лодку — это был единственный выход из положения — и выбросил за борт продовольствие общим весом около двадцати фунтов и парусиновую койку (кстати сказать, она нашлась несколько дней спустя на дальнем конце озера), оставив себе лишь фотоаппарат, запас фотопленки, галлон пресной воды и палатку, которая была настолько легка, что ее весом можно было пренебречь. Закончив разгрузку, я в изнеможении повалился на дно лодки. Тем временем меня быстро относил ветром все дальше и дальше от того места, где виднелось розоватое мерцание, и если бы я не принял никаких мер, то в скором времени оказался бы там же, откуда отправлялся в путь несколько дней назад. С трудом сохраняя равновесие, я поднялся на колени, схватил шест от палатки и вступил в единоборство с волнами. Однако лодка почти не продвигалась вперед. Мне стало ясно, что если не встать во весь рост и не начать толкать лодку изо всех сил, меня в скором времени прибьет к берегу. Тогда, отбросив всякую осторожность и рискуя всем, так как было мало надежды сохранить равновесие, я поднялся на ноги и отчаянно заработал шестом. Несколько раз я чуть было не перевернулся и спасал положение тем, что спрыгивал в воду, а затем снова забирался в лодку. Все же вскоре я освоился с качкой и научился сохранять равновесие, приседая и откидываясь назад всякий раз, когда накатывала волна.

Напрягая последние силы, я пересек глубокое место и выбрался на мелководье. Все это время борьба со стихией до такой степени поглощала меня, что я совершенно забыл о фламинго, и теперь, спрыгнув в воду и взглянув на север, прямо-таки воспрянул духом: они вырисовывались на горизонте сплошной массой, словно войска, полк за полком выстроенные для парада. До них еще очень далеко, но уже отсюда было видно, что численностью эта стая решительно превосходит все, что мне когда-либо приходилось встречать.

Фламинго стояли на суше, в которую незаметно переходило полого поднимавшееся дно озера. Идти стало значительно легче. К тому же на меня весьма ободряюще действовало то, что я видел перед собой. Вскоре расстояние между мною и стаей сократилось до мили; сторожевые птицы медленно отходили по мере моего приближения, то и дело издавая низкие крики. Основная масса фламинго на первых порах как будто не обращала на меня внимания, но когда я подошел ближе, разрозненные группы птиц, державшиеся на отшибе, стали прижиматься к стае. Воздух наполнился многоголосым ропотом, в котором звучали такая скорбь и отчаяние, что по спине у меня прошел холодок — ощущение, уже известное мне по первому знакомству с этими птицами. В этот момент солнце неслышно скользнуло за облака, и огромное пунцовое воинство вспыхнуло обжигающим багрянцем какого-то яростного, почти кровавого оттенка.

Когда я приблизился к стае на расстояние ста ярдов, всякое движение в ней прекратилось и птицы, все как одна, замерли на месте в сомкнутом строю. Я также остановился. По самому приблизительному подсчету здесь было не меньше трех тысяч птиц; три тысячи пар глаз устремились на меня, и тут случилось нечто неожиданное: я оробел. Хотя я прекрасно знал, что фламинго — совершенно безобидные твари, но мне стало не по себе, когда я оказался лицом к лицу с трехтысячной армией красных птиц, словно ожидавших сигнала к атаке.

Я лег плашмя в воду и осторожно, стараясь не спугнуть птиц плеском, пополз по направлению к стае. На землю опустилась мертвая тишина. Фламинго неподвижно стояли на месте, высоко подняв головы. Пятьдесят ярдов. Тридцать. Я достал фотоаппарат, взвел затвор и приготовился было снимать, как вдруг все вокруг заклокотало, загудело, и три тысячи птиц, гулко хлопая крыльями, разом взмыли в воздух, окрасив небосклон в

ярко-красный цвет. Я невольно присел, как если бы находился перед вулканом, из кратера которого вдруг вырвался столб огня. Воздушный вихрь, поднятый крыльями, был явственно ошутим даже на расстоянии тридцати ярдов. Стая огромным полотнищем развернулась у меня над головой, роняя на воду дождь розовых перьев, отлетела от берега и опустилась посреди озера; казалось, над водной гладью разыгралась розовая пурга. Это было захватывающее зрелище, я весь дрожал от восторга и долго не мог успокоиться.

К сожалению, я спохватился слишком поздно и так и не воспользовался фотоаппаратом, который все время держал в руке. Привязав лодку к камню, я вышел на берег, где стояли фламинго; по всем признакам это было их основное гнездовье. Сотни конических гнезд низкими рядами располагались на гребнях скал, тянувшихся параллельно берегу и разделенных узкими языками воды. Все гнезда были новые, иные даже влажные, с отпечатками клювов и ног фламинго, трудившихся над ними. Я обнаружил и яйца, правда, совсем немного. Как видно, птицы недавно осели здесь — я пришел слишком рано.

Спокойно, стараясь не пугать больше птиц, я вернулся к лодке, оттолкнулся и предоставил ветру сносить меня по озеру. Немного погодя, когда я удалился на значительное расстояние, фламинго поднялись в воздух, сделали круг в вышине и снова опустились на гнездовье. В бинокль можно было различить лишь отдельных птиц, сгребавших и утаптывавших ногами грязь; другие, которые уже снесли яйца, неловко рассаживались по гнездам.

Я и не предполагал тогда, что вижу фламинго в последний раз. Две недели спустя я вернулся на то же место и не нашел ни одной птицы, ни одного яйца — повсюду лишь осколки скорлупы да пустые гнезда. В жидкой грязи виднелись следы голых человеческих ног — островитяне выследили гнездовье и разорили его, забрав все яйца. После этого я, наверное, целый месяц искал другие гнездовья, но не обнаружил ничего, кроме небольших стай птиц, не высиживавших птенцов.

Фламинго с успехом могут противостоять различным стихийным бедствиям, угрожающим их существованию, — таким, как наводнение, ураганный ветер, болезни тропические ливни. Но если в довершение всех бед еще и человек начинает преследовать их в период кладки яиц, дело принимает совсем другой оборот, и едва ли можно надеяться, что эти великолепные птицы смогут долго отстаивать себя от посягательств с его стороны. За последние восемь лет количество фламинго на острове Инагуа заметно сократилось, и если багамские власти не примут мер по охране этих птиц — хотя бы из чисто эстетических соображений — недалеко то время, когда фламинго, чудесное украшение земли, бесследно исчезнут с ее лица.

Глава XIII **У БАРЬЕРНОГО РИФА**

Фламинго и фантастически причудливый подводный мир барьерного рифа у побережья Инагуа, там, где дно круто обрывается вниз, в глубины океана, — я не знаю более удивительных и неправдоподобных зрелищ на свете, и остается только удивляться, что Инагуа, остров, во многих отношениях жалкий и неприглядный, располагает всем этим великолепием на своих скудных восьмистах квадратных милях. Что может сравниться с ним? — спрашиваю я себя, занося на бумагу эти строки, и не нахожу подходящих сравнений. Северное сияние? Внушительно, но слишком водянисто, слишком нереально. Бухта Самана в Доминиканской Республике, с рощами царственных пальм на берегу и извилистыми сине-фиолетовыми заливчиками? — Слов нет, на земле едва ли сыщется еще одно такое место, где с каждой пройденной милей вам открываются пейзажи один другого чудеснее, но и этой картине недостает последнего, заключительного мазка, того воплощенного величия, которым поразил меня барьерный риф.

Мне уже не раз приходилось заниматься подводными исследованиями в водолазном

костюме либо просто в резиновой маске, а также в массивных стальных цилиндрах с иллюминаторами из толстого стекла. Не один час я провел в темно-зеленых глубинах Чесапикского залива и в прозрачных прибрежных водах Флориды; однако то, что представилось моим глазам после того, как я спустился в воду с борта замызганного парусного шлюпа, стоявшего на якоре у берега Инагуа в нескольких милях от Метьютауна, явилось для меня полной неожиданностью. Сверху из шлюпа невозможно было определить, что находится внизу, под поверхностью океана, хотя я и ожидал увидеть нечто из ряда вон выходящее, до того многообещающе выглядела уже сама верхушка рифа. Со стороны океана вода имела темно-синий оттенок, словно ее подкрасили синькой, — признак огромных глубин и царящего в них мрака. Дно круто обрывалось вниз и, если верить карте, на целых две тысячи морских саженей уходило в черноту вечной ночи.

Из простора океана один за другим накатывали гигантские валы, подгоняемые неослабно дувшим с востока пассатом. Они горою вздымались перед рифом и с яростным грохотом разбивались о его зазубренный коралловый гребень. Со стороны острова вода была спокойна и совершенно другого цвета — зеленого с ярким изумрудным оттенком. Она сверкала на солнце, отсвечивая гладким песчаным дном, и невозможно было определить, в каком месте она сливалась с нежной зеленью и белизной безмятежного тропического берега. Позади береговой полосы, обозначаясь на фоне неба отчетливой волнистой линией, колебались на ветру кроны кокосовых пальм. Выступавший над водой гребень рифа являл собою зрелище первозданной красоты — и все же это ничто по сравнению с тем, что таится в недрах океана.

Капитан, он же владелец шлюпа, иссиня-черный островитянин, не на шутку встревожился, узнав о моих замыслах.

— Господин босс, — взмолился он на своем смешном иннагуанском наречии, — господин босс, я бы ни за что не полез туда — там акулы и барракуды, большие, как эта лодка.

И он широким жестом обвел место нашей стоянки. Я прикинул на глаз длину нашего шлюпа — по меньшей мере двадцать пять футов — и недоверчиво усмехнулся.

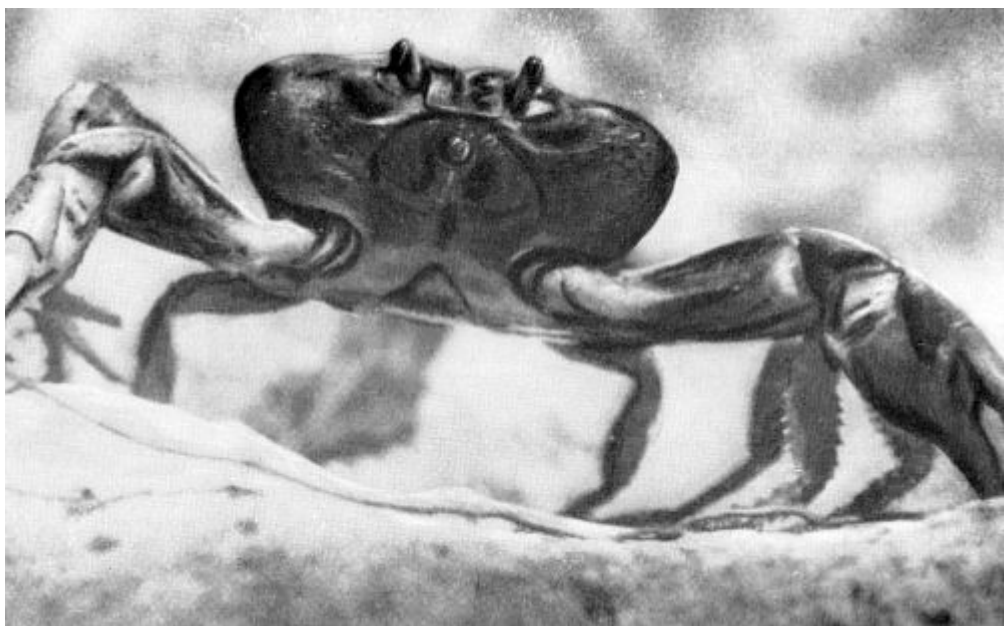
— О'кей, босс. Дело ваше — вам и отдуваться. Я бы не полез туда и за миллион шиллингов.



Листоносая летучая мышь



Козодой



Расположение глаз на длинных стебельках увеличивает сектор обзора кна 360 краба

почти на 360 градусов



Краб



Крабы натаскали холмики песка



Мэри Дарлинг



Фламинго пронеслись над озером

Но я как раз затем и прибыл на Инагуа, за тысячу восемьсот миль от родного дома, чтобы «полезть туда», и отговаривать меня было совершенно бесполезно. Вместе с капитаном мы распаковали восьмидесятифунтовый водолазный шлем, перебросили его через планшир, установили в надлежащем положении и присоединили воздухопровод. Я нырнул в воду и тут же выплыл на поверхность: после горячего тропического солнца вода казалась холодной. Капитан дал сигнал, что воздушный насос включен, и я, оставляя за собой шлейф пузырьков, поднырнул под шлем и закрепил его на голове. Затем я махнул рукой в знак того, что готов к спуску, и тихо заскользил вниз на спасательной веревке. В течение какой-то доли секунды в моем поле зрения промелькнули пальмы на берегу, клочок голубого неба и башни облаков на нем, а уши заполнил низкий рев огромной волны, белопенной массой накатывавшей на зазубренный гребень рифа. Затем наступила полнейшая тишина, нарушаемая лишь слабой пульсацией шланга — таинственной ниточки, связывавшей меня с надводным миром, — и оттого казавшаяся особенно напряженной. Я взглянул наверх и едва не задохнулся от неожиданности: волна, разбившись о риф, распалась на несметное множество пузырьков — красных, зеленых, синих, всех цветов радуги, — которые стремительно пошли вниз, искрясь в лучах солнца, пронизывавших толщу воды. Затем они на мгновение как бы застыли на месте и быстро побежали кверху. Первыми достигли поверхности пузырьки покрупнее и бесследно исчезли, словно слившись с литой серебряной стеной. Наступило короткое затишье, во время которого лишь отдельные струйки захваченного водой воздуха медленно вытягивались кверху. Затем, совершенно неожиданно, зеркало воды снова разлетелось разноцветным роем пузырьков и клочьями пены. Самым поразительным при этом было то, что все это происходило совершенно беззвучно, хотя я отлично знал, что всего в нескольких футах надо мной воздух содрогается от гула прибой.

Я повернулся спиной к рифу и огляделся. Над моей головой чернело замшелое, облепленное обрывками водорослей дно шлюпа. Вода возле него была пронизана длинными золотыми полосами солнечного света, ярко вспыхивавшими и гаснувшими в глубине. Вокруг

меня струилась прозрачная синева нежнейшего пастельного оттенка, какой мне когда-либо приходилось видеть, и казалось, будто я плыву в отливающем перламутром голубом просторе, безмятежном, почти оживотворенном и полном какого-то неуловимого мерцания, словно сотканном из солнечного света и небесной лазури; я и в самом деле невесомо парил в воде, почти не ощущая натяжения спасательной веревки. Вдали это слабое мерцание мало-помалу меркло, и толща воды, принимая бледный золотисто-серебристый оттенок, прорезалась длинными мутно-белыми снопами света, перебежавшими, исчезающими и возникавшими по мере движения волн, которые наподобие призм преломляли солнечные лучи, то и дело изменяя их направление.

Наконец я глянул вниз, и у меня захолонуло сердце. Я висел на самом краю бездонной пропасти, головокружительным, зияющим чернотой провалом переходившей в беспредельность океана. За семнадцать футов перед собой я с рельефной отчетливостью видел каждую скалу, каждый камень, однако дальше очертания предметов становились более расплывчатыми, неясными, так что где-то далеко за пределами всякой фокусности я мог различить лишь размытые контуры каких-то фантастических фигур, темные пятна скал и странные тени, бесшумно передвигавшиеся с места на место. За всем этим, в самом низу, начинался сплошной мрак, пустота, казавшаяся особенно загадочной из-за своей неосвязаемости.

Я осторожно опустился на несколько футов и с удивлением заметил, что раскачиваюсь на веревке взад-вперед наподобие маятника. Оглядевшись, я обнаружил, что и все в этом своеобразном каньоне тихонько раскачивается, описывая дугу в десять-двенадцать футов; я начинал раскачиваться от белого песчаного холмика, медленно и беспомощно проносился над отвесными стенами ущелья и повисал в пустоте на расстоянии тридцати футов от дна. Носиться в пространстве словно пушинка, подхваченная ветром, было настолько необычно, что я целых пять минут качался взад-вперед, отдаваясь этому удивительному ощущению. Наконец, решив приземлиться на песчаный холмик, я улучил момент и мягко опустился на его вершину. Однако пробыл я там недолго, ибо в следующую же секунду меня подхватило и унесло с облюбованного мною местечка. Лишь упав на колени и уцепившись за лиловый коралловый куст, я сумел задержаться на самом краю пропасти и, дождавшись обратного толчка, плавно перенесся назад. Дважды повторив этот трюк и убедившись, что меня не унесет в бездну, я выпрямился во весь рост и отдался этому размеренному колыханию. Подобно танцору в кинокартине, показываемой в замедленном темпе, я легонько подпрыгивал вверх, парил на высоте десяти футов, мягко приземлялся, секунду балансировал на месте и тем же путем возвращался в исходное положение. Вскоре я в совершенстве овладел этой акро-, вернее, гидробатикой и смог внимательнее осмотреться вокруг.

Если уже прибор с изнанки поверг меня в немое изумление, то об открывшемся мне подводном пейзаже и говорить нечего. Передо мною, контрастно выделяясь на небесно-голубом фоне, стоял фантастический лес желтых коралловых «деревьев», тянувшихся к поверхности хаотически переплетенными, безжизненными руками ветвей. Ряд за рядом их толстые стволы уходили вдаль, расступаясь перед гротами и образуя голубые лужайки, на которых росли деревца поменьше.

Этот сказочный лес сделал бы честь самой смелой творческой фантазии, и мне вспомнились леса, в которых очутилась Белоснежка, спасаясь от злой королевы. К тому же между стволами этих фантазмагорически желтых деревьев сновали стаи рыб самых разнообразных расцветок. Ярко-желтый и небесно-голубой, красный и изумрудно-зеленый, серебристо-серый и пурпурный, розовый и бледно-лиловый — все цвета и оттенки солнечного спектра сошлись здесь в невообразимой неразберихе. Можно было подумать, что какой-то сумасшедший художник, не жалея красок, набросал картину чудесной сказочной страны и вдохнул в нее жизнь. И тем не менее ни один художник, сколь бы безумен он ни был, не сможет создать ничего, что могло бы соперничать с подобной картиной по богатству и разнообразию красок. После этой пробной вылазки я не менее пятидесяти раз побывал в

глубинах океана у рифа и каждый раз преисполнялся каким-то благоговейным чувством при виде такого ландшафта. Наш наземный мир не знает таких красок и цветовых тональностей, какими располагает подводное царство. Как бы ни были хороши наши закаты или леса в осеннем убранстве, их краски выглядят грубыми и кричащими по сравнению с тем, что мне приходилось наблюдать у кораллового рифа. Есть что-то невыразимо мягкое и нежное в этих тонах, что-то от мерцания жемчуга, до того зыбкого и неуловимого, что ему невозможно подыскать точное определение. За несколько футов от меня между двумя большими коралловыми деревьями показалась стайка макрелей неизвестного мне вида. Выплывая из тени, они выглядели глянцево-розовыми, со слабым серебристо-лиловым отливом, но попав в полосу солнечного света, стали ярко-желтыми и заиграли различными оттенками — от золотисто-огненного до медно-красного в зависимости от того, под каким углом их чешуйки отражали солнечные лучи.

Быть может, наиболее поразительной особенностью этого подводного пейзажа было то, что все здесь производило впечатление необычайной легкости. Даже большие каменные деревья, какими бы тяжелыми они ни были в действительности, имели воздушный вид. Их филигранные, тянувшиеся вверх ветви все более утончались по мере приближения к поверхности, где на них действовали мощные силы прибоя. Подобное дерево на земле не продержалось бы и десяти минут. Дно вокруг было усеяно сотнями пурпурных и желтых морских вееров, а также длинными султанами горгоний и морскими перьями, которые плавно покачивались из стороны в сторону весьма грациозно, прямо-таки артистически. Я заметил, что все морские перья располагались одинаково, а именно — параллельно береговой линии. Подобно рифу, подобно побережью и песчаным дюнам, начинающимся за растущими на берегу пальмами, они поворачивались под прямым углом к ветру и волнам. Между морскими веерами также размещались пурпурные морские перья, имевшие такой вид, словно они были вырваны у какой-то гигантской птицы и как попало натканы в песок шаловливой детской рукой. Однако сходство этих кораллов с пером было чисто внешним и сразу же исчезало, стоило наклониться и рассмотреть их внимательно. Каждая из них была сложным организмом, колонией полипов, снабженных щупальцами и составлявших единое целое в виде пера — поразительно гибкое и изящное живое существо, ибо, раскачиваясь из стороны в сторону, оно никогда не принимает некрасивой, неудобной позы.

Подобное же впечатление легкости производили и рыбы. Они невесомо парили и бойко шныряли между коралловыми ветвями. Самые удивительные среди них — это губаны,⁵³ объедающие зелень на скалах. Сорвав водоросль со скалы, они стремительно отскакивают. Не нарушая установившейся между ними дистанции, губаны описывают круг и возвращаются точно на то место, откуда начинали движение. Даже темно-коричневый морской окунь, здоровяга длиною в три фута и весящий добрую сотню фунтов, а то и больше, и тот, казалось, разделял эту всеобщую легкость движений. Сначала я увидел только его голову, торчавшую из глубокой черной ниши в скале, но затем, уцепившись за морской веер, как за якорь, и понаблюдав некоторое время, я обнаружил, что при всей своей дородности он весьма непринужденно держится в воде. Не шевеля ни единым мускулом, он неподвижно стоял на месте, затем грациозно выплывал из ниши и, помедлив между двумя коралловыми деревьями, медленно возвращался хвостом вперед в исходное положение. Я наблюдал за ним в течение пяти минут; все это время он передвигался исключительно при помощи плавников и ни разу не ошибся.

Я хотел пройти по аллее, обсаженной морскими веерами, но не тут-то было. С борта

⁵³ Губаны (Labriade) — преимущественно тропические рыбы с крупными чешуями и маленьким ртом, окруженным толстыми губами. Зубы крупные, у некоторых похожи на собачьи клыки. Питаются ракообразными и моллюсками, грызут даже коралл, есть и растительноядные виды. Окрашены пестро. Одни губаны очень малы, другие же бывают весом до 20 килограммов. У нас в Черном море водятся несколько видов губанов, например черноморский губан и зеленуха, или губан-павлин.

шлюпа дно представлялось совершенно гладким или по крайней мере слегка волнистым, тогда как на самом деле было очень неровным и вдобавок изрыто глубокими расщелинами и пещерами. Я оказался как бы на склоне большого холма, поросшего деревьями не снизу, как это обычно бывает на суше, а сверху. Помимо волнообразного движения воды, бросавшей меня с места на место, ходьба затруднялась еще и тем, что из-за очень большой рефракции я потерял способность правильно определять расстояния до предметов. Так, норовя ухватиться за морской веер, чтобы удержаться на месте, я каждый раз с удивлением обнаруживал, что он находится от меня не на расстоянии вытянутой руки, а футов за шесть или больше. Я то и дело пытался ступать по белым коралловым холмикам, которых попросту не оказывалось там, где они должны были находиться по моим расчетам. Как я уже говорил, раньше мне не раз приходилось совершать подобные подводные вылазки, но тут все озадачивало меня новизной и путало мои планы. Я непрестанно проваливался в глубокие ямы, и это было особенно неприятно потому, что по какой-то странной прихоти течения я, как правило, беспомощно опрокидывался спиной назад, даже не видя, куда я падаю, — а ведь так легко можно было наскочить на гнездо морских ежей, чьи ядовитые иглы торчали из всех расщелин. Гладкий коричневатый коралл, который я случайно задел рукой, острекал меня, словно крапива. Страшнее всего было поранить ногу об острый камень, ибо я знал, чем это могло кончиться: дно тропического моря, где хищные рыбы шалеют от запаха крови, — мало подходящее место для водолаза с кровоточащей раной.

Однако вскоре у меня выработался навык хождения по дну. Я обнаружил, что передвигаться лучше всего прыжками, с одного гладкого камня на другой, предварительно прикинув на глаз расстояние и сделав поправку на снос течением. Хотя на мне был тяжелый водолазный шлем весом почти в восемьдесят фунтов, я легким прыжком отрывался от дна, плавно парил на протяжении десяти футов и приземлялся мягко, словно перышко. Впоследствии, приобретя некоторую сноровку, я мог делать прыжки в двадцать футов длиной.

Перескакивая с камня на камень, я устроил миниатюрный подводный обвал. Это произошло следующим образом. Я достиг конца глубокой лощины — отвесной каменной стены, сплошь увешанной морскими веерами и розовыми актиниями, как вдруг круглый коралловый нарост, на который я опустился — он давно уже омертвел и распадался на куски, — ушел у меня из-под ног и, подпрыгивая, покатился по отлогому склону. Я судорожно замахал руками, стараясь сохранить равновесие, и, изогнувшись, успел заметить, как он с легким стуком упал на дно, перевернулся раза два или три и зарылся верхушкой в ил. Затем случилось нечто неожиданное. Все рыбы, сколько их было на пятнадцать футов вокруг, бросились к кораллу и принялись теребить его нижнюю часть, которая теперь оказалась наверху. Другие кинулись к его следу, отмеченному беловатым облачком взбаламученного ила, и оживленно засуетились вокруг обломков, отколовшихся от него по пути. Я осторожно спустился вниз и, подойдя к кораллу, понял, в чем дело: вся его нижняя часть была облеплена морскими червями, которых больше не защищали их трубчатые домики, разрушенные при падении коралла. Рыбы мгновенно сообразили, что к чему, и поспешили воспользоваться чужим несчастьем. Это навело меня на одну мысль. Я вернулся к основанию рифа, где еще раньше заметил несколько губок, похожих на большие черные резиновые мячи, и оторвал одну из них. Тотчас же из нее выскочил красно-зеленый морской червь и, извиваясь, поспешил под защиту другой губки. Однако не проплыл он и трех футов, как из коралловых зарослей стремительно выскочил красно-желтый губан и яростно атаковал его. К первому губану тут же присоединился второй, и вскоре собралась целая стая маленьких желтых рыбок, подбиравших объедки. Продолжая в том же духе, я скоро был окружен целой свитой рыб, следовавшей за мной от губки к губке.

Облюбовав местечко между двумя коралловыми холмиками, где можно было укрыться от болтанки прибоя, я стал располагаться здесь для отдыха и менее всего ожидал встретиться с коварством и вероломством, как вдруг кусок дна у меня под рукой задвигался и поплыл прочь. Я чувствовал себя при этом так, как, вероятно, чувствовали бы себя вы, если б часть

пола вашей гостиной вдруг снялась с места и зашагала в кухню. Секунду я изумленно взирал на это чудо, затем облегченно вздохнул; ну конечно же, камбала! И как это я сразу не догадался? Рыба до того искусно маскировалась под цвет песка, что когда она снова опустилась на дно в нескольких шагах от меня, я с трудом мог определить ее местонахождение. И я нисколько не обиделся за эту маленькую хитрость, так как знал, что для нее это — единственное средство пропитания и защиты от многочисленных врагов.

Немного погодя камбала наглядно продемонстрировала мне, как она пользуется им. Молодая синеголовая, красивая рыбка, пестро раскрашенная в желтый, синий и черный цвета, покинула свое убежище под коралловым деревом и беспечно поплыла над самым дном по направлению к торчавшей из песка пальчатой губке. Камбала неподвижно лежала на месте, бугорком возвышаясь над поверхностью дна, и была совершенно незаметна. Внимательно наблюдая за ней, я видел, как ее расположенные на двух припухлостях глаза медленно поворачивались, следя за приближающейся синеголовкой. Не подозревая об опасности, рыбка подплывала все ближе, и когда оказалась прямо над камбалой, та взметнулась вверх, подняв со дна белый песчаный вихрь, схватила рыбку и несколькими быстрыми глотательными движениями съела ее. Опустившись на дно, она встрепенулась, и взбаламученный песок, оседая, прикрыл ее. Камбала на некоторое время приняла легкий коричневатый оттенок, который быстро сошел на нет, и она снова стала неразличимой на фоне кораллов и светлого песка.

Очень скоро я обнаружил, что подобных притворщиков тут хоть отбавляй. Рядом со мной, на большой глыбе омертвевшего коралла, располагалась целая клумба кукурузно-желтых «цветов» с изящными спиралеобразными лепестками. Длинные и нежные, эти лепестки были испещрены едва заметными темными поперечными полосками, придававшими цветам удивительно живописный вид. Я уже протянул было руку, чтобы дотронуться до одного из них, но когда тень от моей ладони упала на «цветок», он стремительно втянулся в камень.

То же самое произошло со вторым цветком, едва я поднес к нему руку, и там, где только что были цветы, теперь виднелись лишь небольшие отверстия в камне. Это объяснило мне все: я имел дело вовсе не с цветами, а с морскими червями — длинными, извивающимися, необычными по форме существами, которые всю жизнь проводят в расщелинах скал. О том, какое впечатление произвело на меня это зрелище, и говорить нечего: представьте себе, что было бы с вами, если бы вы захотели сорвать в саду маргаритку или настурцию, а она вдруг возьми да и спрячься в землю! Десятки морских червей юркнули в свои норы от тени моей руки: вообразите себе, что вы идете по теплице, и все цветы закрываются, едва вы к ним подходите! И что удивительнее всего — когда солнце пряталось за облаками и на эти необыкновенные «цветы» ложилась тень, подобная той, которую отбрасывала моя рука, они продолжали преспокойно колыхаться в волнах прибоя.

То, что я назвал у этих червей-цветов лепестками, на самом деле является органом, при помощи которого они захватывают свою микроскопическую добычу и подносят ее ко рту. Вся их жизнь сводится к тому, чтобы неподвижно сидеть на месте с распухшими щупальцами и терпеливо ждать, пока ток воды не принесет им какой-либо пищи. Обычно со словом «червь» у нас связывается представление о чем-то низменном и гадком; червяк для нас — это скользкая тварь, живущая под землей, в сырости и мраке. Однако почти все черви, населяющие коралловый риф в прибрежных водах Инагуа, необыкновенно привлекательны на вид — трудно сказать, почему. Уж не объясняется ли это тем, что быть некрасивым здесь, где все так и блещет красками, попросту говоря неприлично?

Морские черви были здесь не единственными существами, выдававшими себя за растения. Ярко-красные, изумрудно-зеленые, коричневые и бледно-лиловые губки облепляли скалы наподобие мха всюду, где только было возможно. Мшанки ⁵⁴

⁵⁴ Мшанки (Bryozoa) — очень странные существа. Живут они в норе, реже — в пресной воде, ведут сидячий образ жизни и образуют колонии, как кораллы или гидроидные полипы. Колонии мшанок обычно имеют вид

подделывались под лишайники, кружевной вязью покрывая размытости на коралле и оголенные места на стеблях морских вееров. Однако перещеголял всех краб, прикинувшийся садом! Я обнаружил это, когда целый кусок дна вместе с замаскированными под растения животными и мхом вдруг снялся с места и, прошагав между двумя бледно-лиловыми горгониями, опустился за фут до того места, где он только что был. Если бы крабу не вздумалось прогуляться, я так и не заметил бы его. На спине он нес несколько небольших актиний, изящную пальчатую губку и пучок желтых морских водорослей.

Поднявшись по склону, я вернулся к своему укромному местечку между двумя коралловыми глыбами. Прямо передо мной рыбы-попугаи сосредоточенно объедали водоросли со скал. Их было довольно много, и они группировались в зависимости от цвета — красного и синего, напоминая фантастически раскрашенное стадо коров. Я не случайно сравнил их с коровами, ибо они часами «пасутся» на скалах, соскабливая с них водоросли своими большими белыми зубами. В выражении их морд есть что-то коровье-тупое, а торчащие зубы придают всему их облику что-то лошадиное. Не успел я усесться, как всю стаю охватило необычайное возбуждение, и рыбы бросились врассыпную по норам и расщелинам в скалах. Я осмотрелся, желая установить причину переполоха: неподалеку, но уже вне пределов видимости, в толще воды на мгновение мелькнула какая-то огромная серая тень и снова растаяла в дымке. Трудно сказать, была ли это акула, во всяком случае она больше не появлялась, и вскоре все рыбы-попугаи опять как ни в чем не бывало жевали свою жвачку. Каким-то образом они почуяли опасность и поспешили скрыться от врага, хотя — странное дело — рыбы других пород не выказали ни малейших признаков тревоги.

Поведение рыб-попугаев давало ключ к пониманию жизни всего этого подводного мира: каждого повсюду подстерегали свои опасности, каждый питался кем-нибудь другим, кто был поменьше или послабее его. Камбала, окрашенная под цвет морского дна, морские черви и актинии, имеющие вид растений, краб, несущий на себе целый подводный сад, — все это были примеры обмана, имеющего целью облегчить защиту от врагов и добывание пищи. Даже неподвижные коралловые деревья не являлись здесь исключением, ибо миллионы крошечных полипов, наподобие кожи обтягивавших их желтые ветви, имели ядовитые щупальца для умерщвления добычи.

Мало-помалу я начал улавливать определенные закономерности, которым была подчинена жизнь всех живых организмов на рифе. Рыб, которые держались у дна, уже нельзя было увидеть среди тех, что сновали наверху, между ветвей коралловых деревьев. Среди группы придонных рыб выделялись три основные категории: жующие, которые подобно рыбам-попугаям и спинорогам⁵⁵ спокойно объедали зелень, тонкой пленкой покрывавшую скалы; снующие, которые подобно барабульке⁵⁶ безостановочно шныряли над самым дном, обшаривая его своими усиками, и, обнаружив лакомый кусочек, быстро перерывали песок и хватали добычу; и наконец стерегущие — к ним следует отнести камбалу, неподвижно лежащую на месте, зарывшись в песок, а также морского окуня и групера, которые сидят в укрытии, ожидая, пока мимо них не проплывет какой-нибудь незадачливый представитель

ветвящихся кустиков, стелющихся корневищ либо мелкочаеистых корочек. Но мшанки не родственны кораллам, систематики относят их к типу червеобразных.

⁵⁵ Спинороги (Balistidae) — тропические рыбки. Спинной плавник преобразован у них в три большие колочки, из которых самая крупная похожа на рог. Зубы прочные, долотовидные, рыбы откусывают ими куски коралла и разгрызают раковины моллюсков. Мясо спинорогов, как и морских попугаев, часто содержит опасный для человека яд.

⁵⁶ Американский барабулька (*Mullus auratus*) внешне мало отличается от нашего черноморского барабульки, или султанки, похожей на бычка рыбки с двумя длинными усиками на подбородке.

Барабульки держатся стайками у песчаного дна и, взбаламучивая песок, ищут на дне мелких рачков и моллюсков.

первых двух категорий.

У морских окуней и груперов, невероятно толстых рыб с огромной, бездонной пастью, есть своя метода, быть может, самая лучшая. Я обнаружил это совершенно случайно, наблюдая за двумя золотистыми рыбками. Они медленно проплывали мимо логова морского окуня, как вдруг одна из них бесследно исчезла — просто взяла и исчезла, словно растворилась в воздухе, вернее сказать, в воде. У меня даже дух захватило от изумления: морской окунь не шевельнул ни единым плавником, и все же я готов был поклясться, что собственными глазами видел, как рыбка исчезла в его пасти. Я стал терпеливо выжидать, пока появится очередная жертва, и она вскоре появилась. Это была рыбешка с желтым хвостиком. Она прошла мимо норы на расстоянии трех футов, остановилась у морского веера и двинулась обратно. Это ее и погубило, ибо она слишком близко подплыла к норе; челюсти окуня разомкнулись, и желтохвостая рыбка была моментально втянута в его пасть. Тут только я понял, в чем дело: морской окунь действовал по принципу пылесоса! Я видел совершенно отчетливо, как он широко раздул свои огромные жабры, засасывая ртом воду, затем челюсти захлопнулись, и рыбки как не бывало.

Между дном и поверхностью океана, среди коралловых деревьев плавали уже совершенно другие рыбы. Здесь было засилье «сержант-майоров»⁵⁷ — небольших рыб, испещренных черными и желтыми полосами наподобие красно-белых, окрашенных по спирали столбов, что можно видеть у нас возле парикмахерских. Они сновали между коралловыми ветвями попеременно с лунными рыбами (этих было гораздо меньше), ярко-синими тангфишами (их было великое множество) и лазурными бо-грегори. Бо-грегори было очень немного, зато они были здесь самыми смелыми и боевыми рыбками и даже закрепили за собой некоторые участки рифа, защищая их как свою неприкосновенную территорию. Я видел, как один из тангфишей — эти рыбы удивительно напоминают плоские синие тарелки, которые каким-то чудом обзавелись плавниками и пустились в плавание по подводному царству, — отважился подплыть слишком близко к коралловой ветке, облюбованной маленьким бо-грегори. Распушив плавники, малютка яростно накинулся на рыбу-тарелку, значительно превосходившую его по размерам, и та, к моему удивлению, пустилась наутек.

Несколько минут спустя я увидел, как тот же самый бо-грегори отважно атаковал испанскую макрель, которая была раз в двадцать больше его и имела на вооружении длинный ряд острых зубов. На морде макрели — я готов поклясться в этом — появилось обиженно-испуганное выражение, но и она, подобно рыбе-тарелке, постыдно очистила поле боя. Однако я удивился еще более, когда, скользя вверх, макрель как ни в чем не бывало слопала сверкающую серебром атеринку,⁵⁸ которая прохладилась у самой поверхности воды, занимаясь своими делами. Тем не менее урок на тему «что могло бы случиться», по-видимому, не оказал на бо-грегори никакого впечатления, ибо немного спустя он уже деловито изгонял из своих владений очередного захватчика.

Наконец третью группу рыб составляли те, что держались в слоях воды, непосредственно примыкающих к поверхности — целая галактика живых организмов, висевшая между зеркальной крышей океана и его глубинной частью. Здесь каждому было

⁵⁷ Сержант-майоры, тангфиши и бо-грегори — различные виды ярко окрашенных коралловых рыбок. Лунные рыбки (*Vomer setoripinnis*) не имеют никакого отношения к знаменитой луне-рыбе (*Mola mola*). Они небольшие (до 30 сантиметров в длину), с сильно сжатым с боков телом, укороченным рылом и высоким «лбом». Держатся у берегов и коралловых рифов.

Макрель, или скумбрия (*Scomber scomber*), — хищная, но не крупная (до полуметра) рыба. Ее веретеновидное, обтекаемое тело отлично приспособлено для плавания. Служит объектом интенсивного промысла. Водится и у нас в Черном и Балтийском морях.

⁵⁸ Атеринки (*Atherinidae*) — мелкие хищные рыбки из отряда кефалевых, отличаются широкой серебристой полосой, тянущейся по бокам вдоль тела.

отведено свое место, на определенном расстоянии от поверхности воды. Выше всех забрались сарганы⁵⁹ — свирепые хищники с длинным, обтекаемой формы телом и грозной пастью, оснащенной двойным рядом зубов. Хотя их активность ограничена сравнительно узким пространством, они никогда не страдают от недоедания благодаря своей подвижности и оснащенности всем необходимым для охоты за атеринками и летучими рыбами, разделяющими вместе с ними сферу существования. Сарганы — на редкость сильные рыбы — могут быть уподоблены живым стрелам, несущимся с огромной скоростью; впрочем, так оно и есть на самом деле: известны случаи, когда сарганы наносили тяжелые ранения рыбакам, залетая в лодку во время своих головокружительных скачков за летучими рыбами. Схватив добычу поперек живота, они прикусывают ее и, мотая пастью из стороны в сторону, буквально вытряхивают из нее дух, затем на мгновение выпускают изо рта и глотают, повернув головой вперед.

Сверху весь этот текучий, льющийся мир был прикрыт зыбкой сеткой из находящихся в непрерывном сновании живых существ. Во всевозможных направлениях без конца проплывали небольшие рыбки — одни стремительно, словно сам черт гнался за ними, другие медленно, с частыми остановками, двигаясь по спирали или делая скачки вбок. Вокруг них вся масса воды кишмя кишела рыбьей молодью всевозможных пород. В каждом квадратном дюйме у поверхности океана находилась по крайней мере одна прозрачная рыбешка или ракообразное, видимое невооруженным глазом, не говоря уже о несметном множестве микроорганизмов, которыми питаются мальки. Это была не вода, а живая уха, и удивительные рыбы, чьи широкие пасти от природы снабжены решетками и неводами, деловито прочесывали океан, собирая манну небесную, которая, вместо того чтобы падать сверху, неподвижно парила на месте, словно закон тяготения потерял для нее силу.

Тут я увидел великолепную кавалькаду, безостановочно прошедшую мимо рифа у поверхности воды. Шествие открывала стая из шести больших тарпонов,⁶⁰ ослепительно сверкавших на солнце черным серебром своих крупных чешуй. За ними следовал огромный косяк макрелей, принадлежавших, насколько можно было судить по их резко расчлененным спинным плавникам и небольшим изогнутым хвостам, к роду *Auxis*, или фрегатовым макрелям. Рыбы достигали фута в длину, над боковой линией у каждой проходила ярко-желтая полоса, отливавшая на солнце радужным блеском. Макрели шли такой плотной массой, что в воде на время стемнело, и рыбы поменьше, взбудораженные надвигающейся тучей плавников, дождем посыпались вниз, ища спасения в глубине. После того как косяк скрылся из виду, поверхностные рыбы долго не могли успокоиться; то в одном, то в другом месте поднимался переполох, рыбы начинали ошалело метаться из стороны в сторону, паника широкими кругами распространялась дальше, и все вокруг заполнялось трепетным мельканием миллионов теней.

Однако в общем жизнь на рифе производила мирное и спокойное впечатление. За исключением нечастых грабительских налетов сарганов и смешных наскоков опростачивых

⁵⁹ Сарганы (*Belone*) — хищные рыбы до 60 сантиметров длиной. Челюсти этих рыб вытянуты в длинный и острый клюв.

⁶⁰ Тарпон (*Megalops atlanticus*) — предмет вожделенных мечтаний американских рыболовов. Крупная (до двух с половиной метров и весом до 130 килограммов), с огромной чешуей (до 7,5 сантиметра в диаметре) и «бульдожьей» массивной нижней челюстью рыба выглядит весьма импозантно. Обитает тарпон в устьях рек и в море у атлантических берегов Америки — от залива Мэн до Бразилии. Питается рыбами и крабами. Откладывает до 12 миллионов икринок! Тарпон знаменит своими виртуозными прыжками. Пойманный на крючок, он выскакивает из воды вертикально вверх на высоту нескольких метров (не однажды зарегистрированный рекорд — 5,5 метра), гулко плюхается в воду и опять прыгает вверх, проносясь над головами прильнувших к лодке рыболовов и над ветвями склонившихся над водой деревьев. Нередко он задевает леской за ветки и обрывает даже очень прочную жилку. Среди рыбаков распространено мнение, что тарпон для того и прыгает над водой, чтобы зацепить леской за дерево и оборвать ее.

бо-грегори на других рыб, ничто больше не говорило здесь о серьезной борьбе или подстерегающей опасности. Напротив, скорее казалось, что вы попали в мир, где безраздельно царят яркие краски и красота. Все тут легко колыхалось вместе с водой из стороны в сторону и, казалось, было отмечено печатью непринужденности и довольства.

Я шел коралловым лесом по прозрачно-голубой аллее, окруженный большой стаей ярко-синих и золотистых молодых луфарей,⁶¹ которые бесстрашно сновали у меня под руками и между ног. Забавы ради я крошил ножом анемоны на мелкие кусочки, и рыбы жадно хватили их прямо из рук, теснясь ко мне ближе и ближе, как вдруг, нагнувшись за очередным анемоном, я инстинктом, шестым чувством, почуял что-то неладное и взглянул вверх: луфари покинули меня и, подобно тому как это сделали рыбы-попугаи несколько минут назад, попрятались в расщелины между коралловыми глыбами. Я стал озираться по сторонам и сначала не увидел ничего особенного, но вскоре заметил вдали ту самую неясную серую тень, которой незадолго перед тем испугались рыбы-попугаи. Набрал в рот воды, я сполоснул стекло шлема, чуть запотевшее от моего дыхания. Тень по-прежнему оставалась тенью, но одно было несомненно: она надвигалась все ближе и ближе, медленно и неторопливо всплывая из синих глубин по узкой подводной долине. Я взглянул на дно шлюпа, качавшегося надо мной на серебристом потолке; воздушный шланг и спасательная веревка кольцами уходили от него в воду. До шлюпа было слишком далеко, чтобы искать в нем спасения: кем бы ни оказалось то существо, оно добралось бы туда быстрее, чем я.

Я сидел не дыша, одной рукой схватившись за морской веер, другую держа на спасательной веревке, в любую секунду готовый к подъему. Серая тень подплыла совсем близко, прошла над долиной и повернула к рифу. Хотя очертания предмета по-прежнему были расплывчаты из-за большого расстояния, я смог наконец разглядеть, что это такое. Это была громадная акула неизвестной мне породы.

Мне вспомнилось предостережение капитана, и я жалко усмехнулся в пустоту шлема. В памяти у меня промелькнуло воспоминание о трупке десятифутовой акулы, найденном мною однажды на побережье Флориды; ее живот был вспорот зубами какого-то невероятно огромного чудовища. Я словно прирос к морскому дну. Акула теперь плыла параллельно гребню рифа. Я был перед ней совершенно незащищен: если бы ей вздумалось напасть на меня, прежде чем я успел бы пустить в ход нож, она сделала бы из меня котлету. Однако акула не обращала на меня ни малейшего внимания. Она прошла от меня на расстоянии двадцати шагов, и я видел, как она вращала глазами, высматривая добычу. Лишь однажды она сделала легкое движение в мою сторону — у меня в это мгновение душа в пятки ушла, — но затем повернула обратно и стала удаляться. Судя по размерам и глубокой впадине у основания хвоста, это была тигровая акула.⁶²

Инагуанец говорил правду: акула достигала по меньшей мере пятнадцати футов в длину. Спина у нее была дымчато-крапчатая, брюхо — жемчужно-белое с нежнейшим розоватым отливом и без единого пятнышка. Я видел, как буграми ходили под кожей ее

⁶¹ Луфарь (*Pomatomus saltatrix*) — хищная, несколько похожая на судака рыба из семейства луфариных (*Pomatomidae*), маленький «тигр» морей: свирепый хищник, врываясь в рыбью стаю, он производит большие опустошения, убивая больше, чем может съесть. Длина взрослых луфарей обычно около 70 сантиметров, но встречаются и более крупные экземпляры длиной до полутора метров. Луфари встречаются во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, у нас обитают в Черном море.

⁶² Тигровая акула (*Galeocerdo cuvier*) принадлежит к семейству *Carcharhinidae* (есть еще кошачья тигровая акула — *Stegostoma tigrinum* из семейства кошачьих акул — *Scyllidae*). Тигровая акула сильный и опасный хищник, бывает длиной до шести метров и весом до семисот килограммов. По другим данным, длина ее достигает десяти метров, а вес — тонны с четвертью. От прочих акул отличается темными поперечными полосами на теле и смещенным вперед спинным плавником, который расположен над грудными плавниками. Рыло у тигровой акулы тупое, пасть широкая, питается она разными рыбами, другими акулами, морскими черепаками и падалью. Обитает у поверхности моря во всех теплых океанах.

огромные мышцы, приводящие в движение хвостовой плавник. Как ни странно, все рыбы, за исключением луфарей, рыб-попугаев и некоторых других крупных рыб, казалось, нисколько не были обеспокоены ее присутствием. Они как ни в чем не бывало продолжали кормиться, а пара очень глупых с виду кузовков⁶³ даже проплыла под самым ее брюхом, очевидно, чувствуя себя в полнейшей безопасности в своих костистых панцирях. Вскоре акула исчезла из виду (впоследствии, во время повторных спусков, я обнаружил, что она постоянно патрулирует вдоль рифа в этом районе, и не менее десяти раз наблюдал ее с поверхности в подводный бинокль), и я, выждав некоторое время и убедившись, что рыбы-попугаи и тангфиши снова вышли на кормежку, поднялся наверх по спасательной веревке.

Инагуанец встретил меня торжествующей улыбкой

— Ну что, не послушались? — сказал он. — Говорили же вам.

На борту шлюпа храбрость вернулась ко мне, и я возразил, что в конце концов акула вела себя по-джентльменски. Я не раз слышал о случаях нападения акул на человека, и, несомненно, эти рассказы были правдивыми, однако из собственного опыта подводных исследований, сначала у Шип-Кея, а затем у барьерного рифа около Инагуа, а также из бесед с другими водолазами я вынес убеждение, что возможность нападения акулы на человека в шлеме или водолажном костюме, ведущего себя спокойно и не делающего резких движений, весьма незначительна. А большинство мелких акул даже боятся странной фигуры водолаза и сторонятся его.

Отдохнув немного, я снова спустился под воду. На этот раз я приземлился на самом краю каньона и спустился на глубину. Я решил не возвращаться больше назад, к отвесной стене, а достигнуть ее основания и обследовать смутно темневшие там скалы. Подводная долина оказалась глубже, чем я предполагал, и давление на ее дне было весьма ощутимым, а волнообразное колыхание воды значительно ослабло; очевидно, действие прибойной волны распространялось не более чем на тридцать футов в глубину. Я испытал огромное облегчение, получив возможность стоять на месте, не опасаясь, что тебя унесет, и хотя давление воды было неприятно и она была немного холоднее, я с интересом стал осматриваться вокруг.

Долина имела такой вид, что казалось, будто ты попал на Марс или на один из лунных кратеров. Все здесь было подернуто сумрачной голубоватой дымкой, и пурпурные тени, перемежаясь с черными провалами подводных пещер, производили впечатление какого-то совершенно иного, неземного мира. Мне очень хотелось войти в какую-нибудь из этих пещер, и я несколько раз приближался к одной из них, пытаюсь заглянуть внутрь, но каждый раз мужество покидало меня, и я отступал назад. Страшно становилось потому, что взор проваливался в пустоту и не находил ничего реально осязаемого, во что бы он мог упереться. Ведь неизвестности всегда боишься больше, чем конкретного. Итак, я отказался от своей затеи под тем предлогом, что у меня нет с собой фонаря; помимо того, у меня совершенно не было охоты вызывать на бой какую-либо разъяренную мурену или другого крупного хищника, который, возможно, скрывался во мраке пещеры. Уже самый вид этой подводной долины был способен умерить мою и без того начавшую таять отвагу. Нигде на свете мы не ощущаем ничтожество нашего человеческого «я» так, как в глубинах океана. Человек чувствует себя там совершенно беспомощным и затерянным.

Долина была примечательна и в том отношении, что служила границей распространения очень многих морских животных: чем выше к поверхности, тем обильней и

⁶³ Кузовки (*Ostraciidae*) — очень странные рыбы: тело их как бы заковано в крепкий панцирь из костных пластин и имеет вид трех- или четырехгранной коробки (у молодых кузовков тело-коробка сферическая). Рыбы могут двигать только кончиком хвоста и рылом и то не во всех направлениях. Рот у кузовков маленький, наделенный мелкими, похожими на долото зубами, брюшных плавников совсем нет. Нет и ребер, а позвонков только четырнадцать. У берегов Вост-Индии обычны два вида кузовков — *Lactophrys trigonum* и *Acanthostracion quadricornis*. Мясо кузовков в некоторых районах моря и в определенные сезоны года бывает ядовитым.

многообразней животный мир; внизу разнообразие компенсировалось размерами. Казалось, рыбы постарше предпочитают более спокойную, приглушенную жизнь глубин блеску и суете, царящим у поверхности. Долина являлась также пределом распространения растительности: ковер трав и водорослей здесь обрывался, так как им нужен для жизни свет, а долина хотя и освещалась, однако весьма слабо и тускло. Тут проходила граница растительной жизни, за которой обитали только животные.

Я никогда раньше не думал, какую важную роль играет освещение и какое унылое впечатление может производить синий цвет. Вверху, на рифе, в синеве воды, насыщенной блеском солнца, чувствовалось что-то живое. Здесь, внизу, в ней было что-то угрюмое и угнетающее. Я совершенно уверен, что если заставить человека постоянно жить при темно-синем освещении, он вскоре бы сошел с ума от тоски.

Как раз посреди долины высился утес, на вершине которого росло небольшое коралловое деревцо. Этот ансамбль до смешного напоминал нелепые подводные замки, которыми аквариумисты-любители украшают аквариумы с золотыми рыбками, и, как и замки, снизу его испещряли резные гроты. В одном из гротов я обнаружил большое скопление тангфишей самых внушительных размеров, какие я когда-либо видел. Во всех книгах по ихтиологии говорится, что тангфиши не бывают длиннее двенадцати дюймов: однако эти были не меньше шестнадцати дюймов, а иные достигали и восемнадцати, если даже сделать максимальную скидку на рефракцию. Они теснились в гроте, буквально как сельди в бочке, и все как один располагались головой к выходу, вследствие чего вся стая имела донельзя смешной вид. Дело в том, что тело этой рыбы чрезвычайно сплюснуто с боков, и если смотреть на нее спереди, она кажется всего-навсего тоненькой вертикальной черточкой. Когда я впервые заметил их, я увидел лишь множество темно-синих палочек, бледных губ и столько же пар золотисто-коричневых глаз. Тангфиши медленно открывали и закрывали рты, словно беззвучно восклицая «о!», и казалось, что они делают это уже целую вечность. Я попробовал вытурить их из грота, но они не двинулись с места, и даже когда я поболтал в пещере ногой, они лишь слегка посторонились, а затем снова сомкнули ряды. Возможно, они забрались в грот для отдыха, но, быть может, тут была и другая причина. Ведь мы так мало знаем повадки обитателей морских глубин.

Спасательная веревка резко натянулась, и я едва устоял на ногах. Оглянувшись, я обнаружил, что она уже разматалась на всю длину, так же как и воздушный шланг. Ориентируясь по ним, я двинулся обратно к рифу. Он смутно мерцал вдали рыжевато-коричневой полоской коралловых деревьев, нависших на краю подводного утеса. В этот момент из чащи массивных стволов выскочила большая стая желтых луфарей; они появлялись шеренга за шеренгой, ряд за рядом и потоком устремлялись в глубину. Достигая края утеса, они множеством светящихся точек вспыхивали на солнце, и казалось, будто целая армия ратников в золотых доспехах спускается в море. Это продолжалось какую-нибудь секунду, затем солнце закрылось облаками, и все вокруг меня погрузилось в унылый синеватый мрак.

Глава XIV В ЗАЩИТУ ОСЬМИНОГОВ

Мне кажется, кто-то должен предпринять реабилитацию осьминогов, подобно тому как Марк Твен сделал это в отношении черта. О них писало множество авторов, начиная с Виктора Гюго и кончая пишущим эти строки, и в большинстве случаев они выставлялись в весьма невыгодном свете. Без всякой вины с их стороны осьминоги пали жертвой пространных и небеспристрастных писаний, где они изображались ужасными, крайне отвратительными существами. Однако еще никто не догадался предоставить слово самим осьминогам или оградить их от поклепа, который на них возвели. Мы вынесли приговор, не выслушав противную сторону, а это весьма пристрастный и несправедливый суд. Я

утверждаю, что осьминоги и их ближайшие родичи кальмары являются чудеснейшими созданиями на свете и заслуживают всяческого уважения, если не восхищения.

Моя личная заинтересованность в осьминогах восходит к тому моменту, когда я решил возвратиться к рифу из подводной долины. Я уже преодолел последний склон и хотел схватиться за желтый обломок скалы, чтобы удержаться на месте, как вдруг заметил на камне холодный черный глаз, который не мигая смотрел на меня. Напрасно я искал веки: казалось, глаз принадлежит самой скале.

Затем я почувствовал, как по спине у меня пробежал холодок. На моих глазах каменный обломок стал таять и оседать, оплывая по сторонам, как оплывает разогревшаяся восковая свеча — иначе я не могу это описать. Я был до того поражен этим феноменом, что не сразу сообразил, свидетелем чего я являюсь.

Так я впервые познакомился с живым, взрослым осьминогом. Он медленно стек с каменного обломка, до того плотно его тело прилипало к камню, и затем так же медленно, слегка расставив щупальца в стороны, проследовал к находившейся поблизости трещине в скале. Голова осьминога была величиною с футбольный мяч, однако когда он достиг расщелины шириной в каких-нибудь четыре дюйма, а то и меньше, голова сплющилась и втиснулась в нее. Осьминог, казалось, был раздражен тем, что я помешал ему, — он весь покрылся желтыми пятнами, затем стал коричневым и наконец мертвенно-бледным. Секунд через двадцать он из белого постепенно стал темно-серым с каштановым оттенком. Я стоял на месте как вкопанный, а затем, видя, что он не предпринимает никаких враждебных действий, осторожно стал пятиться назад. Кто знает, что может взбрести в голову этому субъекту со щупальцами в пять футов длиной?

Возможно, вам покажется, что последняя фраза противоречит всему, что я говорил об осьминогах в начале этой главы, и, признаюсь, именно так я воспринял осьминога вначале. Однако после той встречи я собрал и наблюдал многих представителей этой породы, включая кальмаров, и считаю, что благодаря своему необычному, разностороннему развитию они могут быть поставлены в один ряд с наиболее замечательными обитателями морских глубин. Весьма смысленные, осьминоги выработали особый, одним только им свойственный образ жизни и живут так приблизительно пятьсот миллионов лет.⁶⁴ Их предшественников мы находим уже в кембрийских отложениях палеозойской эры, и у нас имеются веские доказательства того, что когда-то предки современных осьминогов занимали на земле едва ли не господствующее положение. И если бы они сумели преодолеть береговой барьер и выйти из океана на сушу, как это сделали ранние амфибии, происшедшие от рыб, они, вероятно, заселили бы ее бесконечным множеством удивительнейших органических форм.

Головоногие, как называется большая группа сходных с осьминогом моллюсков, весьма близко подошли к уровню умственного развития млекопитающих животных. Есть веские основания полагать, что они — самые умные из всех морских существ, и если бы в процессе эволюции вместо присосок у них образовались пальцы, которыми можно было бы брать различные предметы, жизнь на Земле потекла бы совсем по другому руслу.

Имеется удивительное сходство в развитии мозга у человека и у современных головоногих. Каждому пришлось на свой лад совершенствовать мозговой аппарат, так как в ходе эволюции они остались без действенных физических средств защиты от превратностей природы. Слабый и хилый человек, не имея когтей и клыков для единоборства с дикими животными и не обладая длинными ногами, чтобы спастись от них бегством, был вынужден

⁶⁴ Говоря, что осьминоги существуют на Земле уже приблизительно 500 миллионов лет, Д. Клинджел имеет в виду вообще головоногих моллюсков; к ним принадлежат как осьминоги, так и их вымершие предки — наутилиды и аммониты, которые жили еще в раковинах и по образу жизни напоминали улиток, своих ближайших родичей. Настоящие же осьминоги появились значительно позже: не 500. а всего около 100 миллионов лет назад.

или набираться ума, или погибнуть. Его большой палец, противостоящий остальным пальцам, этот поистине чудесный придаток, давший ему возможность брать в руки предметы и пользоваться инструментами, явился таким мощным стимулом развития интеллекта, с которым не сравнится никакое другое ухищрение природы. Большой палец у человека — это самая замечательная особенность его анатомического строения. Именно ему мы обязаны литературой, музыкой, искусством, философией, религией — всем тем, что называется цивилизацией.

Подобно человеку, головоногие также были брошены в мир голыми и беззащитными, утратив панцирь, которым обладали их предки, ибо головоногие — кровные братья устриц и улиток. Среди современных головоногих раковину сохраняют одни только наутилусы — прямые потомки древних форм, обнаруживаемых в окаменевших горных породах верхнекембрийского периода. Науке известно более трех тысяч ископаемых видов наутилусов — внушительная группа, куда входят крошечные, достигающие всего семи миллиметров в длину циртоцерасы и огромные, четырнадцатифутовые конические эндоцерасы! И от всего этого панцирного воинства до нас дошли только четыре состоящих в тесном родстве вида, обитающие в южной части Тихого океана.

Утрату раковин, служивших им надежной защитой от врага, головоногие, подобно человеку, возместили развитием мозга. Из всех моллюсков у них одних крупные ганглии центральной нервной системы достигли такого совершенства, что могут считаться настоящим мозгом. Сбросив с себя скорлупу, они обрели свободу, выиграли в скорости и подвижности.

Безопасность зачастую ведет к вырождению. Весьма любопытно, что моллюски, обладающие панцирем, очень хорошо защищены от внешних опасностей, но благодаря этому влачат весьма жалкое существование. Например, что может быть безопаснее, неподвижнее и глупее, чем жизнь устрицы в ее известковом домике? Утрата скорлупы спасла головоногих не только от подобного прозябания, но и, возможно, от полного вымирания. Самые красивые из головоногих всех времен, изящно украшенные завитками аммониты, получившие это название благодаря сходству с закрученными, как барана, рогами древнего божества Юпитера-Аммона, достигли расцвета в течение верхнесилурийского периода, продержались вплоть до конца эпохи рептилий и вымерли оттого, что не смогли приспособиться к изменившимся условиям из-за громоздкости своей архитектоники и большого количества септ. Некоторые из этих фантастических аммонитов (нам известно до шести тысяч их видов) обладали спирально закрученными раковинами диаметром более чем шесть футов!

Слово «головоногие», научное наименование осьминогов и кальмаров, характеризует их как в высшей степени необычайные существа, которые ходят на своей голове, и они полностью оправдывают свое название так как «ноги», или щупальца, расположены у них между глазами и ртом. Больше ни одно животное на свете не обладает такой особенностью расположения органов передвижения.

Однако поразительнее всего то, насколько совершенны движения этих фантастических существ во время плавания, когда они приобретают красиво обтекаемую форму и передвигаются удивительно быстро. В этой связи мне вспоминается одна моя вылазка в море на рыболовном траулере у мыса Виргиния. Я сидел в темноте на палубе, глядя на звезды и тихо качаясь в ритм движению судна, как вдруг мое внимание привлекли частые, следующие один за другим всплески в море, несколько напоминавшие шлепающий звук, производимый летучими рыбами при падении в воду. Однако мне было хорошо известно, что так далеко на север летучие рыбы не заходят, и я спустился вниз за электрическим фонариком. Когда его луч прорезал темноту и осветил гребни волн, я увидел, что мы проходим сквозь большой косяк мелких рыб, за которыми охотятся кальмары.

Кальмары сновали в воде с невероятной быстротой, однако поразительнее всего был самый способ охоты: кальмары целыми группами плыли в одном направлении, бросались на массу рыб, быстро хватили и кусали их, а затем окончательно разделялись со своими

охваченными паникой жертвами. Иные из кальмаров двигались столь стремительно, что, оказавшись слишком близко к поверхности, выскакивали из воды и, пролетев несколько ярдов по воздуху, с легким всплеском падали обратно в воду. Утром я нашел на палубе нескольких кальмаров — они случайно попали туда, подпрыгнув в высоту по меньшей мере на шесть футов! Мало того, у побережья Бразилии стая кальмаров залетела на палубу корабля, возвышавшуюся на двенадцать футов над водой, да к тому же защищенную высокими перилами, так что высота прыжка составляла по крайней мере пятнадцать футов! Десятки их были сброшены с палубы, когда наступил день.

Головоногих, особенно кальмаров, можно назвать живыми авторучками или спринцовками, так как они плавают, засасывая воду в полость тела и с силой выталкивая ее обратно. Сходство с авторучкой становится полным, если вспомнить, что у некоторых головоногих есть и чернила и перо. И это еще не все, ибо природа, не довольствуясь сосредоточением всех этих чудес в одном существе, предписала им плавать задом наперед, хотя они могут плавать и головой вперед, как все морские животные, и даже боком!

Перо этих подвижных авторучек — рудиментарный остаток раковины, которой обладали их предки, жившие в доисторические времена; подобно червеобразному отростку слепой кишки у человека, он сохраняется у них как ненужное, но непреложное свидетельство давно минувших эпох их развития.

Перо, существующее у осьминогов в виде двух хитиновых палочек, а у кальмаров в виде узкого длинного рифленого пера, точь-в-точь напоминающего перья, которые в старину носили на шляпах, запрятано глубоко внутри тела животного. В этом смысле осьминогов и кальмаров можно назвать моллюсками, у которых не раковина окружает тело, а тело окружает раковину. Что касается чернил, то здесь мы сталкиваемся с настоящим парадоксом. Эти чернила используются животным для двух диаметрально противоположных целей: с одной стороны, для маскировки от врага, с другой стороны, для поддержания связи со своими собратьями.

При угрозе нападения эти чернила выбрасываются в воду наподобие дымовой завесы, под прикрытием которой животное спасается бегством. Как видим, это средство маскировки, широко используемое на войне, было открыто головоногими уже в юрском периоде, об этом говорят прекрасно сохранившиеся ископаемые отпечатки, относящиеся к той эпохе. И тем не менее, когда на море спускается ночь и его синие глубины наполняются непроницаемой мглой, при помощи этих же самых чернил плывущие стаей кальмары поддерживают связь друг с другом. Полагают, что чернила в ничтожных количествах выбрасываются животными в воду и их запах улавливается необычайно чувствительными органами обоняния. У осьминогов, отличающихся более замкнутым нравом, самки и самцы таким образом находят друг друга.

Я и не подозревал об удивительных свойствах этой чернильной жидкости до моей третьей или четвертой встречи с осьминогами на коралловом рифе Инагуа. Я ежедневно спускался под воду в одном и том же месте и почти всегда заканчивал свою подводную вылазку, длившуюся обычно около получаса, прогулкой в дальний конец долины — насколько хватало длины воздушного шланга. Во время этих экскурсий я часто встречал осьминогов, как правило, гораздо меньших, чем тот, которого увидел в первый раз. Они жили в расщелинах скал, у основания рифа, и зачастую я обнаруживал их лишь по судорожно подергивавшимся и извивавшимся щупальцам, которые высывались из трещин. Некоторых выдавали аккуратные горки раковин мидий, насыпанные перед входами в их убежища. Иные из раковин, к моему удивлению, были совершенно целы; очевидно, они откладывались про запас, на тот случай, если вдруг разыграется аппетит. Весьма примечательно, что в сколько-нибудь значительных количествах мидий можно было найти лишь непосредственно в полосе прибоя; вероятно, это объясняется тем, что их колонии в других, более спокойных, местах беспрестанно опустошались осьминогами. В порядке самозащиты мидии выбрали себе единственное место, где можно было жить спокойно, и этим местом оказалась самая беспокойная часть прибрежных вод. Спасаясь от одной

опасности, они подвергали себя другой: опасности погибнуть от воздуха.

Большинство из осьминогов были чрезвычайно пугливы и при моем приближении спешили забиться в свои расщелины — реакция, полностью опровергающая ходячие небылицы о свирепости и злобе этих животных. Я несколько раз пытался поймать некрупного осьминога, но они были слишком проворны. Что до большого осьминога, жившего на склоне долины, то хотя он как будто был не робкого десятка, при каждой встрече со мною заползал в свою щель, в которой не умещался целиком, так что наружу высывалась часть тела и беспокойно шевелящиеся щупальца. На первых порах я оставлял его в покое, но в конце концов, заинтересованный переменчивостью его окраски, вплотную подступил к нему.

Мне всегда казалось, что мое присутствие раздражает осьминога. Вполне возможно, что его нервозность объяснялась страхом — ведь он никогда не напускал на себя воинственного вида и постоянно проходил сквозь целую гамму чудесных цветовых превращений. Особенно горазд он был краснеть. Ни одна школьница в пору своей первой любви не краснела столь часто и внезапно, как этот осьминог. Наиболее обычными расцветками у него были кремово-белая, вандейковская крапчато-коричневая, каштановая, иссиня-серая и наконец светлая ультрамариновая, почти под цвет морской воды. В возбужденном состоянии он становился мертвенно-бледным, что, по моему мнению, являлось у него признаком страха. Меняя окраску, он иногда покрывался полосами; так, несколько раз он щеголял широкими каштановыми и кремовыми полосами, один или два раза — волнистыми бледно-лиловыми и густо-розовыми линиями. В его расцветку входили даже красные и пурпурные пятна, хотя эти кричащие вариации отличались быстротечностью.

Я слышал, что уже при легком прикосновении к осьминогу он резко изменяет свой цвет, и горел нетерпением проверить это на практике. Захватив с собою длинную палку, я спустился на дно. Осьминог сидел на своем месте, и, приблизившись к нему с палкой в руке, я в последний момент заколебался. Животное вело себя настолько хорошо, что я совсем было хотел отказаться от своей затеи, но в конце концов любопытство взяло верх, и я, осторожно поднеся к нему палку, тихонько погладил его вдоль тела.

События не заставили себя ждать. Палка была вырвана у меня из рук и стремительно взвилась вверх. Осьминог выскочил из расщелины и выпустил огромное облако фиолетового цвета. Я на мгновение увидел, как он проплыл мимо, гладкий и вытянутый в длину, затем меня окружил светонепроницаемый туман, напоминавший густой дым, висящий в сухом воздухе. Я до того растерялся и испугался, что думал лишь о том, как бы поскорее унести ноги. Под шлем пробился слабый, ни на что не похожий запах: мускус с рыбным привкусом — вот приблизительное определение, которое я могу ему дать. Однако более всего меня интересовал цвет облака, ибо я всегда почему-то думал, что чернила у головоногих — черного цвета. На самом же деле вначале они были темно-пурпурными, а затем приобрели тусклый лазурный оттенок. Помню также, что, когда облако уже порядком разрядилось, я увидел смутные красные снопы света, лучи которого падали сверху под косым углом. Облако растеклось на пространстве в несколько ярдов и стало едва заметно относиться течением. Прошло немало времени, прежде чем оно полностью рассосалось в неподвижной воде.

Несколько дней спустя я поймал сетью детеныша осьминога, который прятался в водорослях, росших в нескольких футах от берега, в том месте, где риф кончался, переходя в мелководье. Я поселил малютку — он был не более восьми дюймов в поперечнике, считая распластанные щупальца, — в луже возле моего старого дома, постоянно пополнявшейся водой во время прилива, и продержал его там несколько дней. Он быстро освоился на новом месте и не делал никаких попыток к бегству, зато мелким крабам и рыбам, делившим с ним лужу, пришлось очень туго. Он питался в основном крабами, за которыми охотился, осторожно подкрадываясь к добыче или терпеливо выжидая в засаде, когда жертва приблизится к нему. Терпение, по-видимому, было его основным достоинством, и, к моему

негодованию, он мог часами сидеть неподвижно, глядя на мелькающие в воде живые существа. Крабов он ловил с необычайной сноровкой, облюбовав себе место, откуда можно контролировать целый угол лужи.

Цвет скал здесь был кремово-коричневый, и тот же оттенок принимал осьминог, ожидая в засаде жертву. Он мог как угодно менять свою окраску и дал бы сто очков вперед хамелеону с его жалким дилетантством. Механика этого явления очень сложна и обусловлена расширением и сокращением так называемых пигментных клеток, или хроматофоров, расположенных в верхних слоях кожи осьминога, а также наличием другого рода клеток, способных отражать световые лучи; эти клетки желтого цвета и светятся странным радужным блеском, слегка напоминающим мерцание жемчуга. Хроматофоры, представляющие собой палитру самых разнообразных красок, могут открываться и закрываться произвольно, окрашивая тело осьминога в какой-либо один цвет или сразу во все цвета радуги. Они приводятся в действие высоко чувствительными нервами, связанными с мозгом и глазами животного. Выбор той или иной окраски зависит главным образом от глаза, хотя немалую роль здесь играет и эмоция. От испуга осьминог обыкновенно бледнеет или окрашивается в светлые тона, от раздражения — темнеет. Ни одно другое существо на свете неспособно так быстро менять свою окраску, как осьминог. Человек краснеет от гнева, бледнеет от боли и страха. Но он не может произвольно изменить цвет своей руки так, чтобы, например, она стала зеленой в желтую полоску либо просто желтой или коричневой, не говоря уже о бледно-лиловом и ультрамариновом цветах. Художник может нарисовать картину, вот только осьминог может расцветить тело всеми оттенками своих эмоций или в точности воспроизвести окраску морского дна. Лишь существо, обладающее развитым мозгом и предельно слаженной нервной системой, способно на такое чудо механики — одновременно сокращать и расширять несколько тысяч клеток в строго определенном порядке.

Помимо этого, головоногие отличаются еще и тем, что из всех животных, обладающих собственным свечением, они дают наиболее яркий свет. Это свойственно многим видам глубоководных кальмаров⁶⁵, которые люминесцируют гораздо интенсивнее светлячков. Световые органы располагаются у них по всему телу, а иной раз даже запрятаны глубоко внутрь! Последнее свойственно лишь кальмарам с совершенно прозрачным телом, свободно пропускающим свет. Строение этих световых органов весьма различно: в одних случаях это просто воронки, наполненные светящейся жидкостью, в других — сложные образования с линзами и отражательными зеркалами, роль которых играют особые ткани. Нам до сих пор почти ничего не известно об этой особенности глубоководных осьминогов и кальмаров, за исключением того, что немногие пойманные экземпляры ярко светились в течение нескольких часов. Надо полагать, в будущем, когда человек изобретет средства удобной и безопасной доставки исследователей в глубины океана, мы сможем узнать больше об этих удивительных существах.

Мой малютка осьминог ждал в засаде, пока краб подойдет поближе. Тогда он либо набрасывался на краба и душил его своими игрушечными щупальцами, либо быстро выбрасывал щупальца и хватал свой обед прежде чем жертва успевала опомниться. Он почти не знал промаха, а если и промахивался, то пускался в погоню и настигал добычу, не давая

⁶⁵ Светящиеся органы есть не только у глубоководных кальмаров, но и у многих каракатиц, обитающих в поверхностных слоях моря. Всего известно более ста видов светящихся кальмаров (приблизительно 60 процентов от общего количества видов кальмаров) и 27 видов светящихся каракатиц (12 процентов от общего числа всех известных науке каракатиц). Мицетома — особые капсулы со светящейся слизью, в которых живут производящие свет бактерии, имеются только у каракатиц, точнее, у представителей подотряда *Myopsida*, объединяющего каракатиц и близких к ним по анатомическим признакам кальмарообразных моллюсков — роды *Lolige*, *Heteroteuthis* и др. У кальмаров развиты фотофоры — сложные светящиеся образования, снабженные целой системой оптических приспособлений, напоминающие своим устройством миниатюрные автомобильные фары.

ей далеко уйти. Не прошло и суток, как дно лужи было сплошь усеяно пустыми панцирями крабов. Примечательно, что осьминог всегда начинал поедать краба снизу, прокусив его мягкое брюшко своим маленьким клювом, весьма напоминавшим клюв попугая, и выскабливал содержимое шершавым языком; ноги краба отрывались и почти всегда выбрасывались. Эти трапезы редко совершались в дневное время, и однажды в полдень я даже видел, как по расслабленным щупальцам осьминога прополз краб, не подозревавший, какой опасности он подвергается. Вечером же, особенно перед заходом, солнца, осьминог хватал все, что только можно было схватить.

С рыбами дело обстояло сложнее; я не раз наблюдал его попытки поймать рыбу, но лишь одна из них увенчалась успехом. Жертвой оказался маленький бычок, имевший неосторожность расположиться для отдыха всего в нескольких дюймах от облюбованного осьминогом уголка. Подобно крабу, он был оплетен массой гибких щупальцев и погиб. Как правило, если осьминог успел присосаться к рыбе своими присосками ей уже не спастись, ибо эти присоски действуют гораздо эффективнее когтей или зубов и уступают лишь человеческой руке с ее большим пальцем.

Ощущение, которое испытываешь, когда присоски прилипают к коже, весьма своеобразно и отнюдь не неприятно. Я неоднократно брал в руки маленьких осьминогов, и при этом мне казалось, будто множество мокрых цепких пальчиков пощипывает меня за кожу. Цепкость присосок поразительна. Моего малютку осьминога невозможно было снять с руки, и даже когда я отвел все его щупальца, кроме одного, мне пришлось приложить значительное усилие, чтобы окончательно отлепить его. В иных случаях щупальца разрывались, прежде чем присоски ослабляли свою хватку. Присоски действуют по тому же принципу, что и маленькие резиновые чашечки, при помощи которых мы прикрепляем безделушки к ветровому стеклу автомобиля. Присоска, имеющая вид чашечки, плотно прижимается краями к предмету, затем ее центральная часть отходит от поверхности, создавая разрежение.

Присоски легко скользят из стороны в сторону по поверхности захваченного предмета, однако оказывают значительное сопротивление, когда усилие прилагается в вертикальном направлении. У осьминогов присоски расположены на невысоких бугорках, у кальмаров они более подвижны и расположены на особых стебельках. У гигантских кальмаров края присосок даже снабжены мелкими зубами; известны случаи, когда китобои обнаруживали на головах выловленных китов множество кольцеобразных шрамов, полученных ими в битвах с этими океанскими колоссами. Некоторые из шрамов были более двух дюймов в диаметре. Насколько огромны должны быть обладатели таких присосок!

Каких размеров достигают кальмары и осьминоги? В Северной Атлантике был пойман кальмар общей длиной пятьдесят два фута, из которых тридцать два приходилось на щупальца и семнадцать — на цилиндрическое тело, окружность которого составляла двенадцать футов. Глаз этого сказочного животного имел семь дюймов в ширину и девять в длину — самый большой зрительный орган из всех, созданных природой. Диаметр присоски равнялся двум и одной четверти дюйма. Кольцеобразные шрамы у некоторых китов превышают эти размеры, поэтому есть все основания заключить о существовании в бездонных глубинах Северной Атлантики еще более крупных кальмаров — в шестьдесят, а то и в семьдесят футов длиной. Тем не менее огромные кашалоты охотятся за кальмарами и разрывают их на куски своими длинными острыми зубами. Фрэнк Буллен дает яркое описание схватки кашалота с кальмаром в своем классическом, снискавшем всеобщую популярность «Путешествии кашалота».

«Было около одиннадцати часов вечера, — пишет он. — Я стоял, опершись на поручни, и не отрываясь глядел на блестящую поверхность моря, как вдруг справа, там, где по воде протянулась лунная дорожка, море бурно заволновалось; памятуя о том, в каких широтах мы находимся, я хотел было поднять по тревоге экипаж, ибо мне часто приходилось слышать о вулканических островах, внезапно вырастающих из глубин океана и столь же быстро исчезающих. Я был очень обеспокоен происходящим. Не заходя в каюту, я достал через люк

ночной бинокль, висевший на стене в постоянной готовности, и, направив его на возмущенный участок моря, уже после беглого осмотра с удовлетворением убедился, что все обстоит не так серьезно, как я думал вначале; тем не менее море сотрясало с такой силой, что я имел все основания заключить о начавшемся извержении вулкана или землетрясении. На самом же деле я был свидетелем смертельной схватки огромного кашалота с кальмаром, не уступавшим ему по величине. Громадное тело кита было сплошь оплетено бесчисленными щупальцами головоногого, а его голова и вовсе казалась одним большим клубком извивающихся змей: кашалот, схватив моллюска зубами за хвостовую часть, деловито и методично вгрызался в него. Рядом с черной цилиндрической головой кашалота виднелась голова огромного кальмара — страшилища, какого не увидишь и в самом жутком кошмаре. Размерами он был с одну из наших бочек вместительностью по триста пятьдесят галлонов каждая, а может быть, и того больше. Замечательнее всего были его огромные черные глаза, выделявшиеся на мертвенной бледности головы и поражавшие своим выражением. Они имели по меньшей мере фут в поперечнике и смотрели невыразимо жутким и загадочным взором.

Вокруг борющихся чудищ, как шакалы вокруг льва, сновали бесчисленные акулы, рвавшиеся разделить трапезу с кашалотом и, по-видимому, помогавшие ему разделаться с огромным головоногом».

К сожалению, Буллен ничего не говорит о том, чем кончилась эта схватка, однако можно не сомневаться, что победителем оказался кашалот, питающийся исключительно кальмарами.

Что касается свирепости и кровожадности, в которых так часто обвиняют осьминогов, на это можно возразить, что они живут в подводном мире, где господствуют примитивные инстинкты и где поневоле приходится следовать моде, для того чтобы выжить. Несомненно, что разъяренный осьминог представляет собой весьма грозного противника, однако в действительности осьминоги и кальмары настолько редко нападают на людей в воде, что такими случаями можно пренебречь, несмотря на обширную литературу, доказывающую обратное. Их «свирепость» проявляется главным образом там, где дело идет о добывании пищи, и в этом нет ничего удивительного.

Щупальца осьминогов имеют и другое, совершенно удивительное предназначение: при помощи своих «рук» эти в высшей степени необычные существа воспроизводят самих себя. «Руки», осуществляющие эту функцию, называются гектокотилиями, что значит рука, состоящая из ста присосок. Это название было ошибочно предложено Кювье, впрочем, с самыми добросовестными намерениями. Когда оторванная часть такой руки была впервые обнаружена под мантией самки осьминога аргонавта, она была принята за новый вид паразитического червя, который назвали гектокотилем; ошибка была обнаружена лишь в результате дальнейших исследований, предпринятых с целью выяснить способ размножения аргонавта. Оказалось, что в брачный период рука самца вытягивается в длину и приобретает вид червеобразного жгута; внутри жгута содержатся сперматофоры. При спаривании самка и самец тесно переплетаются щупальцами, а когда размыкают свои фантастические объятия, конец жгута остается под мантией самки и находится там до тех пор, пока яйца не созреют. По мере выхода яиц они оплодотворяются спермой. Вместо оторванного щупальца у самца вырастает новое, и так может повторяться много раз подряд.

У некоторых пород осьминогов гектокотилизированная рука не отделяется, а, будучи особым образом видоизменена, помещает сперматофоры под мантию самки вблизи яйцевода. Сперматофор сам по себе является удивительнейшим приспособлением в этом сложном процессе оплодотворения. Это длинный трубчатый сосуд, наполненный спермой, снабженный специальным органом для ее извержения, а также особой железой для прикрепления ее к мантии самки. Им можно пользоваться по желанию, благодаря чему самка может не торопиться с кладкой яиц, выжидая благоприятных условий. У других видов осьминогов самец достает сперматофор у себя из-под мантии и кладет его под мантию самки или на особую перепонку вокруг ее рта, на которой происходит оплодотворение яиц.

Некоторые из головоногих отличаются весьма развитым материнским чувством. Самка наиболее распространенного вида осьминога (*Octopus vulgaris*), помещенная в аквариум, зорко охраняла яйца, прикрепленные к каменной стене, и поддерживала постоянную циркуляцию воды вокруг них, чтобы обезопасить их от заражения паразитами и обеспечить приток кислорода. Она отлучалась лишь для кормежки, и то ненадолго, хотя инкубация длилась значительное время. В своем неистовом попечительстве она набросилась на другого осьминога, жившего в том же аквариуме и слишком часто приближавшегося к ее посту, и убила его.

Материнским чувством объясняется и другая поистине парадоксальная особенность некоторых видов головоногих. Так, самки аргонавтов постоянно носят на себе красивую, завивающуюся спиралью раковину. На первый взгляд, это явно противоречит характеристике современных головоногих как моллюсков, сбросивших раковины. На самом же деле раковина у аргонавтов — это не настоящая раковина, а всего лишь очень прочное лукошко для яиц. Аргонавты ни в коей мере не привязаны к своей скорлупе и могут оставить ее, когда им вздумается, что они и делают в определенных условиях. Никакие другие моллюски не обладают подобным снаряжением. Представьте себе устрицу, которая раскрыла бы створки своего домика и пошла немного «проветриться»! Раковина удерживается в своем положении двумя специально приспособленными для этой цели щупальцами. Она имеется только у самок, которые наращивают ее не при помощи мантии, подобно другим моллюскам, а при помощи двух своих видоизмененных щупалец, снабженных широкими перепончатыми дисками. Рождаются они без всяких следов раковины и начинают сооружать ее, лишь достигнув недельного или двухнедельного возраста. В несогласии с естественной историей Аристотеля, аргонавты не плавают по волнам наподобие корабликов, сложив парусом «руки», как ошибочно полагал этот великий философ и неутомимый естествоиспытатель древности, а ползают по морскому дну или передвигаются в воде при помощи своих сифонов, подобно прочим головоногим. Взрослое поколение аргонавтов вынуждено расплачиваться за то, что их яйца хорошо защищены раковинной: аргонавты не обладают подвижностью других головоногих, и, по-видимому, они самые медлительные из всех головоногих.

Ничто на поверхности моря у побережья Инагуа не говорит о присутствии в нем осьминогов, крошечных кальмаров, укрывающихся в массах разросшихся саргассовых водорослей, непрестанно переносимых с места на место течением, и более крупных, устрашающего вида кальмаров, небольшими группами плавающих в воде. Не сразу обнаружит их и водолаз. В отличие от рыб, живущих в районе рифа, они — ночные животные. В светлое время они неподвижно сидят в расщелинах, в своих коралловых домах или неподвижно висят между дном и поверхностью моря, вытаращив свои круглые глаза и терпеливо дожидаясь, когда солнце наконец зайдет и через синюю глубину долины протянутся смутные тени. Тогда они выползут из своих укрытий и заскользят по коралловым глыбам или живыми стрелами понесутся в зеленой воде, набрасываясь на добычу и делая все те удивительные вещи, которые выпадают на долю головоногих.

Всякий раз, когда я вспоминаю о большом барьерном рифе у побережья Инагуа, перед моими глазами всплывает сказочная картина самого рифа и его пастельные краски, а затем я вижу осьминога подводной долины с его резиновым телом и до жути неподвижным глазом.

Ярче любых других обитателей моря осьминоги выражают дух рифа: нереальные сами по себе, фантастические и неправдоподобные, они как нельзя более на месте в этом мире, где общепринятые понятия уничтожаются, где животные прикидываются растениями, а черви красивы, где растут хрупкие каменные деревья, где крабы притворяются тем, чем они не являются на самом деле, где цветы пожирают рыб, а рыбы маскируются под цвет песка и скал и где опасность рядится в самые невинные и красочные обличья. Их приверженность к мрачным и тенистым местам — последняя, заключительная черта их характера. В природе они занимают место, на которое не может претендовать никто другой, и они приспособились к нему в совершенстве.

Глава XV ЧУДО ПРИЛИВОВ

Жизнь, если рассматривать ее в широком смысле, — это постоянная смена приливов и отливов. Они являются неизменной чертой всего существующего. Подъем и упадок наций, угар побед и горечь поражений расцвет и гибель культур — таковы приливы и отливы в жизни человеческого общества. Мрачное средневековье сменилось эпохой Возрождения, но это лишь два последовательных проявления одного энергетического потока. Только время неизменно бежит в одном направлении, оставляя после себя следы подъемов и падений, приливов и отливов.

Геологические эры дают щедрые доказательства того, что жизнь течет именно таким пульсирующим потоком. Ее волны разбиваются о берега вечности. Об этом свидетельствуют остатки вымерших динозавров и амфибий, окаменелые отпечатки панцирных рыб и миллионы погибших в незапамятные времена трилобитов.⁶⁶ Даже жизнь каждого существа в отдельности — это всего лишь та же смена приливов и отливов в миниатюре. Рождение, рост, зрелость, упадок и гибель — вот последовательные ступени этого процесса.

Меня всегда интересовало происхождение культа Селены, богини луны, который встречается уже в самых древних религиях. Не лежит ли в его основе безотчетное осознание того, что луна управляет непрерывным движением океанских вод. Связь фаз луны с падением и подъемом уровня воды в лагунах и заливах не могла ускользнуть от внимательного взгляда древнего человека, который был очень зорким наблюдателем природы. Культ луны зародился в доисторические времена. Нынешние отсталые племена, даже еще не имеющие своей письменности, прекрасно сознают связь приливов с луной и делают из этого практические выводы для своей повседневной жизни.

Для людей, знающих море и обладающих хоть каплей воображения, прилив — всегда важное и впечатляющее событие. Ход времени замечен только с большого расстояния, приливы и отливы на море легко ощутимы в каждый данный момент. Возможно, непреложность, с какой они повторяются, и есть одна из причин, почему они оказывают на нас столь сильное впечатление, но мне кажется, что наш эмоциональный отклик на это явление имеет и более глубокие корни. Ведь у человеческого зародыша есть рудиментарные зачатки жабр, и это красноречиво свидетельствует о том, что наши весьма отдаленные предки, снабженные хвостом и плавником, изо всех сил боролись с могучею силой приливов и отливов. Впрочем, читатель едва ли поймет мои чувства, если ему не приходилось стоять на палубе океанского парохода, опершись на поручни, и наблюдать за водоворотами и кружением теснимою приливом воды у руля. Тот, кто это видел, знает, насколько волнующее зрелище представляет собою прилив.

Сидя за пишущей машинкой, вдали от движущихся масс океанских вод, трудно воспроизвести и запечатлеть на бумаге те чувства, которые вызывает прилив. Это было бы гораздо легче, если б он бушевал и ревел, как прибой. Но в том-то и дело, что приливы беззвучны. Услышать прилив нельзя, разве только самое чуткое ухо уловит легкое журчание воды, когда она обтекает нос или руль корабля. Прилив нельзя ни понюхать, ни потрогать. Казалось бы, его легче всего увидеть, но мы его скорее чувствуем, чем постигаем органами зрения. Уже сама масштабность этого явления затрудняет наше восприятие его. В моем воображении возникают залитые солнцем песчаные отмели, где ползают маленькие крабы и лежат перевернутые лодки; я вижу груды водорослей, нанесенных к устью реки, или

⁶⁶ Трилобиты — когда-то очень распространенные в морях и океанах, близкие к ракам членистоногие животные. В то же время трилобиты сохранили много примитивных черт своих предков — многощетинковых червей. Известно свыше двух тысяч видов трилобитов, все они вымерли в конце палеозойской эры, приблизительно 200 миллионов лет назад.

кружение воды вокруг буя и говорю: «Это прилив». Но это не прилив, а лишь его незначительные внешние проявления. Прилив в целом — грозное пробуждение, мощный вздох Мирового океана, чудовищная волна, перекатывающаяся вокруг Земли от одного полюса к другому. Это вздымающийся гигант с миллионами пальцев, которые он протягивает ко всем впадинам земного шара, чтобы в положенное время убрать их. Приливы — это пульсация нашей планеты, и лучше всех это поняли норвежцы: по существующей у них легенде приливы возникают потому, что дышит змей Йормунгандер, чудовище, опоясывающее земной шар и держащее хвост во рту, так как для хвоста не хватило места:

*Он бьет хвостом, и воды моря
Горою движутся на сушу.*

Прилив разбил мой парусник у берегов Инагуа в тот момент, когда я думал, что все опасности остались позади; и приливу же я обязан одним из самых интересных дней, проведенных мною на острове. Неподалеку от Метьютауна, с южной стороны и в направлении к Наветренному проходу, береговая линия делает последний поворот, прежде чем слиться с длинной намывной косой, что тянется к пустынным, застывшим дюнам наветренной стороны острова. У крайней точки поворота береговые скалы исчезают и появляются нескончаемые дуги барьерного рифа, тянущегося до самого горизонта. Здесь дважды в сутки можно наблюдать прилив максимальной силы; дело в том, что в этом месте сталкиваются, образуя течения и контртечения, огромные массы воды из бесконечных просторов Атлантического океана и бурлящих недр Карибского моря. Даже когда все побережье безмятежно спокойно, поверхность воды здесь покрыта пеной и перекрывающимися друг друга волнами. Здесь встречаются восток и запад, и течения сносят сюда обломки кораблекрушений, чтобы похоронить их в синей бездне или выбросить на высокий белый берег, уже заваленный остатками сотен морских трагедий.

Это место показалось мне соблазнительным для подводной экскурсии, и я притащил тяжелый шлем со шлангом и спасательной веревкой на небольшой уступ у самой воды. Вместо того чтобы нырять с лодки, я решил опуститься в глубину с берега, испытать все ощущения перехода с суши на дно океана и попутно обследовать подводную часть береговых скал.

Я выбрал место, где скалы расступались, и в берег вдавался длинный язык воды — спуск здесь можно было осуществить, не принимая на себя всю тяжесть ударов прибоя. К тому же склоны подводного откоса были устланы водорослями и более или менее свободны от вездесущих морских ежей.

С невероятным трудом я надел и укрепил на плечах восьмидесятифунтовый шлем, едва держась на ногах под этой тяжестью. Мальчик, которого я нанял себе в качестве помощника, стал к воздушному насосу, и я, шатаясь как пьяный, нащупывая ногой путь, начал спускаться по ковру водорослей. Пена вскипала вокруг моих лодыжек, потом поднялась выше колен. Еще секунда — и я погрузился по плечи, невыносимая тяжесть исчезла, ноги снова стали слушаться меня. Войдя в воду до уровня глаз, я на минуту задержался на месте. Мне захотелось насладиться необычным зрелищем мира, разделенного пополам. Особенно большое впечатление производила категоричность этого деления: наверху воздух и солнечный свет, знакомые картины, цветы, облака; внизу — странный синий космос нагроможденных камней, где снуют смутные тени и пляшут пузырьки воздуха.

Для многих живых существ поверхность воды — такой же непроницаемый барьер, как и металл, а ведь это пропускающая свет, хотя и непрозрачная, какой она кажется снизу, пленка. С верхней стороны она была покрыта слоем желтой пыльцы, принесенной с прибрежных кустов, и крылатыми семенами. Помимо того, я обнаружил на поверхности мертвых жуков, обрывки крыльев бабочек и надкрылья насекомых. Для обитателей суши поверхность океана — смерть и гибель. Однако чуть ниже картина совершенно меняется. Здесь как бы питомник для океанского молодняка, ибо с нижней стороны к этому

блестящему потолку налипла целая орда только что появившихся на свет существ: крохотные рыбки не более четверти дюйма длиной, прозрачные, как стекло, и беспомощные, как увлекаемый течением планктон; микроскопические ракообразные, отсвечивающие всеми цветами радуги; сферические шары яиц пелагических организмов с длинными нитями и темными пятнами ядер; пульсирующие, студенистые ктенофоры⁶⁷ величиной с каплю, только что оторвавшиеся от своих похожих на цветок родителей; мириады других живых существ, слишком маленьких, чтобы разглядеть их невооруженным глазом; об их присутствии говорили точечные вспышки отраженного солнечного света. Этот последний ярд перед поверхностью в самом деле представлял собой детские ясли для обитателей океана.

Я ступил дальше и попал в полосу вскипающей пузырьками пены. Пузырьки швыряло во все стороны, мне пришлось ухватиться за выступ скалы, чтобы меня не бросило на отвесную каменную стену. Волны отступили и нахлынули вновь; я должен был цепко, всеми пальцами ног и рук, держаться за скалу наподобие краба-грапсуса. Шесть раз я приседал под ударами волн, пока наступила передышка и я смог осторожно опуститься вниз, на следующий уступ, расположенный на глубине восьми-девяти футов. Я едва успел приземлиться, как нахлынул седьмой вал, и мне оставалось только упасть на колени, чтобы покрепче ухватиться за скалу. Новое затишье — и я снова прыгнул вниз, задержался на мгновение на круглой шапке коралла, а затем сделал последний семимильный шаг и приземлился на глубине тридцати футов на ровной песчаной площадке у основания каменной платформы, на которой покоится Инагуа.

Переведя дыхание, я огляделся. Гладкая равнина, покрытая ослепительно белым песком, уходила в открытое море, слегка наклоняясь вниз, прежде чем совершенно скрыться из виду. Направо хаотически громоздились обломки скал, оторгнутые какой-то грозной силой от юго-западной береговой стены. Слева подобная же, но меньшая груда камней, сброшенных в лазурные глубины. Обе груды испещрены рубцами, шрамами и увешаны целыми гирляндами живых существ. Длинные нити тончайших кружевных водорослей то беспомощно свисали, то, подхваченные приближающейся волной, сначала слегка приподнимались, а потом взлетали вверх над своим каменным ложем.

Взглянув снизу, со дна, на поверхность, я обнаружил, что двигается не вся толща воды, а только волна. Основная масса голубой жидкости лишь чуть подавалась вперед и тотчас же возвращалась в исходное положение. Я убедился в этом, наблюдая за разными обломками, дрейфующими у самого водного потолка. Только на протяжении последних нескольких ярдов у берега волны всей своей массой накатывали на утесы. В открытом море волны шли непрерывно одна за другой; их сила как бы передавалась от частицы к частице, однако сами частицы все время сохраняли свое положение относительно друг друга. В противном случае на берег обрушились бы удары чудовищной разрушительной силы и все острова и материка были бы очень скоро размыты волнами.

Чтобы увидеть издали, как выглядит остров, покоящийся на своем песчаном ложе, я двинулся по равнине в сторону открытого моря и вышел из-под прикрытия береговых утесов. В тот же миг вода сбила меня с ног и, переваливая с боку на бок, потащила по гладкому песчаному дну. Шлем наполнился горько-соленой морской водой. Задыхаясь, я барахтался на дне, пытаюсь встать. Рывком я натянул спасательную веревку, которую держал в руках. Затем меня снова сбilo с ног и стало болтать на конце веревки. К счастью, я каким-то образом снова очутился в вертикальном положении, вода с всплеском ушла из-под шлема и я снова мог глотнуть воздуха. Мощный ток воды подхватил мое почти невесомое

⁶⁷ Ктенофоры, или гребневики (*Stenophora*), — близкие к медузам и похожие на них внешне и по образу жизни кишечнополостные животные. Отличаются от медуз, однако, некоторыми существенными признаками: например, органами движения — гребными пластинками, расположенными вдоль тела восемью радиальными рядами. Пластинки бьют по воде, как множество маленьких весел, и толкают животное вперед.

тело, подбросил по дугообразной траектории почти к самой поверхности и снова опустил на песок.

Тут только я заметил, что по открытой воде, не защищенной береговыми утесами, с головокружительной скоростью несется множество различных предметов. Я и раньше видел их, но не обратил особого внимания. Между утесами течение было едва ощутимо, давая о себе знать лишь прохладными боковыми ответвлениями. Я еще раз попытался преодолеть его напор, но меня снова отбросило назад как бы невидимой, но могучей рукой. Давление воды превосходило по плотности любую другую силу, действие которой мне когда-либо приходилось испытать. Штормовой ветер толкает и валит с ног, но вода, движущаяся в двадцать раз медленнее, смывает и сравнивает все на своем пути.

Прилив привел в движение и песок. У самого дна перекатывались песчинки, образуя, как это ни странно для подводного мира, миниатюрные пылевые вихри; оседая, песчинки укладывались в длинные, изогнутые кряжи, высотой приблизительно в фут, располагавшиеся под прямым углом к направлению движения воды. По строению эти насыпи-кряжи в точности воспроизводили мелкие борозды, остающиеся после отлива на отмелях. Казалось, будто все океанское дно ожило и поползло к неизвестной цели.

Я устроился поудобнее возле самого крайнего валуна и стал наблюдать за происходящим передо мной потрясающим явлением. Иначе это назвать нельзя. Во всем мире, вдоль береговой линии, тянувшейся на многие сотни миль, происходило одно и то же: огромные массы воды, огибая тысячи мысов, вливались в заливы лагуны, устья ручьев и рек. Перехлестывая через отмели, двигаясь по глубоким проливам, перекатывая бесчисленные песчинки, вода несла кислород, пищу жизнь и смерть миллионам живых существ.

Я вспомнил прилив в сумрачно-зеленых водах Чесапикского залива, в штате Мэриленд. Мне пришлось наблюдать его из иллюминатора в стальном цилиндре, спущенном с баржи, которая стояла на якоре в устье реки Патуксент недалеко от острова Соломонос. Прилив в Чесапикском заливе не выдерживал никакого сравнения с приливом на Инагуа, но и тогда меня поразило количество живых существ, проходившее через мое ограниченное поле наблюдения. Весь залив буквально кишел гребневиками — прозрачными, студенистыми существами, относящимися к роду *Mnemiopsis*.

Из-за малой прозрачности воды я мог просматривать из окна цилиндра лишь небольшой участок около шести квадратных футов. Вместе с товарищем я приступил к подсчету гребневиков, которые беспомощно проносились мимо смотрового окна в водах поднимающегося прилива. Подсчет продолжался шесть часов. Мы установили, что мимо нас проплывало в среднем 48 экземпляров в минуту, что составляет 23 000 за все время наблюдения. Учтя ширину реки и сечение приливного потока в ее самом узком месте, мы получили астрономическую цифру — 1 218 816 000 гребневиков. Сюда не входят другие виды живых существ, в изобилии проплывавшие мимо нас. Подсчеты велись на маленькой речке — она даже не наносится на карты восточных штатов. Если представить себе, что каждый дюйм приливного течения всех океанов, от полюсов до экватора, не менее богат живыми существами, мы можем только почтительно склониться перед этим явлением.

Прилив в Чесапикском заливе не идет ни в какое сравнение ни по размаху, ни по мощи с тем, что я увидел на Инагуа. В Чесапикском заливе это было незначительное перемещение воды, с трех сторон ограниченной сушей. На Инагуа это мощное глубоководное течение, на которое давят два необозримых океана. На моих глазах оно непрерывно усиливалось, так что в конце концов даже тихие воды моего убежища пришли в движение и стали ощутимо подталкивать меня. Водоросли на обращенной к океану стороне подводных утесов вытянулись в одном направлении, и казалось, их вот-вот вырвет с корнем и унесет. Ничего похожего на нежное колыхание и плавные, дугообразные движения веерообразных кораллов, которые я наблюдал на рифе.

По поведению водорослей и живых организмов создавалось впечатление, что в море собирается подводный ураган и всех их сейчас унесет в синие бездны. Некоторые уже действительно сорвало с места: мимо меня пронеслись, кружась в водовороте, несколько

буро-оранжевых водорослей и быстро исчезли в голубой мгле. К одной из них прицепился пятнистый, горбатый морской конек и небольшой шафранного цвета краб. Они изо всех сил старались удержаться на вращающихся стеблях, но, увы, их почти наверняка ждала гибель. Рано или поздно плавучее растение утратит свежесть и упругость и пропитается водой; частицы содержащегося в нем воздуха покинут разбухшие ткани, и тогда пассажиры — краб и морской конек — вместе с водорослью опустятся на глубокое океанское дно далеко от привычного, обжитого берега. Там, в черных безднах океана, их проглотит какая-нибудь голодная глубоководная рыба, или же они сольются с илистым, слизистым дном.

Если прилив принес гибель маленьким оранжевым водорослям и их обитателям, то крупные рыбы использовали его как эскалатор, несущий их по каким-то им одним известным делам. Лишь очень немногие рыбы решились бороться с приливом — основная масса всецело отдалась в его власть. До какой степени они напоминали людей, идущих по линии наименьшего сопротивления! На всех парах они мчатся к недостижимой цели, чтобы потом, когда наступит отлив, вернуться в исходное положение.

Мимо меня неторопливо проплыло множество скорпен,⁶⁸ ярких созданий в красных и оранжевых полосах. Несколько раз, сверкая радужной чешуей, проносились большие косяки грантов; они шли настолько плотно, что совершенно затеняли дно. За ними поодиночке мчались огромные луфары, чем, вероятно, и объяснялась паника, с которой удирали гранты. Несколько рыб пыталось плыть против течения, но у них ничего не выходило. Большинство таких упрямов принадлежало к распространенному виду морских окуней. Они плыли поодиночке, вытянувшись в линию, или небольшими стаями в тридцать-сорок штук, держась около самого дна и используя каждую яму и впадину, где течение ощущается меньше. Иногда им удавалось продвинуться вперед, и их плавники отчаянно работали, но их тут же относил обратно.

Непонятно было, чего ради рыбы тратят столько энергии, пытаясь плыть против течения, да и они сами, по-видимому, этого не знали. Во многих отношениях они напоминают баранов, слепо следующих за своим вожак. Весьма сомнительно, понимает ли вожак, какую роль он играет среди других рыб; ибо если по какой-либо причине косяк меняет направление, ведущий становится ведомым и подражает каждому движению той рыбы, что плывет перед ним. В стремлении многих рыб объединяться в косяки есть еще много непонятного. Полагают, что это — проявление своеобразного инстинкта, созданного природой как одно из средств самозащиты. Хищнику легко догнать и схватить одиночную особь, но задача осложняется, когда рыба представляет собою мелькающую, скачущую тень среди массы себе подобных. Многочисленность сбивает с толку врага — мы видим тут осуществление в примитивной форме оборонительного принципа: «В единение сила». Характерно, что крупные хищники почти никогда не плавают косяками; объединяются обычно те, за кем охотятся. Но в косяке интересы индивидуума не учтены: зачем, например, мечутся морские окуни в бесплодных и утомительных странствиях, следуя за своим вожаком?

Тем не менее не все рыбы, пытающиеся противостоят приливу, столь же безрассудны, как морские окуни. Иные из них, добываясь своего, проявляют удивительную смекалку. По большей части это мелкие рыбы типа красного, темноглазого берикса, серебряной лунной рыбы и селены.⁶⁹ Они ловко лавировали, уклоняясь от течения, кружились в защищенных

⁶⁸ Скорпены (*Scorpaena*) — пренеприятные рыбы: их колючки покрыты ядовитой слизью. Слизь, попадая в ранку, причиняет мучительную боль, а от яда некоторых скорпен можно даже умереть. У нас в Черном море обитает малая скорпена, которую в Крыму называют морским ершом или скорпидой. Укол ее колючек вызывает болезненные воспаления.

Гранты (*Pomadasgidae*) — небольшие окунеобразные рыбы, некоторые виды грантов имеют промысловое значение.

⁶⁹ Селена, или низкогляд (*Selene vomer*), принадлежит к семейству карангид, или джеков (*Carangidae*). Это

скалами местах, где образуются противотоки, забивались в норы и расщелины и часто останавливались, как будто для того, чтобы передохнуть.

Самыми забавными среди них были селены. Их легко узнать, потому что они всегда гуляют парочкой. Другие рыбы появлялись в одиночку, целыми косяками или небольшими стайками по шести-семи особей, а эти — только вдвоем. Очевидно, существует какая-то магия чисел. Семь — любимое число в фольклоре, тринадцать предвещает несчастье, все удачи приходят по три кряду. Двойка всегда будет напоминать мне об этих рыбах. Впервые я столкнулся с ними во время подводной экскурсии во Флориде; они плавали вдвоем, и с тех пор я редко видел их не в паре. Всегда рядышком, всегда вдвоем, они неразлучны, как Дамон и Питиас. Если одна рыбка нырнет, другая следует за ней, если они поворачивают, то всегда вместе. Что делает одна, то делает и другая, и этому трудно придумать какое-либо объяснение, ибо эти рыбки не составляют пар для того, чтобы строить гнезда, как делают некоторые породы рыб.

Все парочки удивительно походили друг на друга. Лобная кость у них круто спускается вниз, и они выглядят так, будто постоянно ищут погребенное на дне сокровище. Со спины у них гирляндами свисают длинные кружевные нити. Характерную их особенность составляет еще и то, что они очень сплюснены с боков. Если рыбка плывет прямо на тебя, видишь только тоненькую полоску, и очень забавно наблюдать, как эта полоска внезапно превращается в широкий овал, когда рыбка поворачивается.

Хотя течение уносит в открытое море огромное количество рыбьей молоди и икры, оно же доставляет богатую поживу множеству «рыбаков», притаившихся на прибрежных скалах. Я говорю не о людях, а о самых разнообразных существах, вооруженных поразительным набором крючков, сложных ловушек, ядовитых стрел и хитроумно сплетенных сетей. Среди тех, кто предпочитает сети, самое удачливое и забавное создание — морская уточка. С первого взгляда может показаться, что нет существа глупее на свете. Однако она достаточно сообразительна и предприимчива, чтобы поддерживать свое существование в каких угодно условиях — от ледяной Арктики до столь же обледенелой Антарктики. Во всех мировых океанах буквально нет ни одного места, где бы не селилась морская уточка, раскидывающая свои сети. Ей ничего не стоит совершить кругосветное путешествие на брюхе какого-нибудь грязного угольщика или предпринять увеселительную прогулку на ките. Некоторые виды китовых морских уток так привередливы, что соглашаются селиться только на губах или на плавниках, другие предпочитают горло или живот. А есть разновидности, занимающиеся воздушным спортом; эти живут на летучих рыбах. Имеются даже любительницы мертвых медуз, прикрепляющиеся к их зонтикам.

В воде морские уточки довольно красивы, хотя и не могут похвастаться расцветкой, так как окрашены весьма тускло. Их главный козырь — сети, удивительно тонкие и изящные. По существу говоря, это ноги, переродившиеся в нечто вроде живого невода; чтобы оценить их по достоинству, их надо увидеть. Они похожи скорее на перья, чем на обыкновенные ноги, но морская уточка нуждается в них не меньше, чем человек в руках, рыба в плавниках, а птица в крыльях. Ходить на них, конечно, невозможно, однако жизнь животного всецело зависит от этих необыкновенных ног; именно они создают циркуляцию воды, необходимую для выделения кислорода, которым дышит уточка. А ее желудок находится в прямой зависимости от расторопности ног. Морская уточка живет благодаря тому, что дрыгает ногами.

Вопреки распространенному мнению, морская уточка вовсе не принадлежит к моллюскам, хотя и проводит большую часть своей жизни в раковине. Вместо того ее следует отнести к обширному классу ракообразных, к которому принадлежат омары, креветки и друг

океанические хищные рыбы тропических и умеренных вод. Селены бывают длиной сантиметров до тридцати. Тело у них уплощенное с боков, рыло укорочено, «лоб» высокий, спинной и анальный плавники наделены длинными усовидными отростками, вытянутыми назад.

гурманов — съедобный краб. Морская уточка причисляется к подклассу Cirripedia, что буквально означает «усоногие».

Никто не застрахован от ошибок, в том числе и биологи. Долгое время они считали морскую уточку моллюском, сильно отклонившимся от общего типа. Истина восторжествовала, когда какой-то дотошный ученый вздумал исследовать ранние стадии развития этого мнимого моллюска. Вылупившийся из яйца молодяк настолько отличается от взрослых особей, что трудно поверить в их родство. У молодой уточки нет никакой раковины. Она плавает и не походит ни на одно живое существо на свете, напоминая разве что какого-то фантастического москита. На ранних стадиях развития уточка снабжена волосами, щетиной, колючками и какими-то длинными волочащимися придатками. Это настоящее ракообразное, ибо оно сегментировано и походит на молодь некоторых ракообразных. Мало-помалу облик этого крохотного чудовища меняется, по бокам у него, как ни странно, вырастает по маленькой раковине. Уточка пускается в странствия, ища, где бы пристроиться и зажить вполне взрослой жизнью в своем известковом доме. Инстинктивно или случайно найдя удобное местечко, она переворачивается вниз головой, прочно приклеивается, окружает себя известковыми стенами и начинает дрыгать ногами — и так уже до самой смерти. Ее ноги, которые у другого ракообразного превратились бы в клешни, закручиваются и становятся бахромчатыми, напоминая с виду перья.

Я пробрался к валуну, где пристроилась целая колония морских желудей, родных братьев морских уточек, чтобы посмотреть, как они улавливают щедрые дары прилива. Они весьма напоминали действующие вулканы: выпускают клуб бурого «дыма» и тотчас втянут его обратно. Приглядевшись, я обнаружил, что это не дым, а движения переплетающихся ног, которые сперва выбрасываются наружу, а затем быстро втягиваются, загибаясь внутрь, чтобы не выпустить пойманной добычи. Вода вытекает через промежутки между ножками.

Я осторожно дотронулся пальцем до одного из нежных перышек цирри, как они прозваны в зоологии. Ножка немедленно втянулась внутрь и две прочные пластинки тут же загородили вход. Эти пластинки так хорошо пригнаны, что не пропускают ни воды, ни воздуха, и морской желудь, если захочет, может отгородиться от всего мира. Таким образом морские желуды переживают часы отлива, когда остаются совершенно беспомощными вне пределов своей родной стихии. Им не страшен ни бушующий прибой, ни рыскающие вокруг хищники. Мне часто приходило на ум: вот если бы мы могли избавляться от непрошенных посетителей, сборщиков налогов и подобных, попросту захлопнув дверь!

Движущаяся вода была холодная, я стал мерзнуть. Течение поднималось, очевидно, из больших глубин — холодные массы воды перемежались с теплыми. По мере того как течение усиливалось, вода становилась все холоднее. Я начал дрожать и решил дать себе получасовую передышку.

Когда я вторично спустился под воду, картина совершенно изменилась. Течение стало столь стремительным, что сбивало с ног даже под прикрытием скал. Рыбы почти все исчезли, а те, что еще были видны, держались у самых скал или в углублениях дна, где они стояли на месте, тихонько шевеля хвостами. Множество рыб забились в расщелины между камнями и неподвижно висело в воде. Крупных рыб нигде не было видно, только с полдюжины голубых скаровых рыб кучкой застыли под сенью большого утеса. Вода мчалась с быстротой горной лавины, и даже рыбы благоразумно предпочли не вступать с ней в единоборство, а философски отступить.

В третий раз я спустился под воду за несколько минут до того, как прилив достиг высшей точки. Вода только что мчавшаяся с неимоверной быстротой, теперь едва двигалась. Подводные пылевые бури улеглись, границы видимости раздвинулись до тридцати или более футов. Только длинные, волнистые борозды на песке напоминали о недавнем потоке. Я уже мог стоять на ногах, не опасаясь, что меня снесет.

Через десять минут всякое движение прекратилось и воцарился полный покой, если не считать волн на поверхности, продолжавших разбиваться о скалы. С рыбами произошла разительная перемена: они уже не прятались в расщелинах и не лежали неподвижно в ямах

на дне. Гранты, недавно спешившие по своим, им одним известным делам, появились вновь, где-то по пути отделавшись от преследовавших их луфарей. Большинство рыб деловито паслись на подводных лугах. Неизвестно откуда прибыла яркая стайка спинорогов. Они скользили с места на место, соскабливая со скал кусочки водорослей. Я заметил, что их чудные спинные шипы были убраны и подымались лишь от случая к случаю. Эти лучи, которые объединяются с первым спинным плавником, удивительно устроены. У основания каждого из них имеется затвор остроумнейшей конструкции: если первый луч поднят, он не может опуститься под действием внешней силы, если не опущен третий луч. Зато если опускается третий луч, весь плавник автоматически складывается. Я долго внимательно наблюдал за спинорогами, пытаюсь понять, для чего им нужен весь этот необычный механизм. Полагают, что он является средством защиты от врагов, но остается непонятной функция третьего луча: ведь если он не опустится первым, передние два под давлением обычно ломаются.

Вместе со спинорогами у скал шныряло множество красивых полосатых рыб, отливающих всеми цветами радуги. Как и спинороги, они пасутся около водорослей, но вкусы и методы у них другие. Спинороги соскабливают с камней низко стелющийся мох, а полосатые рыбки интересуются только верхушками водорослей и подвергают их тщательному обыску. Они охотятся за небольшими ракообразными, червями и другими беспозвоночными.

Со мною была пятизубая острога, и при ее помощи я попытался обогатить свою коллекцию экземпляром новой рыбы. В первый раз я промахнулся, но во второй раз мне все же удалось ранить одну из них около спинного плавника. Оставалось только схватить ее и спрятать в мешок, который я всегда носил с собой, но не тут-то было: она вывернулась и, извиваясь от боли, боком поплыла вдоль каменной стены. Быстрое мелькание плавников — и ее схватил большой крапчатый групер, испещренный красноватыми пятнами. Он прятался в большой расщелине, и я не заметил его. Хищник вернулся с добычей к себе в логово, а я снова попытался добыть экземпляр для коллекции. К моему удивлению, рыбы не дали мне приблизиться; хотя раньше они спокойно шныряли у моих ног, теперь они держались от меня подальше. Вероятно, сначала они приняли меня за незнакомую, смешную рыбу, а теперь видели во мне потенциального врага. Я замечал, что подобным же образом ведут себя и морские окуни, однако большинство рыб не обращает ни малейшего внимания на гибель соседей. Трагедия может разыграться в двух шагах, а они как ни в чем не бывало продолжают кормиться, прохладиться или заниматься другими своими делами.

Следующая рыба, которую я попытался заколоть, повела себя самым странным образом. Заостренный конец остроги скользнул по ее боку, вырвав несколько чешуек и маленький кусочек мяса. Рыба — это был желтый грант с кроваво-красной пастью — метнулась прочь, затем, повернувшись, подобрала плавающие чешуйки и бросилась к куску собственного мяса на кончике копья. Я метнул острогу вторично, но и тогда она не удрала, а, увернувшись, принялась обнюхивать острогу, вонзившуюся в песок. Я подивился разнице между этими двумя видами: грант был совершенно уверен в себе, тогда как полосатые рыбки, почуяв опасность, стали робкими и недоверчивыми.

Подводная охота с копьем далеко не так проста, как можно подумать. Хотя по большей части рыбы как будто не обращают внимания на охотника, на самом деле они всегда замечают движущиеся в определенном направлении предметы. Мне случалось бросать копьё в столь плотные косяки, что промахнуться казалось невозможным, а между тем я не задевал ни одной рыбы. Вся стая при этом едва ли шелохнется; обычно происходит мгновенный локализованный переполох, который скоро прекращается.

После неудачи с грантом мое внимание привлекли две маленькие, тускло окрашенные рыбки около глыб мертвого коралла, заросших губкой. Это были бленни, морские собачки того же самого вида, который я наблюдал около Лэнтерн Хед. До чего они не похожи на рыб! Поднимая и опуская головы, наклоняя их то в одну, то в другую сторону, принимая самые необычные позы, они шныряли между водорослями, словно какие-то неугомонные

насекомые. И тут у меня на глазах разыгрался презабавный спектакль. Обе рыбы опустились казалось, они не плывут, а идут, до того плотно они прижимались ко мху — на песчаное дно у подножия камней. Здесь они стали друг против друга — между мордами оставался промежуток в дюйм. С секунду они стояли неподвижно, а затем пустились в пляс. То был нелепейший танец вприпрыжку на ходулях, которые им заменяли грудные плавники. Неожиданно они остановились и поглядели друг на друга.

До сих пор они держали рты закрытыми, а теперь начали неудержимо болтать. Затем опять пошли плясать и прыгать. Когда они снова остановились, то вместо болтовни потянулись друг к другу ртами. Ни дать ни взять поцелуй! Но оказалось, что замышляются не любовные ласки, а нечто прямо противоположное. Бленни еще раз коснулись друг друга губами — и началась потасовка. Этот поцелуй был не что иное как проба сил. Вероятно, таков у них способ устанавливать права на охотничий участок: после ряда толчков и ударов одна из морских собачек очистила поле боя, и победитель торжественно вошел во владение отвоеванной территории, занимавшей один квадратный ярд песчаного дна и такой же кусок скалы.

Несомненно, что многие рыбы очень любопытны. В первую очередь это относится к акулам, летучкам и триглам.⁷⁰ Но мой победитель бленни побил в этом отношении рекорд — такой любопытной рыбы мне еще встречать не приходилось. Когда я присел на песок неподалеку от его владений, он тотчас подплыл к моей руке, лежавшей на песке, и обследовал каждый палец, тычась носом в один ноготь за другим; затем забрался мне на ногу и тщательно изучил старый шрам, полученный много лет назад, когда я напоролся на раковину устрицы.

В полосе приливов и отливов жизнь сосредоточивается исключительно у скал. Песчаная равнина в волнистых бороздах — слишком ненадежный приют для более или менее оседлых организмов. Это, так сказать, подводная «ничейная земля» — пустынная белая полоса на синем фоне. Все же в периоды недолгого затишья, когда прилив достигает высшего уровня, некоторые рыбы покидают скалы и совершают вылазки в открытое море. Однако никто из них не отплывал от берега на сколько-нибудь значительное расстояние, кроме рыб крупных и сильных пород. Сержант-майоры, синеголовки, помацентриды и рифовые рыбки ограничиваются прогулками в восемь-десять футов. В таком отдалении от скал они чувствуют себя вполне спокойно, зачастую проплывая под носом у более крупных рыб. Они знают, что достаточно одного движения плавника, чтобы укрыться в расщелине.

Из мелких рыб лишь кузовки безнаказанно шныряли в открытом пространстве, чувствуя себя в безопасности под защитой своих солидных бронированных доспехов, да еще рыба-еж по сходству с подушкой для иголок уступает лишь морскому ежу. Рыба-еж совершенно лишена страха, и это не удивительно: одно прикосновение к ней грозит болезненным ранением.

В открытой воде обитали и рыбы-шары,⁷¹ тусклые колючие существа, в минуту

⁷⁰ Летучки (*Dactylopteridae*), подобно настоящим летучим рыбам, или долгоперам (*Echocoetus*), могут выпрыгивать из воды и парить над волнами на удлинённых в виде своеобразных крыльев грудных плавниках. Но летают летучки хуже долгоперов.

Триглы, или морские петухи (*Triglidae*), — рыбы, родственные летучкам, передвигаются по дну на плавниках. Три луча в каждом грудном плавнике морского петуха утолщены, разобщены друг от друга и имеют вид тонких и длинных пальцев. На них рыба и ходит. Дальше, в главе «Ночь на океанском дне», Д. Клинджел описывает свою встречу под водой с шагающей рыбой прионотусом. Обитающие у берегов Вест-Индии морские петухи принадлежат к роду *Prionotus*.

⁷¹ Рыбы-шары (*Tetraodontidae*) и рыбы-ежи (*Diodontidae*) принадлежат к группе скалозубов (*Gymnodonles*). Устройство их челюстного аппарата очень своеобразно. Зубов у них нет, а кости челюстей спереди обнажены (не покрыты кожей) и выступают изо рта рыбы в виде клюва. Острые края челюстей заменяют зубы. Рыбы-шары лишены колючек или имеют их лишь на брюхе, а у рыб-ежей длинные (до пяти сантиметров) и острые колючки покрывают сплошь все тело. У некоторых видов иглы могут даже как у настоящих ежей,

опасности способные раздуваться до огромных размеров. Их считают очень глупыми рыбами, но в Чесапикском заливе я наблюдал как они целой компанией нападали на больших крабов, прокусывая острыми зубами их прочные панцири. Предпринять подобную операцию в одиночку было бы исключительно опасно. Можно ли назвать глупой рыбу, способную на такие организованные действия?

Большинство патрулировавших рыб принадлежало к крупным хищникам. Они плавали взад и вперед, подстерегая скромных обитателей подводных скал, решившихся высунуться из своего логова. Немногочисленные, но страшные, все они умели развивать огромную скорость. Среди них я заметил трубу-рыбу длиной около трех футов, не считая длинной нити, которая тянется от ее хвоста. Здесь была и барракуда,⁷² загнавшая крошечную рыбу-бабочку под защиту утесов.

С полчаса вода у основания подводного утеса была спокойна и неподвижна. Рыбы скользили и кружились легко, почти без малейших усилий. Потом вода начала убывать. Сначала отлив шел так медленно, что я не заметил перемены, но вскоре мне бросилось в глаза, что водоросли уже не свисают с камней безжизненными нитями. Их нежные стебли стали вытягиваться в направлении далекого, невидимого острова Маягуаны. Морские веера тоже зашевелились, но в отличие от своих собратьев на большом рифе, они располагались не параллельно береговой линии, а перпендикулярно к ней. И это понятно, потому что здесь главная действующая сила не прибой, а приливо-отливные течения.

Длинные песчаные валики на дне тоже начали изменяться. Со стороны, откуда шло течение, они становились более пологими и более крутыми — с обратной.

Морские попугаи, помацентриды и другие рыбы, которые кормятся на скалах, стали перебираться под защиту утесов, где они продолжали прерванные поиски пищи. Безмятежно спокойная атмосфера, царившая здесь последние полчаса, рассеивалась. Приближался подводный шторм, и, готовясь к нему, рыбы и даже некоторые беспозвоночные, включая с полдюжины раков-отшельников, прятались по своим норам и расщелинам и погружались в свой странный, но все же, по-видимому, освежительный сон с открытыми глазами: ведь ни у кого из них нет век! Кузовки и рыбы-шары вернулись с песчаной равнины и выбрали себе удобные местечки на песке. Скалозубы даже зарылись в песок по самые глаза.

Какую беспокойную жизнь ведут обитатели этих мест, подумал я. Со всех сторон их подстерегают хищники, наверху бушует прибой, и дважды в сутки им приходится выдерживать сокрушительный напор несущихся на них океанских вод. Как они напоминают жителей Фландрии или Эльзаса, которые периодически подвергаются военным нашествиям, но, не отчаиваясь, продолжают жить на родной земле, отстраивая новые дома на месте

подниматься вверх или прижиматься к телу.

Но самая интересная особенность скалозубов — умение надуваться. Заметив опасность, эти удивительные рыбы заглатывают воду или воздух, наполняют ими особый мешок под кожей брюха, и раздуваются словно шар. Раздувшись, рыба-шар плавать не может и, если наглоталась воздуха, часто всплывает вверх брюхом. Когда опасность минует, рыба с шумом, похожим на хрюканье, выпускает воду и воздух изо рта. По другим сведениям, рыба-шар наполняет водой не особый мешковидный вырост пищевода, а просто желудок. Стенки его очень эластичны и наделены на двух противоположных концах (у пищевода и у выхода в кишечник) мощными кольцевыми мускулами, которые, сокращаясь, не выпускают из желудка воду и воздух.

⁷² У трубы-рыбы (*Fistularia tabacaria*) очень своеобразный вид: длинная и узкая, похожая на трубу голова с маленьким ртом на конце. Тело тоже длинное, а из середины хвостового плавника торчит похожий на плеть отросток. Длинной труба-рыба бывает до полутора-двух метров; живет в тропических морях; следуя за теплыми струями Гольфстрима, появляется иногда у восточных берегов США, но не севернее залива Мэн.

Барракуда, или морская щука (*Sphyræna barracuda*), — одна из самых опасных морских рыб. Длина ее полтора-три метра, а вес около сорока килограммов. Кормится барракуда преимущественно в морских бухтах, вблизи рифов и берегов, для водолазов и купающихся людей местами бывает опаснее акулы. Кроме большой барракуды есть несколько видов более мелких морских щук, или сфирен. Из них северная сфирена (*Sphyræna borealis*), встречающаяся у восточного побережья США, представляет точную копию большой барракуды, но в десятикратно уменьшенном «издании» — длина ее всего 30 сантиметров.

разрушенных снарядами и уничтоженных пожарами, чтобы потом снова увидеть все в развалинах и приступить к новой стройке! Все же подобное сравнение не вполне правомерно: ведь прилив — это поток жизни, а не смерти, нормальное явление природы, регулирующее жизнь миллионов живых существ.

Когда я выходил на берег, чтобы избежать вторичного натиска воды, последние живые существа, которые я увидел перед тем, как мой шлем появился над поверхностью, были медузы аурелии, известные в Америке под названием «луна-медуза».⁷³ На Инагуа этот вид я встретил впервые. Появление аурелий в такой момент показалось мне весьма знаменательным. Больше чем какое-либо другое живое существо на нашей планете они олицетворяют своими радужными прозрачными тканями символику приливов и отливов. Я насчитал шесть медуз. Их полусферические зонтики чуть пульсировали и медленно колыхались на воде, уносившей их в открытый океан. Бледные и светящиеся, они действительно походили на луну. Бесцельно уплывали они по прозрачной сверкающей глади в бесконечное водное пространство. Вместе с океанскими приливами, медузы всецело отдаются на волю луны. Послушное луне течение — их жизнь, их мир, их средство передвижения.

Глава XVI АКУЛЫ

Акулы красивы в том же смысле, как тигры и пикирующие бомбардировщики. Пусть эти рыбы — жестокие кровожадные, садисты или, подобно бомбардировщикам, настоящие орудия уничтожения, но факт остается фактом: акула на свободе, в океане, — воплощенное совершенство линий и грации. Обтекаемые формы — не новость, современная техника только применила принципы использованные акулами еще в незапамятные времена задолго до появления человека. Правда, и среди акул есть отдельные виды, отказавшиеся от элегантной симметрии линий, свойственной их породе. В качестве примеров можно привести молот-рыбу и пилоноса,⁷⁴ но в целом семейство акул не отступило от основного закона своего формообразования — высокой гармонии пропорций.

Акула, пойманная на крючок и лежащая на палубе, вовсе не красива. Подобно всему мертвому — это груда скомканной плоти и окостеневших мускулов. Только жизнь наделяет их своеобразием. Мне не раз случалось разговаривать об акулах с учеными и рыбаками, и лишь немногие из них ценили по достоинству их красоту. Вероятно, это объясняется тем, что мало кто из них видел акул в их естественной среде, не с поверхности моря. Но и этим

⁷³ Аурелия, или ушастая медуза (*Aurelia aurita*), распространена в Атлантике от Арктики до тропиков. У нас водится в Черном и Баренцевом морях. Размеры ее невелики — 10–25 сантиметров, цвет купола нежно-голубовато-белый, щупальца короткие, стрекающие, но человек обычно не чувствует их ожогов. Название ушастой медуза получила за своеобразную форму гонад (половых клеток), похожую на уши или скорее на подковы. У самцов гонады желтые, у самок — розоватые.

⁷⁴ У молота-рыбы (*Sphyrna zygaena*) голова фантастической формы: похожа на молоток, рукояткой которого служит тело самой рыбы. Глаза сидят на крайних концах «молотка», которые иногда отстоят друг от друга на 1,5 метра. Молот-рыба бывает длиной до пяти метров и весит около 300 килограммов (по другим данным, длина ее достигает 6–7 метров, а вес 750 килограммов). Эта акула опасна для людей. Обитает она во всех теплых океанах, появляется иногда у берегов Европы и Северной Америки.

Акула-пилонос (*Pristiophorus*) тоже очень необычного вида; рыло у нее сильно вытянуто вперед, уплощено сверху вниз и усажено по краям длинными и острыми зубами. Им она роет ил, добывая мелких животных, которыми питается, но при необходимости может нанести врагу опасные раны своей пилой.

Более известная, чем пилонос, пила-рыба (*Pristis*) принадлежит к скатам, хотя и похожа по форме тела на акул. Она значительно крупнее пилоноса, достигает в длину десяти метров. По некоторым данным, пила-рыба нападает и на крупную добычу, «отпиливая» от нее большие куски мяса, которые тут же пожирает своей беззубой пастью.

немногим мешает увидеть красоту акул страх и недоверие, поддерживаемые обширной литературой об акулах. Подобным же образом лишь один человек из десяти тысяч способен оценить красоту змеи, хотя таковая, несомненно, существует; точно так же люди, которые с минуты на минуту ждут, что им на голову свалится смертоносный груз, мало расположены рассуждать о достоинствах конструкции бомбардировщика. Объективное суждение об акуле, змее и бомбардировщике возможно лишь в том случае, если ум судьи свободен от страха и недоверия. Повторяю: с точки зрения архитектуроники акулы являются наиболее совершенно сформированными животными.

В мои намерения не входит спорить о том, нападают ли акулы на людей или не нападают. Факты как будто говорят и о том и о другом. Зарегистрировано несколько подлинных случаев нападения, но, кроме того, ходят сотни рассказов, за достоверность которых нельзя ручаться, и столько же явно выдуманных. Между прочим, акулам часто приписывают нападения, совершенные барракудой, в чьей хищности и жестокости нет никаких сомнений. Однако большинство видов акулы, включая самые крупные, совершенно безобидны. Людоеды среди них встречаются весьма редко.

Когда-то я тоже разделял ходячее мнение, что остерегаться надо всех без исключения акул и что все они — мерзкие существа. Мое превращение в акулфила началось у Шип-Кея, где из-за своего невежества я изрядно набрался страху, встретясь с акулой; а после встречи с тигровой акулой на барьерном рифе у меня появился к ним подлинный интерес. Не поймите меня превратно: я не принадлежу к числу людей, находящих удовольствие в том, чтобы поиграть с этой рыбкой или пырнуть ее ножом, как сделал один молодчик ради эффектного кинокадра. Мне никогда не приходилось и хлопать акул по чувствительному носу, чтобы отогнать их от себя, о чем нам поведал один автор; я не люблю искушать судьбу. Напротив, я питаю к акулам глубокое уважение. Во время подводных экскурсий я стараюсь держаться как можно скромнее в своем железном шлеме, с бульканьем пускающим пузыри воздуха: усаживаюсь где-нибудь поудобней между глыбами кораллов и незаметно, насколько это возможно, без помех наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня.

Прибрежные воды Инагуа отнюдь не кишат акулами, поэтому я не могу, положа руку на сердце, рассказать о том, как меня со всех сторон окружили стаи этих людоедов. К тому же акулы обычно держатся поодиночке, хотя есть породы, плавающие большими группами. Мне редко приходилось видеть больше двух акул зараз; и один только раз я наблюдал, как пять рыб медленно проплыли вдоль обращенной к океану стороны кораллового рифа.

Когда я вспоминаю инагуанских акул, каждая из них связывается у меня с определенным местом. Тигровая патрулировала риф с обращенной к океану стороны, когда я впервые спустился на дно, и ее из недели в неделю можно было видеть в том месте. Песчаное дно за полосой прибоя около Метьютауна служило пастбищем двум небольшим песчаным акулам. А неподалеку от моего старого дома, в четверти мили от берега, где дно круто идет под уклон и где растет большой коралл-мозговик, находилась резиденция шестифутовой акулы, которая совершала многочисленные экскурсии, но неизменно возвращалась к своему коралловому замку, чтобы отдохнуть или без дела послоняться в воде, свивая и развивая хвост в изящных, волнообразных движениях. Я обнаружил также несколько других акул, которые не имели постоянного места жительства и были истыми бродягами. Они появлялись, чтобы тотчас исчезнуть, или, поболтавшись денек-другой на одном месте, снова отправлялись в туманные просторы океана.

Среди бродяг самой интересной оказалась голубая акула,⁷⁵ которая открыла мне глаза

⁷⁵ Голубая акула (*Prionace glauca*) — одна из самых красивых и быстрых рыб. Тело у нее тонкое, рыло вытянутое и острое, грудные плавники тоже длинные и узкие, а спинной плавник отнесен далеко назад. Голубая акула редко бывает больше трех-четырёх метров. Окрашена сверху в богатый оттенками шиферно-голубой цвет, брюхо белое. Обитает в теплых морях; в Атлантике заплывает на север до Ньюфаундленда и Скандинавии. Питается обычно мелкими рыбами. Эту акулу не любят китобои: она объедает туши убитых китов.

на красоту этого семейства. Она появилась в тот день, когда необъяснимая перемена течения нагнала огромные массы саргассовых водорослей со стороны Кубы.

В тот день, совершенно не думая об акулах, я спустился под воду с единственной целью снизу исследовать саргассовые водоросли. Держась рукой за спасательную веревку, я висел приблизительно в одном футе от поверхности, рассматривая проплывающие мимо меня массы водорослей. Заметив необычайно большой клубок, я придержал его между килем лодки и веревкой, чтобы внимательно разглядеть. Как и в других, уже обследованных мною грудах, тут не было ни фантастических морских коньков, ни желтых крабов, которые часто обитают на них. Разочарованный, я пустил этот ворох плыть дальше и стал дожидаться следующего. Тут-то, повернувшись, я и увидел гладкое тело голубой акулы, находившейся футах в двадцати от меня. Это был великолепный, вполне взрослый экземпляр длиной в восемь или девять футов. Акула наблюдала за мной, не двигая ни единым мускулом. Поначалу, как и следовало ожидать, я испугался, но затем страх мой прошел. Акула была изящнейшим, гармонически сформированным существом. Во-первых, цвет — настоящая симфония голубых тонов. От верхушки гладко закругленного спинного плавника до изгиба белого живота она сверкала удивительной голубизной непередаваемых оттенков. Я не могу назвать эти тона ни лазурью, ни индиго. Пожалуй, лучше всего сравнить их с синевой Гольфстрима. Под лучами солнца, пробивавшимися сквозь толщу воды, кожа на округлых формах акулы светилась таким неземным блеском, какой можно увидеть только в подводном мире. Ее белый живот тоже отливал различными оттенками — волнистые бледно-желтые, розовые и лиловые полосы меркли и загорались по белому фону. Акула поразительно гармонировала с окружающей ее средой — голубая тень в голубом пространстве.

Но цвет был лишь одной стороной ее красоты, основу которой составляла грация. С минуту рыба неподвижно стояла в воде, а затем перелилась в движение — иначе я не могу это описать. Она не просто двинулась — она вся потекла, от заостренного носа до кончика хвоста. Движение осуществлялось необъяснимым изгибанием хвостовой части тела: удлинённая дуга выгибалась все круче, на какую-то долю секунды застывала в неподвижности, затем плавно разгибалась в обратную сторону. Это выходило у нее изящно и легко. Акула, уплывая толчками, почти скрылась из вида, затем сделала вираж, изогнувшись всем телом, и прошла передо мной на расстоянии пятнадцати футов. Я заметил, что пульсация ее мускулов и движения плавников были строго согласованы. Когда ей вздумалось слегка повернуть налево, она лишь на какой-то дюйм или два изменила положение длинных грудных плавников, чуть покруче изогнула хвост и без малейшего усилия заскользила в другом направлении.

Она вторично почти скрылась из виду и опять вернулась, словно ее что-то беспокоило. Не знаю, что было причиной беспокойства, — быть может, шум в лодке над нами или какой-нибудь запах; возможно, ей просто что-то взбрело в голову. Неожиданно она вложила в движение всю свою энергию, с чудовищной силой работая хвостом, пронеслась мимо меня с невероятной быстротой и пропала вдали. Неторопливо плывущая рыба вмиг превратилась в превосходный механизм, специально созданный для развития скорости в среде, где это осуществимо только при полной согласованности нервной системы и мускулатуры.

Не удивительно, что акула достигла такого совершенства — у нее было для этого больше времени, чем других рыб. Род акул древен, как сам мир. Окаменелые останки их предков обнаруживаются уже в палеозое. Казалось бы, что общего между летучей рыбой с ее длинными многолучевыми плавниками, пунцовым морским попугаем, питающимся наскальной растительностью, и хищницей акулой? Однако есть основания полагать, что все современные рыбы происходят от одного акулообразного предка.

Акулы больше чем какая-либо другая рыба внушают мне почтительное уважение. Их род, почти не изменяясь, существует в течение бесконечного ряда столетий, и отдаленные потомки столь же многочисленны и сильны, как их отдаленные предки. Подумаешь об этом и поневоле проникнешься к ним почтением. Четыреста миллионов лет — нешуточная цифра для любого вида живых существ. И мы не можем не удивиться, узнав, что они гонялись за

добычей и занимались всем тем, чем они занимаются сейчас, еще тогда, когда вся теперешняя суша представляла собой необозримые пространства грязевых болот и песчаных пустынь, где еще ничто не двигалось, не шевелилось и ни один голос не нарушал тишины.

Земля покрылась растительностью, наступила эпоха процветания диковинных амфибий, которые уступили место не менее фантастическим рептилиям — гигантским динозаврам, ихтиозаврам и птеродактилям; океан приютил в своих недрах свирепых мозазавров, спустившихся в воду со скал — акула же продолжала жить, как жила с незапамятных времен. Вымерли в свою очередь и рептилии, началась эра млекопитающих, которые сейчас идут к своему быстрому закату, а упрямая акула достигла такого процветания, что мы бы только подивились, будь мы свидетелями этого процесса.

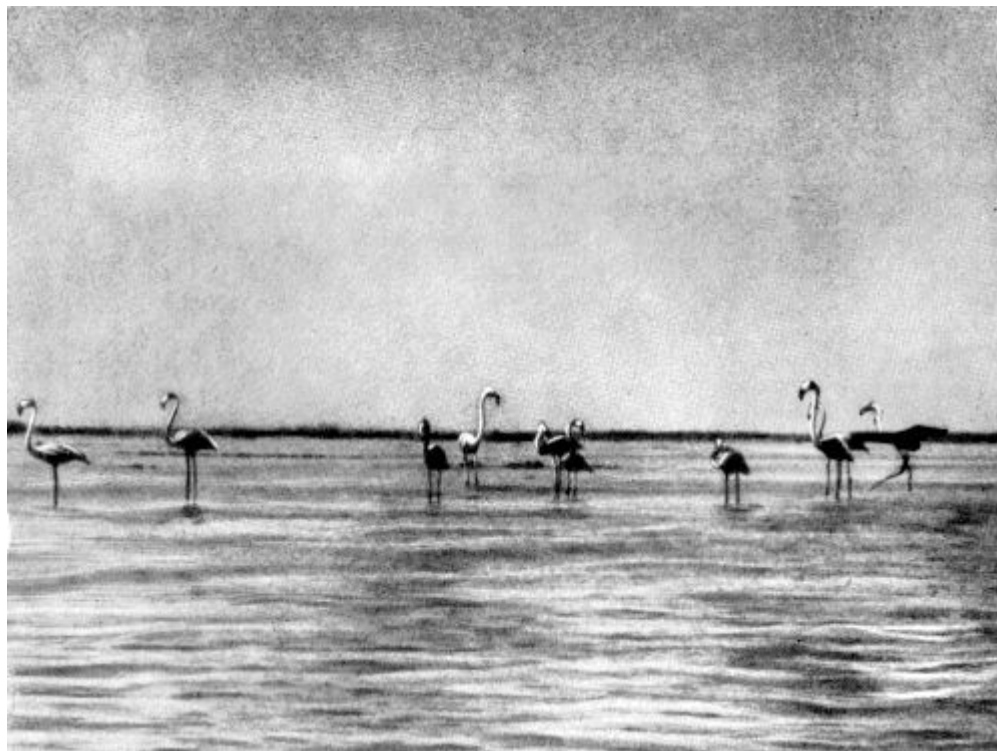
Первые окаменелости, найденные мною, были акульи зубы. В Мэриленде, по берегу Чесапикского залива у подножия скал, относящихся к миоцену,⁷⁶ на участке протяженностью в несколько сот ярдов я за один день нашел в песке и глине тысячу акульих зубов — должно быть, океан здесь в свое время кишел акулами, если в одном месте оказалось столько зубов. Среди них были мелкие, в четверть дюйма длиной, и большие треугольные, в пять дюймов от верхушки до корня. Реконструируя животное по его зубам, ученые пришли к заключению, что оно имело в длину от ста до ста двадцати футов. Не крупнейшее ли это животное за всю историю земли? В открытой пасти такого чудовища мог свободно поместиться человек. Эти акулы, очевидно, просуществовали до самого недавнего времени — сотни таких зубов были найдены на дне океана. Мы не знаем, какие силы и какое стечение обстоятельств привели к их исчезновению. Быть может, из-за собственной прозорливости они уничтожили в районе своего распространения все живое, а потом стали пожирать друг друга. Возможно также, что их поразила какая-нибудь неизвестная болезнь или столь же жадные, хотя и меньшие по размеру, хищники уничтожили их молодь. Наконец, усложненность развития могла затруднить их размножение. Нам ничего об этом не известно.

Возможно, одной из причин, почему акулий род в целом оказался таким жизнеспособным, является их примитивность. Наиболее безотказные машины те, что наименее сложно устроены. Каким-то невероятным образом акула ухитрилась сохранить свою примитивность, оставаясь удивительно жизнеспособной. Многие из животных, появившиеся одновременно с акулой, стали чрезвычайно усложненными, но и чрезвычайно неустойчивыми, склонными к вымиранию. Древняя акула, родоначальница различных рыб, успела развить все основные формы, на которых строятся типы сложения других рыб. Сами акулы тоже эволюционировали, но незначительно, проявив себя в этом отношении консерваторами. В этой связи на память невольно приходит архитектура древней Греции. Она служила источником вдохновения для многих поколений зодчих, но среди современных зданий мы едва ли найдем хотя бы одно столь же изысканное, как Парфенон с его удивительной простотой. Акулы и поныне встречаются всюду, где для них есть достаточно морской воды. От пронизанной солнцем поверхности до иссиня-черных толщ воды на глубине в тысячу морских сажений, от покрытых льдами арктических морей до тропиков — всюду живут и благоденствуют акулы.

Людям, незнакомым с морем, акулы представляются чем-то нереальным, но на расстоянии суточного перехода от любой гавани атлантического побережья, находящейся вблизи Нью-Йорка или Филадельфии, акул несметное множество. Однажды зимой мне довелось провести неделю на траулере, базировавшемся в Норфолке, в штате Виргиния.

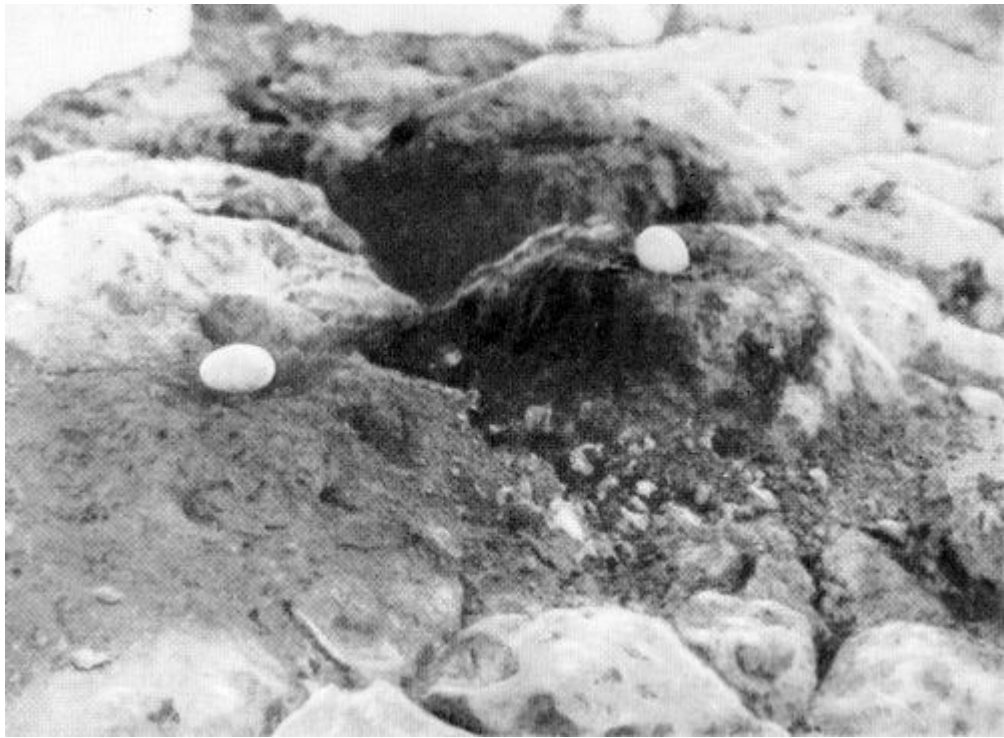
⁷⁶ Миоцен — название одной из поздних геологических формаций третичного периода кайнозойской эры развития Земли. Качался миоцен приблизительно 35 миллионов лет назад (после олигоцена), закончился 15 миллионов лет назад; далее следовали плиоцен и плейстоцен, более известный под названием «ледникового периода». Олигоцен и миоцен — эпоха бурного развития многих современных видов животных (в особенности млекопитающих).

Траулер занимался ловом скапов⁷⁷ и тому подобной рыбы для Нью-Йорка. В течение недели мы прошли несколько сот миль, все время таща за собой сети. Каждые полчаса сеть поднималась и опорожнялась. Понадобилось семь дней, чтобы нагрузить наше маленькое суденышко съедобной рыбой, потому что сети всякий раз буквально кишели акулами, их были сотни. Мы ходили по колено в акульих трупях. Рыбаки пинали акул ногами, били дубинами и резали ножами, так что кровь заливала всю палубу, ругались и проклинали эту нечисть, ибо каждый подъем сети с бросовой рыбой означал убыток. Но все было напрасно: сеть снова, как и в прошлый и позапрошлый, и позапозапрошлый раз поднималась полная акул. Семь дней мы метались по океану, пытаясь ускользнуть от них, но их количество стало уменьшаться лишь после того, как мы отошли далеко на юг к мысу Гаттерас. Дно океана, должно быть, было буквально устлано их гибкими телами.



Фламинго

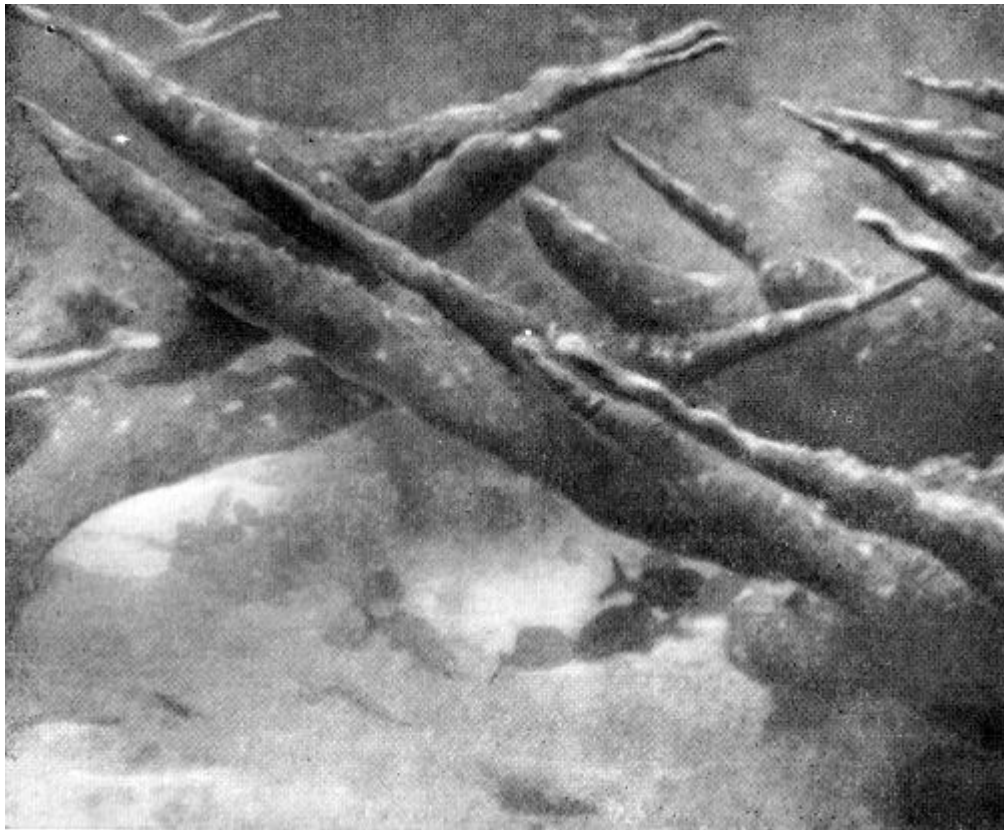
⁷⁷ Скап, или северный порги (*Stenotomus chrysops*), — представитель семейства Sparidae, к которому принадлежит и наш черноморский сарг, или морской карась (*Sargus annulatus*). Внешне скап похож на крупного карася, обитает он в море у берегов; питается придонными ракообразными, рыбами и червями.



Гнезда фламинго



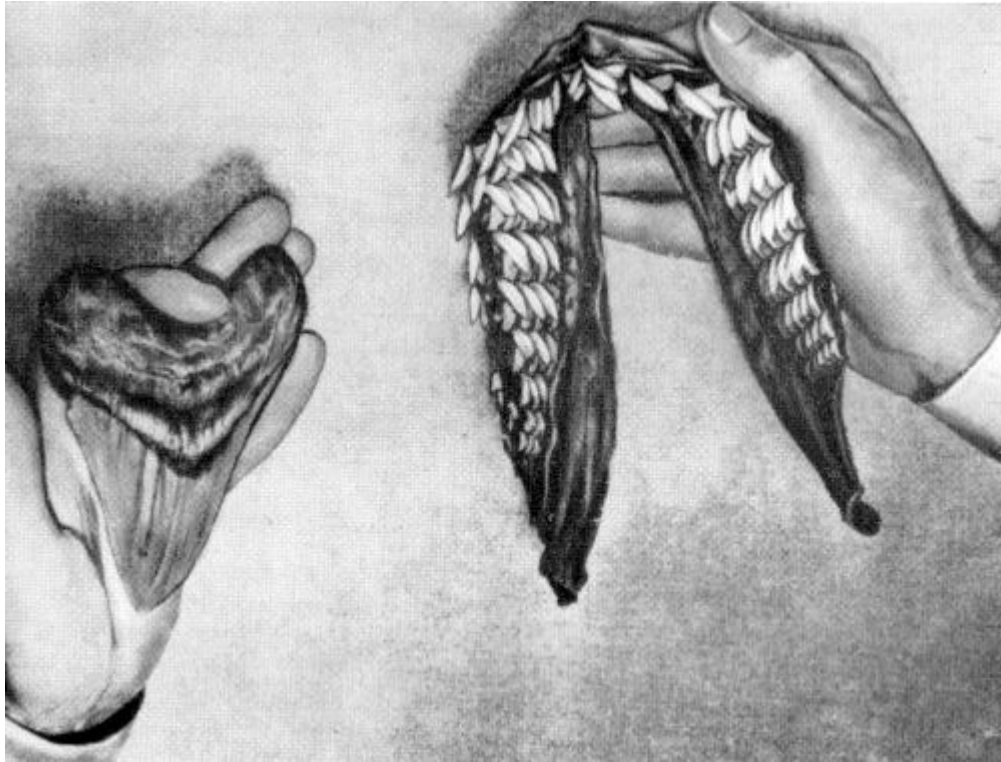
На склоне подводного холма царит тишина



Коралловые "деревья"



Стайка молодых луфарей



Справа - челюсть современной акулы; слева - зуб чудовищной акулы, жившей в период миоцена



Полурыл - рыба, обитающая во мраке

Большинство животных ест для того, чтобы жить, акулы живут для того, чтобы есть. Именно прожорливость снискала им всеобщую антипатию. Я часто наблюдал за песчаными акулами, пасшимися на склоне морского дна. С берега казалось, будто они просто играют и скользят в воде. Час за часом неустанно продолжалась эта гонка, и темные тени непрерывно мелькали в прозрачной воде на фоне желто-белого песка. В поисках ракообразных и падали акулы доходили до самого берега. Я нередко видел, как в нескольких ярдах от береговой полосы, из воды высовываются их плавники и лопасти широких хвостов. Они никогда не торопились, но когда я кидал в них раковинами, пускались наутек и с быстротой молнии

пересекали мелководье. Обычно же они двигались, медлительно колыхаясь из стороны в сторону, — акулам свойственно экономно расходовать силы.

Особенно они хороши, когда наблюдаешь их снизу, сквозь глазницы водолазного шлема. На фоне песка песчаных акул и не заметишь — окраска их подходит под цвет дна, около которого они держатся. Иногда даже легче разглядеть тень, чем саму акулу. Замечательно, что эти рыбы могут останавливаться на полном ходу. Мне так и не удалось проследить, как им это удается. Грудные плавники, выполняющие роль тормоза, при внезапной остановке широко расставлены, но этого явно недостаточно, чтобы разом остановить стофунтовое тело мчащейся рыбы. Они умеют также поворачивать кругом на месте. Правда, мне один только раз удалось видеть этот маневр, потому что обычно они поворачивают, слегка наклонившись набок и описывая длинную плавную дугу.

Однажды я собрал на подводных скалах недалеко от берега кучку колючих морских ежей, искрошил их своим копьём, разбросал по дну, а сам отступил на двадцать или тридцать шагов. Мне пришлось долго ждать, но ничего особенного не произошло — стайка мелкой рыбешки почуяла добычу и расклевала ежей по кусочкам. Тогда я снова набрал ежей и измельчил их камнем в сплошную липкую массу. Через несколько секунд густая стая мелкой рыбешки нависла над приманкой. Отогнать их было невозможно, и я отошел в сторону, вопреки всему надеясь, что акулы почуют добычу раньше, чем рыбки успеют ее растащить. Так и случилось: в голубой, пронизанной солнцем дали появились очертания двух песчаных акул. Их обычной медлительности как не бывало. Нельзя сказать, чтобы они мчались, но плыли они быстро и энергично. Одна из них явно шла на добычу, но не по прямой, а то и дело виляя из стороны в сторону. Мне это показалось интересным. Вероятно, в выборе направления она руководствовалась обонянием, пользуясь поочередно обеими ноздрями. Чужа запах с одной стороны, акула все более уклонялась в эту сторону, пока и другая ноздря не начинала улавливать запах. Как только акулы увидели приманку, всякое виляние прекратилось. Быстрым рывком они приблизились к цели и закружились над месивом из морских ежей, разгоняя стаю рыбок, которые отплыли на некоторое расстояние и выжидательно застыли на месте, очевидно надеясь еще поживиться крохами.

Обе акулы несли на себе прилипал,⁷⁸ вопреки распространенному мнению, будто эти своеобразные паразиты селятся только на акулах-одиночках. Прилипалы немедленно оторвались от своих хозяев и, пока они разгоняли рыбешку, деловито уткнулись носами в ежей. Времени у них было немного — акулы вернулись буквально через секунду, схватили добычу и, несколько раз яростно встряхнув ее, проглотили. Колючки ежей их ничуть не смутили, они сожрали все целиком.

Прилипалы деловито шныряли перед самым рылом акул, перехватывая крохи, которые те роняли, но в то же время следя за тем, чтобы самим не попасть на закуску. Когда приманка была съедена, акулы в величайшем возбуждении принялись кружиться над местом недавнего пиршества. Убедившись, что там больше ничего нет, они расширили свои круги и начали приближаться ко мне, очевидно привлеченные запахом морских ежей, исходившим от моих рук. Мне стало немного не по себе, но, подбодрив себя сознанием, что песчаные акулы безвредны, я не двинулся с места. Акул явно беспокоила тень от моей лодки, и они

⁷⁸ Прилипало, или ремора, — рыба в высшей степени необычная. Она редко плавает самостоятельно, как правило, прикрепляется к акулам, морским черепахам, тарпонам и другим крупным рыбам или даже к лодкам и днищам кораблей. Сверху на голове реморы расположена большая, во всю голову, присоска, развившаяся из спинного плавника. Этой присоской рыба присасывается настолько прочно, что на некоторых тропических островах рыбаки ловят прилипалой морских черепах. Привязывают к хвосту реморы веревку и пускают ее в море. Когда рыба присосется к черепахе, осторожно подтягивают «живую снасть» и добычу к лодке

Известно несколько видов прилипал, которые различаются главным образом числом присасывательных пластин на присоске.

У островов Вест-Индии чаще других встречается вид *Echeneis naucrates* с 20–28 поперечными пластинами на присоске. Другие виды прилипал обитают обычно в открытом океане, вдали от берегов.

тщательно ее сторонились. Дважды они обошли меня по кругу, двигаясь в противоположных направлениях и не сводя с меня крохотных глаз, но все время держась от меня на расстоянии в двенадцать футов. Я стоял не шелохнувшись, зачарованный их грацией. Единственное, что портило их внешность — это усики, по одному с каждой стороны рта. Усы — отличительная особенность песчаных акул — придавали им презрительный, даже издевательский вид.

Когда они пошли по третьему кругу, я решил, что с меня хватит, и резко взмахнул рукой, надеясь, что им не придет в голову откусить ее. Могучим рывком акулы сорвались со своих орбит и скрылись в толще воды. Хвостовые плавники их работали с такой силой, что я телом ощутил толчки воды, а у моих ног поднялись облачка ила.

Как ни странно, прилипали, неумолимо выискивавшие последние крохи морских ежей, даже не подумали догонять своих хозяев. Минут пять они еще продолжали поиски, а затем поднялись и растаяли в лазурном пространстве. По-видимому, они даже не подозревали, в каком направлении скрылись акулы, и уплыли совсем в другую сторону.

Казалось бы, какая может существовать связь между акулой и бифштексом? И однако я убежден, что не будь акул, у нас не было бы и бифштексов. Ведь честь изобретения зубов, как полагают, принадлежит акулам, а без зубов наши бифштексовые возможности были бы весьма ограничены — пришлось бы их глотать и давиться! Что касается акулы, то можно без преувеличения сказать, что она вся — от головы до хвоста — покрыта зубами. Или, если употребить точный термин, — кожными зубами.

С виду шкура у акулы гладкая и бархатистая, на самом же деле она вовсе не мягкая, а жесткая и шершавая, как напильник. У меня есть знакомый краснодеревщик, человек старого закала. Обычно он пользуется для полировки истертым обрывком акульей кожи, а не наждачной бумагой. До изобретения наждака шкура акулы использовалась для полировки дерева. Своей шершавостью она обязана сотням тысяч крошечных «зубов», торчащих из кожи. Они известны под названием «шагрень» и по своему строению в точности схожи с зубами всех прочих животных. Подобно подлинным зубам, эти кожные зубы имеют пульпу с кровеносными сосудами, нервы и соединительную ткань, а также дентин — похожее на слоновую кость вещество, без которого не обходится ни один зуб. Наконец, снаружи кожные зубы акулы прикрыты слоем твердой эмали. При таком количестве зубов счастье акулы, что она не подвержена зубной боли.

Кожные зубы акулы помогают нам понять, каким образом возникли жующие, перетирающие и режущие зубы у млекопитающих. Переход от кожных к настоящим зубам можно проследить на эмбрионах некоторых акул. Если рассматривать через увеличительное стекло челюсть эмбриона, двигаясь от наружного края внутрь, мы увидим, как кожные маленькие зубы все более видоизменяясь, постепенно переходят в настоящие, большие зубы со всеми свойственными им функциями. Своеобразные зубы на «пиле» пилы-рыбы, близкой родственницы акулы, тоже развились из клеток кожи — это сильно разросшиеся кожные зубы, расположенные по обеим сторонам пиловидного рыла.

В пасти акулы зубы растут обычно в несколько рядов. Их бывает до четырехсот. Они растут постоянно, заменяя стершиеся или потерянные. Акула пользуется только внешними рядами. Зубы акулы и родственных ей рыб отличаются величайшим разнообразием форм, в зависимости от того, для чего они употребляются. Некоторые похожи на крошечные тонкие и острые иглы, другие — тупые. Есть даже шестиугольные и треугольные с острыми, как бритва, гранями. Такие зубы режут мясо на куски. Как ни странно, у одного из крупнейших видов — у китовой акулы⁷⁹ — зубы крохотные, в четверть дюйма длиною. А сама она

⁷⁹ Есть два внешне не похожих друг на друга вида китовых акул — южная китовая акула (*Rhineodon typus*) и северная (*Setorhinus maximus*). Последняя довольно обычна для Северной Атлантики. Очертаниями своего тела она напоминает других акул, но отличается от них очень длинными жаберными щелями, которые почти сходятся на горле с жаберными щелями противоположной стороны. Длинной эта акула бывает до 12 метров. Обитает у поверхности воды, летом приближается к берегам, зимой уходит в открытое море. Англичане называют северную китовую акулу «баскингом», то есть акулой, «греющейся на солнце». Она часто лениво плавает у самой поверхности воды, словно принимает солнечные ванны. Дело в том, что китовые акулы

достигает сорока футов в длину, ее рекордный вес — 26 500 фунтов. У этой акулы нет никаких орудий защиты. Несмотря на свои великанские размеры, это одно из самых безобидных созданий на земле. Однажды по пути с Инагуа на Гаити мне довелось увидеть такую акулу; лежа на поверхности, она грелась на солнце. У нее был клетчатый рисунок на коже, состоящий из крапинок и полосок, пересекающихся под прямым углом. Судно чуть не наткнулось на нее. Чудовище с шумом и плеском ушло в глубину и исчезло. Об этой акуле почти ничего не известно, и видели ее очень немногие. Предполагают, что она питается планктоном, крошечными организмами, которые носятся по океану по воле ветра и волн. Животные, питающиеся планктоном, в зубах не нуждаются; этим, вероятно, и объясняется, почему у такой великанши они такие крохотные.

У большинства рыб плавники служат рулем, стабилизатором, тормозом или элероном. Акулы используют его еще для одной важной цели. Брюшные плавники самца превратились в длинный трубкообразный отросток, полый внутри. Через эти видоизмененные плавники или, как их называют, птеригоподии, в тело самки вводится животворная сперма. Это исключительно разумное приспособление. Оно обеспечивает не только оплодотворение яиц, но и их экономию, не допуская того чудовищного, но характерного для жителей моря расточительства миллионов клеток спермы, которые уносятся водой, так и не выполнив своего предназначения. Соответственно нет и потери яиц, погибающих неоплодотворенными. Это тоже одна из причин, почему численность акул не уменьшается и почему род акул уцелел, хотя несравненно более сложно организованные существа вымерли.

Жизнь и арифметика тесно связаны между собой. Шансы акулы на сохранение рода, как и других рыб, прямо пропорциональны численности ее потомства. Акулы в этом отношении придерживаются почти таких же норм, как люди. Живородящие приносят обычно двух-трех детенышей; дюжина считается для них максимумом. Сравните эти цифры с девятью миллионами яиц, которые мечет треска, чтобы ее род не угас. Оплодотворение у большинства видов акул происходит так, как я только что рассказал, но способы деторождения различны. Многие виды живородящие, но и не меньшее количество видов откладывает яйца. При кладке неизбежны потери, поэтому самка, чтобы обеспечить потомство, мечет огромное количество икры — опять применение законов математики к жизни.

Яйца акулы, как и родственных ей скатов, заключены в твердую роговую оболочку; они обычно прямоугольные с длинными, волокнистыми щупальцами, при помощи которых укрепляются на водорослях или твердых предметах, чтобы их не унесло течением. Но существуют яйца и другой формы — закрученные в спираль, подобно некоторым морским раковинам. На берегах Атлантического океана в определенные периоды можно обнаружить массы черных оболочек от этих яиц.

Интереснейший пример того, насколько могут видоизмениться плавники в своем развитии, дает прилипало, назойливый и непрошенный спутник акулы. Прилипалы используют акул, как бродяги — товарные поезда: прицепляются, вернее, присасываются к ним овальным диском, находящимся у них на верхней, плоской стороне черепа. Диск состоит из мясистых подушечек; сокращение мускулов создает полувакуум. Диск этот не что иное, как спинной плавник, в результате удивительного превращения ставший присоской.

питаются планктоном — веслоногими рачками, крылоногими моллюсками и другими «парящими» в толще воды мелкими организмами, которые все стремятся к свету, к поверхности океана, где больше микроскопических водорослей — их пищи. За ними следует и акула.

Южная китовая акула, или ринеодон, — животное еще более крупное: длиной до 20 метров и весом до 10 и больше тонн. Голова у нее не похожа на акулю: тупая, уплощенная сверху, с широкой пастью, она скорее напоминает голову сома. Ринеодон, охотясь за планктоном, тоже подолгу держится у поверхности воды, и нередко на него натываются корабли. От столкновения с китовой акулой мелкие суда могут получить серьезные повреждения. Как и у китов, у китовой акулы во рту есть цедилка — своеобразный «жаберный ус». Пропуская через нее воду, она вылавливает рачков и, набив ими полный рот, глотает.

Однако морская лисица⁸⁰ превзошла в этом отношении всех: верхняя лопасть ее хвостового плавника равна по длине всему ее телу. Зачем нужен такой длинный плавник? Мы этого не знаем, но высказывается предположение, что эта акула пользуется им как цепом, чтобы сбивать в кучи стаи мелких рыб, которыми она питается. Общераспространенная версия, будто хвост служит морской лисице для того, чтобы убивать дельфинов, совершенно несостоятельна. Возможно также, что здесь мы имеем дело с одним из капризов природы. Мы ничего не узнаем наверняка об этих рыбах, пока не найдем способа наблюдать их в их естественной среде. Океан будет последней границей, которую предстоит взять человеческому разуму.

Тема об акулых плавниках далеко не исчерпывается упоминанием о морской лисице. Остаются еще скаты, включая огромных мантий,⁸¹ которые в сущности тоже акулы, приспособившиеся к существованию на дне. Скаты — это, можно сказать, грудные плавники акулы, насаженные на весьма скромное по размерам тело. Эти рыбы как бы сплошь состоят из плавников. О том, что скаты — это видоизменившиеся акулы, свидетельствуют морские ангелы⁸² — уже не акулы, но еще и не скаты. В водах Инагуа водится множество скатов. Около поселка они часто подходят почти к самому берегу, чтобы поживиться отбросами, которые рыбаки, обрабатывая свой улов, бросают в море.

Один из скатов сильно меня напугал. Я разгуливал по мелководной лагуне за барьерным рифом, собирая раковины, как вдруг почувствовал под ногами что-то напоминающее резину. От испуга я высоко подпрыгнул и тут же увидел хвостовой плавник ската, известного под названием хвостокол; еще немного — и я бы наскочил на него. Распустив широкие крылья, скат быстро ушел на глубину. Мне повезло, что я не наступил на его хвост — он снабжен опасными острыми и зазубренными шипами, которые могут причинить серьезные, болезненные ранения. Раны не заживают иногда по месяцам, потому что шипы покрыты слизью, насыщенной микробами, вызывающими длительную инфекцию. Эти шипы представляют собою не что иное, как унаследованные ими от акул кожные зубы, превратившиеся в грозное орудие защиты и нападения.

Если бы мне пришлось составлять каталог необычайных, диковинных рыб, первое место в нем заняла бы рыба-молот, представшая передо мной как-то под вечер во время одной из подводных экскурсий. Я уже около часу находился под водой, где-то на полпути между участком, который патрулировали песчаные акулы, и коралловым замком донной акулы. Глубина в этом месте около сорока футов. Меня интересовали огромные, торчавшие

⁸⁰ Морская лисица (*Alopias vulpinus*) — довольно крупная акула, достигающая в длину семи метров, причем половина из них приходится на верхнюю лопасть ее странного хвоста. Часто встречается в Средиземном море, в умеренных широтах Атлантического и Тихого океанов.

⁸¹ Скаты — рыбы, очень близкие к акулам. По сути дела это акулы, приспособившиеся к придонной жизни, отсюда их уплощенная форма. Жаберные отверстия переместились на нижнюю поверхность тела, грудные плавники чрезвычайно разрослись и имеют вид широких крыльев, окаймляющих все тело ската от головы до хвоста. Хвост тонкий и длинный, у некоторых видов наделен длинными зазубренными шипами, которыми скаты наносят опасные ранения. Есть электрические скаты, способные накапливать в особых органах электричество и вызывать его разряд напряжением в несколько сот вольт. Некоторые скаты отличаются гигантскими размерами. Таковы, например, манти (*Manta birostris*), обитающие в тропических морях. В размахе плавников они бывают до семи метров и весят полторы-две тонны. На голове у манти торчат вперед, наподобие рогов, две странные лопасти. Полагают, что этими лопастями, словно руками, манти направляют в рот пищу.

⁸² Морские ангелы (*Squatinae*) — живая иллюстрация эволюционного превращения акул в скатов. Тело у морского ангела уплощенное, почти как у ската, но грудные плавники еще не охватывают всего тела, однако уже имеют вид широких крыльев (отсюда и название рыбы). Глаза переместились, как у скатов, на верх головы, но жаберные щели еще не целиком на горле, а тянутся от него вверх по бокам шеи. Морские ангелы широко распространены во всех теплых и умеренных зонах океанов.

из песка раковины. Среди выброшенных на берег раковин не встречалось таких крупных экземпляров. Хотя моллюски сидели в мягком песке, они настолько прочно закрепились в нем своими биссусными нитями, что выковырять их было не так-то легко. Убедившись, что голыми руками их не возьмешь, я поднялся в свою плоскодонку за железным крюком. Погревшись на солнце, я спустился на дно и нашел место, где окопалось несколько огромных моллюсков. Осторожно, чтобы не повредить хрупкую раковину, я подрывал крюком песок, пока не достиг переплетающихся нитей биссуса, а затем дернул. К моему огорчению, раковина расколосась, и кончик крюка зацепил лишь комок студенистого мяса моллюска. Я повторил ту же операцию с другой раковинкой, соблюдая величайшую осторожность, но с тем же результатом. Еще две раковины, одну за другой, постигла та же участь, пока мне не пришло в голову, что нужно выкапывать моллюска со всеми нитями. Я снова принялся скрести дно своим железным крюком и так взбаламутил воду, что оказался в густом облаке ила, в котором ничего не было видно. Но это меня не обескуражило. Стоя на четвереньках, я копал плотное меловое дно, пока раковина, освобожденная от пут, не подалась. Я поднялся на ноги, держа ее в руках, и ничего не мог разглядеть в окружавшей меня мути. Течение было слабое, и облако ила висело вокруг меня, как занавес.

Я хотел подняться наверх по спасательной веревке, как вдруг обнаружил, что, возясь с раковинами, выпустил ее из рук и ее куда-то отнесло. Это не страшно, потому что в случае необходимости можно было подняться и по воздушному шлангу. Но не лучше ли все же найти веревку? Я стал ходить на ощупь кругами, махая вытянутыми руками. Не прошло и нескольких секунд, как веревка была найдена. Заткнув раковину за пояс, я полез вверх и, поднявшись футов на десять, заметил внизу смутную серую тень,двигающуюся в толще воды. Не зная, что это такое, я счел за благо поскорее выбраться на поверхность. Под килем лодки я задержался, положил раковину и снова опустил футов на шесть.

Я взглянул вниз. Дно казалось очень далеким — обман зрения, возникающий благодаря рефракции света в воде. В центре моего поля зрения висело облачко поднятой мною мути. Оно медленно рассеивалось, окруженное по периферии снующими рыбами. Они явно были чем-то возбуждены, и из голубой дали прибывали все новые рыбы и вливались в беспокойнодвигающийся круг. Мне стало интересно, что же случилось — ведь когда я спустился под воду, вблизи не было ни одной рыбы и казалось, что здесь обитают лишь несколько наполовину ушедших своими раковинами в песок моллюсков. Внезапно круг движущейся рыбы разорвался, и из облака мути показалась голова небольшой рыбы-молота.

Мелкая рыбешка разлетелась во все стороны и, когда рыба-молот отплыла на несколько ярдов, снова сомкнула круг. Но их покой длился недолго: акула сделала неожиданный поворот и вернулась обратно. Тут только я догадался, что ее сюда привлекло. Она почуяла запах моллюсков и, рассчитывая на легкую поживу, явилась на место моих раскопок. То, что она приплыла первой, свидетельствует о том, насколько развито у нее чутье. До того как я взбаламутил воду, она была такой прозрачной, что можно было видеть на сотню футов в любом направлении. Акула почуяла запах раздавленных моллюсков и добралась до места их гибели максимум за четыре минуты. Такая скорость кажется невероятной, особенно если учесть, что течение там очень медленное. Даже если предположить, что акула находилась непосредственно за полем моего зрения, все равно скорость которую она развила, огромна. Хорошо, что я находился в замутненной воде. Ведь иначе я мог случайно взглянуть наверх и увидеть страшную рыбу, низвергающуюся на меня как гром среди ясного неба. Это было бы уж слишком.

Ил начал оседать, и теперь видна была эта акула. Она сновала над самым дном, обнюхивая то место, откуда торчали раковины, выказывая поразительную энергию и ни секунды не оставаясь неподвижной. Положив палец на палец, чтобы все обошлось благополучно, я скользнул вниз по веревке, задержался на полпути и с силой продохнул воздух через нос, чтобы ослабить давление, от которого внезапно заложило уши. Вскоре внутри шлема что-то пискнуло или скрипнуло — и давление пришло в норму. Проскользнув по веревке оставшиеся шесть футов, я спрыгнул на песок и постоял некоторое время,

набираясь духу. Поскольку рыбина не достигала в длину и шести футов, я чувствовал себя более или менее уверенно. Будь она крупнее, пожалуй, не стоило бы рисковать. Но я впервые в жизни видел живую рыбу-молот, и мне не хотелось упускать случая познакомиться с ней.

Нельзя себе представить более фантастического существа. От жаберных щелей до хвоста это обыкновенная акула, гибкая и грациозная. Но от жаберных щелей к кончику носа — это что-то совершенно несообразное, не рыба, а пародия на рыбу. Нелепейшая голова, на крайних точках которой посажены маленькие глаза; длинные узкие щели спереди — это ноздри, каких нет ни у одной акулы. При таких огромных органах обоняния не удивительно, что она так быстро почуяла моллюсков. Когда рыба повернулась, я разглядел, что рот находится значительно позади того, что называется молотом, то есть наростов по бокам головы. Снизу рыба была светло-желтого цвета, сверху — темно-коричневого со слегка проступающими крапинами. Мне ужасно хотелось понять, какой цели служит эта удивительного строения голова, но никаких указаний на этот счет я не нашел.

Каковы бы ни были функции молота, ясно, что он моему чудовищу ничуть не мешал: такой подвижной акулы я еще не видел. Если в семействе акул песчаных акул можно уподобить жителям наших южных штатов — ибо ничто, кроме страха, не заставит их двигаться в ускоренном темпе — то рыба-молот своим темпераментом похожа на жителей Нью-Йорка. Брызжа энергией и нетерпением, они неустанно снуют с места на место, работая как дьяволы, чтобы заработать на хлеб, мчась сквозь жизнь, как будто самое их существование зависит от скорости.

Взбурдаженная тем, как легко ей достался обед из моллюсков, рыба-молот с невероятной быстротой сновала над местом недавнего пиршества. Аппетит у нее, вероятно, только разыгрался, ибо она принялась охотиться за маленькими губанами; привлеченные запахом моллюсков, они легкомысленно покинули свое убежище — одинокий коралловый куст, еле видный в толще воды. Одному из губанов удалось спастись. Он стремглав юркнул в щель на дне, вырытую каким-то животным, ибо вокруг входного отверстия была возведена насыпь из ила. Другому не повезло: он совершил ошибку, бросившись напрямик к своему коралловому дому. На моих глазах акула продемонстрировала неслыханный акробатический трюк — ничего подобного я не видел за многие часы пребывания под водой. Она бросилась за губаном. Хвост преследуемой рыбешки вибрировал с такой быстротой, что расплывался в одно пятно. Губан мчался что было мочи, спасая свою жизнь. Но силы были слишком неравны. Большая рыба стремглав пронеслась над своей крохотной жертвой, на какую-то долю секунды повисла в воде, а затем нырнула вниз. Губан, чувствуя трагедию, нависшую над его головой, резко остановился и, извернувшись всем телом, бросился назад — увы, слишком поздно. Акула сделала великолепный иммельман, перевернувшись спереди назад по всей длине тела. Затем снова нырнула и, сделав пол-оборота, раскрыла пасть и сомкнула ее над губаном. Без малейшей передышки акула сделала еще один вираж и прошла буквально в нескольких дюймах над дном, подняв небольшой песчаный вихрь. Затем понеслась по широкой дуге, постепенно замедляя движение, остановилась на половине пути между дном и поверхностью и провисела неподвижно по крайней мере минуту. Я увидел, как она глотнула раз или два, и из ее пасти выпала маленькая серебристая чешуйка. Крутясь и покачиваясь в воде, чешуйка медленно пошла ко дну, поблескивая в лучах солнца.

Замедленное падение крошечного серебристого мотылька после столь бурных событий произвело на меня ошеломляющее впечатление. С чем это можно сравнить? Пожалуй, только с серебристым звоном осколков, падающих на землю после ледящего душу грохота автомобильной катастрофы. Я живо помню это ощущение. Какой-то безрассудный лихач сбил с дороги машину, в которой я ехал, она врезалась в телеграфный столб и сшибла его. К счастью, обошлось без жертв. И вот в памяти у меня почему-то ярче всего запечатлелся не грохот самого столкновения, а тоненький звон мельчайших осколков ветрового стекла, скатывающихся по измятому металлу в неожиданной тишине, воцарившейся после катастрофы. С тех пор всякий раз, когда я слышу звон разбитого стекла, я непроизвольно моргаю. А если мне случается вспомнить рыбу-молот, перед глазами тотчас возникает

серебристая чешуйка, падающая на дно сквозь толщу лазурной воды.

Акула постояла минут пять на месте, повиснув между дном и поверхностью, затем, плавно работая всем своим сильным телом, уплыла в голубую неизвестность. Прежде чем окончательно скрыться из виду она отклонилась в сторону, чтобы обследовать что-то, чего я не мог различить. У меня было такое чувство, будто передо мной существо из какого-то чуждого мне мира. Казалось, оно явилось из глубин прошлого, чтобы провести один быстролетный час в настоящем. Тем не менее весьма вероятно, что акулы, ныне живущие в океанских безднах, будут в изобилии населять воды земного шара и тогда, когда воздвигнутые людьми города превратятся в осыпающиеся курганы, и что они будут продолжать пожирать ракообразных и рыб, как они делают это сейчас и делали в течение бесчисленных веков.

Глава XVII НОЧЬЮ НА ДНЕ ОКЕАНА

Должен признаться, что 14 мая в половине десятого вечера мне было немного не по себе. Меня мучило щемящее чувство под ложечкой, как бывает при сильном голоде. Уже давно переступил я тот возраст, когда явления природы пугали меня. Хороший шторм и сейчас внушает мне благоговение; я отношусь к нему с уважением, в то же время стараясь укрыться от него подальше. Но я его не боюсь. Пауки и змеи не вызывают у меня ни малейшей дрожи; я достаточно долго их изучал и знаю, что в большинстве своем эти твари совершенно безвредны. Я отношусь к ним с интересом и способен оценить их красоту. Точно так же смотрю я и на прочих представителей животного царства, — ведь я рассказал читателю о своем отношении к акулам и осьминогам.

Я вышел в море на лодке и до наступления темноты уже находился за полосой прибоя. Солнце садилось, придавая небу золотые и малиновые тона, отбрасывая багровые тени на темную линию берега и окрашивая обычно белый песчаный пляж в пурпур; пассат улегся, и белые барашки волн, весь день стремившиеся на запад, исчезли. Из открытого моря накатили валы, и когда темнота, надвинувшись с востока, одеялом прикрыла землю, море притихло, и только легкая зыбь напоминала о том, как оно волновалось днем.

Воспользовавшись коротким промежутком между сумерками и полной темнотой, когда на небе стали одна за другой появляться звезды, я разобрал водолазное снаряжение, положил шлем на планшир, присоединил шланг к воздушному насосу, закрепил спасательную веревку и присел, ожидая, когда ночь полностью, вступит в свои права.

Вода из светло-голубой стала синевато-серой, потом темной и наконец непроницаемо черной. Берег, еще недавно отчетливо видимый, превратился в черную полосу, которая скорее угадывалась, чем различалась в неверном сиянии звезд. Луны не было и не ожидалось еще неделю — она пряталась на той стороне Земли. Я посмотрел на поверхность океана: абсолютная тьма. Опять защемило под ложечкой. Ведь я решил спуститься на дно и выяснить, что происходит в океане ночью. Оставалось только привести свои замысел в исполнение, но я колебался. Даже днем человек — явно чужеродное тело в подводном мире, и даже при полной видимости его часто охватывает чувство беспомощности. Что же тогда сказать о ночи, когда собственные глаза мало помогают ему, а кругозор ограничен глазами водолазного шлема!

В последнюю минуту, проверяя свою готовность к спуску и собираясь с духом, я ощупал крепления моего фонаря. Это был обыкновенный прожектор в резиновом чехле с линзой, зацементированной в ободок, и устроенный таким образом, что его можно было включать и выключать на ощупь, не снимая чехла. Убедившись, что фонарь в полной исправности, я, уже не находя для себя никаких отговорок, дал последние инструкции своему помощнику негру. Что бы ни случилось, сказал я ему, пусть он не перестает накачивать воздух. Задержавшись на планшире, я успел услышать, как на берегу кричит

петух, — неохотно, словно понимая, что час его утренней песни еще далек. Вдохнув принесенный с берега волною теплого воздуха запах жасмина и лаванды, я переступил через борт.

Холодная вода ожгла меня и заставила шевелиться проворнее; я выплыл на поверхность и нащупал в темноте планшир. Теперь, когда первый шаг был сделан, я уже не чувствовал страха, хотя мне все еще было не по себе. Нашарив спасательную веревку, я обмотал ее вокруг руки, затем еще раз удостоверился, что фонарь при мне, и тихо сказал своему помощнику, что я готов и можно надевать на меня шлем. С легким свистом воздух пошел по шлангу — насос действовал исправно. Слыша в ушах звон лопающихся пузырьков, я разжал руки и камнем пошел в бездну ночных океанских глубин.

Опустившись футов на двадцать, так что между мною и дном еще оставалось десять футов чернильно-черной воды, я слегка сжал веревку пальцами и приостановил спуск. В течение нескольких секунд меня раскачивало из стороны в сторону, слегка поворачивая. Затем я неподвижно застыл на месте. Сколько я ни вглядывался в ночь сквозь стекло шлема, я ничего не видел перед собой. Я висел в центре пустого пространства, где нет ни света, ни движения, — только свинцовая, непроницаемая тьма. Должно быть, таким выглядел мир в первый день творения. Чувство ужаса опять овладело мною. Легкая дрожь пробежала по телу, словно какое-то шестое чувство предупреждало о неизвестном и неожиданном, надвигающемся на меня из глубины океанской ночи. Но сколько я ни вертелся, вглядываясь во все стороны, я не видел ничего, кроме все той же совершенной пустоты. Мои нервы шалили.

Я снова вернулся в исходное положение и тут увидел нечто чудесное. Из мрака, наполнявшего водяную толщу, внезапно сверкнул крохотный огонек. Он горел какую-то долю секунды, достиг предельной яркости, подчеркиваемой царившим повсюду мраком, и угас. Это на протяжении нескольких секунд передо мной были вновь разыграны первые акты драмы сотворения мира — прелюдия ко всему тому, что последовало затем.

Мои глаза уже свыклись с темнотой, и я начал различать другие вспышки, крошечные взрывы, возникавшие совершенно внезапно и тотчас пропадавшие из виду. Я снял фонарь с крюка, на котором он висел, и, вытянув руку во всю длину, нажал кнопку. Длинный луч, яркий и белый, пронзил тьму и ушел вдаль. Но напрасно искал я тех, кто зажег эти огни, — их нигде не было видно. Вода содержала небольшое количество твердых частиц и больше ничего. Для водной среды это все равно что тонкая пыль для воздуха, которая становится заметной, попадая в сноп солнечного света.

Выключив фонарь, я дождался, пока мои глаза снова привыкли к темноте. Как и следовало ожидать, огоньки возникли опять, только на этот раз их было гораздо больше; на моей напряженной сетчатке мир отображался как галактика, полная мельчайших звезд, или космос бледных искр, разбрасываемых бенгальскими огнями, какие зажигаются на праздник четвертого июля. Огоньки в воде были вспышками энергетических разрядов множества микроскопических живых существ. Их нельзя увидеть при естественном освещении, потому что они слишком малы, и они обнаруживают себя лишь благодаря выделяемой ими энергии.

Я снова зажег фонарь и повел им вокруг себя. Неуловимо нежной дневной голубизны не было и в помине. Вместо нее сверкал длинный желтый луч, со всех сторон ограниченный красноватой тьмой. Вода и сейчас оставалась кристально-прозрачной, и куда бы ни проникал луч, я видел все, что в ней находилось. Запрокинув голову, я направил луч прожектора на поверхность океана. Она оказалась такой же непроницаемой, словно вылитой из металла, как обычно. Потом я осветил средний слой воды и не спеша довел луч до дна. Ослепительная вспышка, во много раз ярче света, даваемого электролампой, блеснула мне в ответ. Она длилась всего лишь секунду и угасла. Источник находился очень далеко. За первой вспышкой последовала другая, и еще, и еще, пока не засияла вся вода. Носители световых зарядов двигались, словно направляемые невидимыми гелиостатами. Это были уже не микроскопические взрывы, а большие вспышки разноцветного огня.

Огни подходили ближе, с быстротой молнии прорываясь через освещенное

прожектором пространство; они вспыхивали и гасли, но неуклонно приближались, и наконец один из них остановился в нескольких дюймах от меня. Животное светилось по всей своей длине каким-то неземным, насыщенным ярко-лиловым светом. Присмотревшись, я узнал милую рыбку анчоус⁸³ длиной в три или четыре дюйма. Невозможно себе даже представить, что это светящееся диво употребляется для приготовления тошнотворной замазки, известной под названием анчоусного паштета. Но стоило бросить беглый взгляд на длинную, выдающуюся нижнюю челюсть рыбки, чтобы все сомнения рассеялись. Ни один опал не горит таким ярким огнем, а когда рыбка двинулась с места, лиловый цвет уступил место розовому и наконец серебристому.

Я никогда не забуду этого чудесного появления анчоусов. Вероятно, луч прожектора неотразимо привлек к себе всю стайку. Ту же притягательную силу он имел и для атеринок, длинных рыбок с широкими блестящими, как серебро, полосками по бокам. Прошло меньше времени, чем нужно, чтобы написать эту фразу, а я уже был окружен целым полчищем серебробоких рыбок. Тучей кружась вокруг линзы, они стремглав бросались на стекло, ударялись об него и, охваченные страхом, разлетались во все стороны, чтобы тут же вернуться снова. Отраженный от их боков свет рассеял мрак на несколько ярдов вокруг. Со всех сторон сквозь толщу воды пробивалась мерцающая рябь розоватых огоньков.

В течение пяти минут около меня собралось, наверное, несколько сот рыбок, но они совершенно слились с массой других, когда с поверхности океана ко мне на огонек пожаловал огромный косяк в несколько тысяч анчоусов. Они двигались так быстро и такой плотной массой, что я невольно вздрогнул, когда они внезапно засверкали в луче прожектора. На много ярдов вокруг море было густо забито их серебристыми телами. Удивительнее же всего было то, что и они плыли, как одна рыба, поворачивая все разом — огромное, розово-лиловое, непрестанно кружащееся колесо.

К несчастью, кружиться им пришлось недолго: несколько сарганов, как стрелы, вылетели из темноты и, врезавшись в косяк, стали хватать и глотать рыбок без разбору. Анчоусы рассыпались во все стороны. В течение нескольких минут вся вода была пронизана разноцветными сверкающими полосами, отмечавшими путь метавшихся в испуге рыбок. Пока сарганы расправлялись со своими жертвами, за ними следом неизвестно откуда появилось с полдюжины летучих рыб; вдруг осознав свою ошибку, они внезапно повернулись и стремглав понеслись вверх. Как ни соблазнителен свет, он все же не мог удержать летучих рыб там, где свирепствуют сарганы. Обезумев от ужаса, они трепетной, сверкающей стайкой скрылись из виду.

Побоище, учиненное сарганами, превосходило по жестокости все, что мне когда-либо случалось наблюдать. Утолить их аппетит было невозможно. Они шныряли взад-вперед, уничтожая, калеча, убивая все на своем пути, и часто, не успев проглотить одну жертву, уже кидались на новую. Они до такой степени нажрались, что их глотки раздулись от непроглоченной пищи. Но и после этого они продолжали калечить и убивать рыб. Это избиение анчоусов наглядно продемонстрировало мне жестокость и первобытное варварство, царящие в океане.

В смутной дали, уже вне пределов досягаемости света прожектора, я вдруг заметил какие-то движущиеся тени. Одни из них отражали свет, другие оставались темными. Угрожающе большие, они сновали с места на место, исчезая и возникая, словно привлеченные суматохой на освещенном участке, но не смея приблизиться. У меня снова возникло странное, сосущее чувство под ложечкой. Стоит ли подстрекать неизвестных крупных рыб к участию в побоище? Нашулав пальцем кнопку, я выключил свет.

⁸³ Обыкновенные анчоусы, или хамса (*Engraulis*), не имеют светящихся органов. Очевидно, Д. Клинджел наблюдал светящихся глубоководных анчоусов (*Mycrophum*, *Scopelus*), у которых светящиеся «глазки» разбросаны обычно по нижней поверхности тела. Днем эти рыбы держатся на глубинах, ночью поднимаются к поверхности.

Наступивший мрак превосходил по своей густоте тот, что царил тут прежде. Полчища анчоусов и атеринок, охваченные паникой, бросились наутек, задевая меня по рукам и ногам и холодя тело крошечными подводными вихрями. Так продолжалось несколько секунд, затем щекотание их плавников прекратилось, и я снова очутился в безжизненной темноте. Разжав пальцы, охватывавшие веревку, я заскользил вниз, вниз, затем толчок — и я почувствовал под ногами твердое дно.

Слегка подавшись вперед, чтобы противостоять течению, я сделал несколько шагов вперед и снова включил свет. Луч побежал по дну, отбрасывая длинные тени, преобразуя борозды, оставленные приливом, в барельеф, выпукло обозначая предметы, которых я раньше не замечал, хотя десяток раз бывал на этом месте. Все дно было испещрено глубокими воронками, в дневном свете совершенно незаметными. Они зияли в песке, как круглые, черные провалы, и можно было видеть, как некоторые из них, словно пульсируя, то вбирают, то выталкивают струнки воды, насыщенной частицами ила и мельчайшим планктоном. Обитатели этих кратеров, моллюски и ракообразные, были заняты своим делом: они всасывали и выбрасывали воду, добывая из нее кислород и пищу.

Чтобы получше разглядеть какой-нибудь из этих подводных вентиляторов, я опустился на колени и лег на живот, выгнувшись с таким расчетом, чтобы вода не забралась под шлем. Едва я мало-мальски устроился, как предо мною предстало невиданное существо. Голова у него защищена панцирем из небольших пластинок, на которых выгравирован необычайный орнамент, напоминающий снежинки или кристаллы с гранями, расходящимися из центра, а еще точнее — карикатуру, изображающую взрыв бомбы — десятки прямых линий проведены из одной точки. Броневые плитки в свою очередь утыканы короткими диковинными шипами, и это все вместе делает морду невиданного «зверя» угловатой и костлявой. Казалось, что у этой бронированной средневековой головы нет тела и она разгуливает на шести паучьих ногах. Гибкие конечности лишены суставов и передвигаются по очереди с удивительной элегантностью и в строгой последовательности. Фантастические тени, которыми было покрыто это таинственное существо, — гном, тролль или кем там еще оно могло оказаться, — подчеркивали его и без того нелепые формы. Лишь когда оно подошло ко мне вплотную и частично повернулось, я опознал в нем морского петуха, или триглу рода *Prionotus*.

Шагающую рыбу видишь не каждый день, и одного этого достаточно, чтобы она вызывала любопытство. Мой новый знакомый в совершенстве овладел искусством ходьбы. Он даже не пытался плыть и чопорно изогнул свои крылообразные, широкие крапчатые грудные плавники под прямым углом к телу. К тому же они были несоразмерно велики для такого маленького хозяина.

Любопытство морского петуха не знало пределов. Он на цыпочках подошел прямо к линзе и остановился, разглядывая иллюминацию. В противоположность анчоусам, морской петух не испытывал ни малейшего волнения при виде яркого луча. Наглядевшись на фонарь, он отступил назад, напоминая мне своими движениями балетного танцора, и вскоре наткнулся на спасательную веревку — она лежала на песке, свернувшись кольцами, как змея. Морской петух погулял по веревке и приблизился к моей руке, полузарытой в песок. Походив вокруг да около, он разыграл самый великолепный номер своей программы, вскочив мне на руку. Его плавники щекотали, а их кончики даже кололи при передвижении; когда он готов был соскочить на песок, я попытался быстро схватить его, но не тут-то было! Он мгновенно подобрал лучи, служившие ему для ходьбы, и, распустив плавники, использовал их по назначению — для плавания. Оказавшись вне пределов досягаемости, он воздушно опустился на дно и долго стоял, не сводя с меня глаз.

Я поднялся и побрел к большим темным гудам камней, отмечавшим крайнюю нижнюю границу острова. Покрытые мхом скалы вздымались к небу, или, вернее, к поверхности океана. Водоросли и морские веера раскачивались и колыхались, как днем. Но весь этот мир выглядел совершенно иным в ночной темноте. Сразу бросалось в глаза существенное различие — сначала я приписал его темноте и длинным теням, которые

отбрасывали все предметы при свете прожектора. Это, конечно, тоже играло свою роль, изменяя облик всего этого мира и превращая и без того странный пейзаж в другой, еще более фантастический. Днем казалось, что такие утесы могут существовать только на Марсе, а ночью они производили впечатление лунного ландшафта. Все очертания отличались четкостью и подчеркнутой контрастностью. Ярко-красные кораллы горгонии, обычно малозаметные среди буйства красок — зеленых, синих и желтых, сейчас сияли во всем своем великолепии на агатово-черном фоне. Нет более роскошного сочетания цветов, чем черное с красным. Старые китайские ремесленники давно поняли это, о чем свидетельствуют их несравненные лакированные изделия. Тонкие нити водорослей выглядели сейчас еще нежнее, одинокими силуэтами выступая на фоне скал, — они как будто исполняли какой-то призрачный танец, вздымая к небу умоляющие руки и снова склоняясь к земле.

Темные входы в сотни подводных пещер зияли раскрытыми ртами между длинными неровными овалами ярко-желтого цвета. Каменные радуги, окаймленные белесыми стеблями гидроидов и инкрустированные красными и лиловыми губками, уходили в темную даль. Длинные ряды желтых морских вееров, росших вдоль гребней каменных хребтов, сгибались и наклонялись в такт колыханию воды. Они чуть светились, и литая поверхность океана, отражая их свет, отбрасывала на дно нежные бледные полосы, воспроизводившие движение бегущих волн.

Сейчас все здесь было либо ярко окрашено, либо погружено в полную тьму. Полутона совершенно отсутствовали. Ничто не смягчало контрастов. Между освещенной полосой полной видимости и абсолютной чернотой почти не было перехода, разве что в полдьюма. Лишь отсветы с поверхности смягчали тени, но и они не разрезали, а скорее подчеркивали темноту.

Как ни поражали сдвиги в цветовой гамме, не они вызвали чувство новизны и неожиданности. Причиной тут была резкая смена фауны. Сейчас я почти совсем не видел рыб, которых наблюдал днем. Напрасно водил я лучом по скалам, стараясь обнаружить своих дневных знакомых. Их нигде не было видно. Их место заступили другие рыбы, которые раньше встречались мне только в темных норах и глубоких расщелинах. Первенствующую роль среди них играли холёцентрусы, ярко-красные рыбки с широко открытыми, темными, словно чересчур подведенными глазами. Они оживленно сновали между скалами, сопровождаемые другими, тоже красными, рыбками, круглобокими и с такими большими, печальными глазами, будто они вот-вот разрыдаются. Эту рыбку в просторечье зовут большеглазка — прозвище вполне к ней подходящее. Я очень удивился, обнаружив здесь большеглазок, ибо всегда полагал, что они относятся к глубоководным рыбам. И тем не менее они жили здесь, в нескольких ярдах от полосы приобоя. Странно также, что они связаны с холёцентрусом, но более всего меня удивило то, что оба эти вида, явно принадлежащие к ночным рыбам, были окрашены в красный цвет. Впрочем, как мне помнится, многие глубоководные рыбы и ракообразные, обитающие в царстве вечной ночи, окрашены в этот же цвет.

Я обнаружил и синих тангфишей, но они не проявляли никакой активности. Сбившись плотной массой в широкой расщелине, они висели в воде сплошным живым клубком. Клубок лениво покачивался то вниз, то вверх в такт болтанке приобоя, но каждая рыба с точностью до десятой дюйма сохраняла свое место в стае. Рыбы были обращены головой в одном направлении, и у меня на глазах все до единой, как по команде, медленно повернулись в другую сторону.

Задержав луч моего фонаря на их неподвижных телах, я перевел его на иссеченное трещинами подножие скалы и, проведя им вверх по склону, осветил вход в небольшую пещеру. Вздрогнув от испуга, я увидел там семь пар челюстей со сверкающими зубами, парящие в воде без всяких признаков тел. В двух первых парах челюстей зубы были голубовато-зеленые, в следующих четырех парах — белесые и в последней — явно розоватого оттенка. Наверное, такие галлюцинации видят зубные врачи на грани белой горячки. Челюсти постепенно удалялись в глубь пещеры и почти скрылись из виду. Тогда я

взобрался на огромную губку и направил луч света прямо в их убежище. Тут челюсти обросли телами, и передо мной предстали семь крупных морских попугаев — четыре оливково-зеленых, длиною в добрых два фута каждый, два красных с отчетливо обозначенными чешуями и один пестрый.

Наглядевшись на морских попугаев, я занялся другими расщелинами и пещерами. Почти каждая оказалась набита рыбой. Иные неподвижно висели в воде, лишь изредка шевеля грудными плавниками; другие, включая рыб-сержантов, которых легко узнать по ярко-желтым полосам, беспокойно двигались взад-вперед, не выплывая, однако, за пределы своих ночных убежищ. Оригинальнее всех устроилась на ночлег стайка в одиннадцать рыб-бабочек.⁸⁴ Они соблаговостили спрятаться в темную нору и устроились под каменной аркой. Здесь они образовали нечто вроде витой колонны между подножием и сводом. Самая нижняя рыба смотрела на север, следующая над ней — на северо-северо-восток, третья на северо-восток, и так далее по картушке снизу вверх. В результате получилась изящная спираль. Рыбы-бабочки, как живые шары, ритмически покачивались в такт течению, сохраняя при этом свою конфигурацию.

В чем смысл такого расположения? Очевидно, морские бабочки делают это с целью самозащиты, иного объяснения я придумать не могу. Ведь при таком построении в каждую сторону смотрит одна из рыбок, и откуда бы ни приближался враг, кто-нибудь да увидит его и предупредит остальных. Но если это так, почему же все скалозубы смотрели в одном направлении?

Залюбовавшись морскими бабочками, я вдруг почувствовал за спиной какое-то мощное вихревое движение и испуганно обернулся, ожидая увидеть барракуду или какого-либо другого крупного хищника. Но это была всего-навсего огромная стая лютианусов. Это рыбы длиной в один фут с ярко-голубой полоской, которая проходит ниже уровня глаз от губ до края жаберной крышки. Глаза у них блестели, как драгоценные камни, и по мере того как стая, извиваясь и крутясь, прокладывала себе путь во тьме, казалось, будто в океанскую бездну скользят тысячи тлеющих угольков. Рыбы шли не торопясь, у самого дна и такой плотной массой, что, казалось, едва могли шевелить хвостами. Они явно побаивались света моего фонаря, потому что издали обошли то место, где луч ударился в океанское дно.

Очень интересно изучать, как жители моря реагируют на искусственный свет. Для анчоусов, атеринок, американских сельдей бревоортий,⁸⁵ плавающих червей и некоторых ракообразных свет представляет непреодолимый соблазн. Некоторые из них, как, например, черви, буквально сходят от него с ума. Другие бегут от него как от чумы или по крайней мере держатся на периферии освещенной сферы. Как ни странно, слабый свет привлекает обитателей глубин в гораздо большей степени, чем очень яркий. Установление этого факта стоило мне около сорока долларов. В период моих экспериментов в Чесапикском заливе я вбил себе в голову, что набор ламп в пять тысяч ватт привлечет к моему наблюдательному посту множество видов морских организмов. Поэтому я накопил кучу дорогих ламп, специальный водонепроницаемый шнур, чтобы подводить ток, всякие пробки и выключатели. Когда установку спустили под воду и включили, она залила невероятно ярким светом толщу воды на десятки ярдов в окружности. Видимость оказалась поразительной, но в освещенной зоне не появилось почти никакой живности. Тогда я отказался от своей затеи и

⁸⁴ Рыбы-бабочки, или щетинозубы (*Chaetodontidae*), обитают в тропических морях, преимущественно вблизи коралловых рифов. Бабочками они названы за пеструю расцветку, а щетинозубами — за очень мелкие, похожие на щетинки зубы. Мясо этих рыб временами бывает ядовитым.

⁸⁵ Американская сельдь бревоортия (*Brevoortia tyrannus*) принадлежит к семейству сельдей (*Clupeidae*), длиной бывает до полметра, похожа на обыкновенную сельдь, но отличается от нее более высоким телом, большой головой, занимающей приблизительно треть длины тела и отсутствием зубов. Большие косяки ее появляются летом у берегов Америки и служат там объектом интенсивного промысла.

вернулся к испытанному способу — стал опять разгуливать с ручным фонарем.

После того как лютианусы уплыли, я в течение добрых десяти минут подвергался нашествию целой орды полурылов.⁸⁶ Они появлялись из верхних, граничащих с поверхностью слоев воды и выказали себя яркими любителями света. По-видимому, они шли не очень плотной стаей, ибо показывались друг за другом с промежутком в несколько секунд, падая сверху, из темноты, как серебристо-зеленые кометы. Зеленый цвет этой рыбки совершенно особенный. Он мерцает и переливается нежными серовато-голубыми тонами; по краям каждая чешуйка окаймлена изумрудной полоской. По если эту рыбку вытащить из воды, она кажется просто серебристой.

Большинство рыб выглядят на воздухе иначе, чем под водой. Мне хотелось бы составить цветной атлас, чтобы можно было легко определять тропических рыб в их естественной среде. Читаешь, например, что кефаль — серебристая рыбка с бледно-серыми полосами, а потом оказывается, что в воде она роскошного жгуче-лилового цвета. А испанская макрель вовсе не цвета платины с оливковым оттенком, потому что самое характерное в ней — это ярко-желтые полосы по всей длине тела, которые бесследно исчезают, когда рыба вынута из воды.

Если серо-голубой цвет полурылов необычен сам по себе, то тем более поражает странная форма их головы. Нижняя челюсть у них гораздо длиннее верхней и составляет половину длины всей головы. Это придает рыбке забавный, хотя и не лишенный изящества вид. Тело у полурыла удлиненное, обтекаемой формы, и в общем он напоминает меч-рыбу в миниатюре. Но в противоположность меч-рыбе, его сильно развитая челюсть совсем не острая и не твердая; напротив, она заканчивается мягким и мясистым красным кончиком. Трудно сказать, для чего служит этот кончик. Возможно, он используется как орган обоняния или в качестве зонда. Насколько мне известно, полурыл питается главным образом растительной пищей и — в весьма скромных размерах — мелкими ракообразными; но остается неразрешимой загадкой, как они умудряются есть таким нелепым, высовывающимся вперед клювом.

Опустившись на колени, я пополз вдоль подножия скал, чтобы посмотреть, что делают по ночам беспозвоночные. Почти все они бодрствовали и были очень деятельны. Морские желуди как всегда разбрасывали свои сети, складывая и вытягивая перистые ноги. Что для них свет и тьма, когда они заключены в известковый панцирь? Еда и кислород — вот что им нужно; со сном можно подождать, пока не наполнится брюхо. В любой час дня и ночи вы застанете морских желудей за работой. Точно так же и актинии; похожие на прекрасные цветы, они медленно покачивались и шевелились. Ядовитые щупальца, оснащенные жгучими стрекалами, терпеливо подстерегали неосторожных рачков и плавающих червей. Другие черви, притворяющиеся цветами, тоже бодрствовали и, вытянув усики, ловили то, что принесет им судьба и течение.

Не все черви связаны со скалами, ибо в скором времени масса длинных извивающихся миниатюрных тел окружила мой фонарик. Свободно плавающие морские черви — одни из самых противных живых существ на свете. Я давно привык хватать пальцами любых насекомых, пауков и пресмыкающихся, но инстинктивно отдергиваю руку при виде извивающегося в воде червя. Некоторые, если до них дотронуться, жалят, другие кусаются длинными и острыми выдвигающимися челюстями; прикосновение к ним вызывает у меня дрожь отвращения. Они сплошь покрыты таким количеством щетинок, усиков, ног, диковинных волосков и перышек и так извиваются всем телом при движении, что мне приходит в голову неожиданное сравнение: так бы выглядел электрический разряд, если бы внезапно каким-либо образом обрел жизнь и живую плоть. Сравнение морских червей с

⁸⁶ Полурылы составляют особое семейство (Hemirhamphidae). Эти странные рыбы отличаются исключительно длинной нижней челюстью, далеко вытянутой вперед. Обитают в тропиках, с Гольфстримом заплывают на север до залива Мэн. Питаются зелеными водорослями.

вольтовой дугой не так уж натянуто, как может показаться, потому что их активность невероятна и напряженность ее огромна.

Черви, метавшиеся вокруг фонаря, доходили в своем возбуждении до настоящего неистовства. Извиваясь, скручиваясь и раскручиваясь, содрогаясь и вибрируя, они носились вокруг линзы, словно демонстрируя, какие формы принимает безумие в семействе червей. Мои уже чуть взвинченные нервы не выдержали, и я вздрогнул от отвращения, когда длинный червь скользнул по моей руке к фонарю. Его бледно-красное тело с треугольными зелеными веслами-ножками увенчивалось крошечной желтой головой, откуда наподобие бакенбард во все стороны торчали синие перышки. От головы до кончика заостренного хвоста он был длиной около семи дюймов. Он мерцал и отливал радужным блеском в свете фонаря.

Преодолев отвращение, я продолжал наблюдать. К красному червю присоединились еще два и стали вокруг него кувыряться. Вскоре их налетело столько, что все пространство, освещенное лучом, заполнилось извивающимися телами. Между крупными червями шныряло по прямой около двух десятков червей помельче различных видов, вплетая в основной рисунок горизонтальные зеленые и красные штрихи.

Я лихорадочно старался запомнить отличительные признаки червей, чтобы на досуге определить их, но вскоре бросил это занятие как безнадежное. Крупные экземпляры, несомненно, принадлежали к каким-то разновидностям nereisов.⁸⁷ Определение видов морских червей — занятие по меньшей мере неблагодарное. Я способен терпеливо считать и пересчитывать чешуйки у рыбы или подробно исследовать расположение ее шипов и плавниковых лучей, но классификационные признаки морских червей так формальны и неопределенны, что я неизменно теряюсь и у меня опускаются руки. Таксономия червей мне, видно, противопоказана.

События в подводном мире, как и беды, приходят пудами. Черви, собравшиеся вокруг моего фонаря, были лишь предвестниками нашествия новых полчищ. Не знаю, что привлекало их — свет или неистовые пляски их сородичей, но так или иначе они повалили со всех сторон в неисчислимых количествах. За ними не замедлили явиться малиновые холёцентрусы и большеглазки, которые тотчас набросились на неожиданное угощение. Присутствие хищниц не спугнуло червей; казалось, они были всецело поглощены своею пляской друг возле друга. Я убежден, что был свидетелем их родовых мук, ибо некоторые из них, как я заметил, выпускали в воду тончайшие дымки каких-то выделений — возможно, неоплодотворенные яйца или сперму, и когда вновь появившийся червь попадал в такое облачко, он приходил в неистовое возбуждение.

С каждой минутой количество кружившихся в луче фонаря червей увеличивалось. Они то и дело скользили по мне, и я уже не мог переносить этого ощущения. Кроме того, меня встревожила чрезмерная алчность рыб, к которой я их невольно побуждал, ибо вслед за холёцентрусами на пир явились представители более крупных и энергичных пород, в их числе огромный полосатый групер. Поэтому я выключил фонарь и быстро поднялся вверх по спасательной веревке. Освободившись от шлема, я перевалил через борт и шлепнулся на дно лодки.

Я посмотрел на часы. Оказалось, я пробыл под водой шестьдесят семь минут. Ветер крепчал, и лодка, стоявшая на якоре, кренилась и раскачивалась во все стороны. Тут только я почувствовал, что устал и пресыщен зрелищами подводной жизни. Взглянув на черную поверхность океана, я содрогнулся, вспомнив прикосновения извивающихся червей, и решил, что на эту ночь с меня хватит. Я много бы отдал за свой стальной цилиндр с окном из толстого стекла. Но он находился за полторы тысячи миль отсюда, на берегу Чесапикского залива.

⁸⁷ Известно более ста видов nereisов (Nereis). Это хищные морские черви, наделенные острыми серповидными челюстями. Ведут преимущественно ночной образ жизни.

Мы подняли якорь и на веслах вернулись на берег. Оказавшись в своей хижине, я повалился на кровать и крепко заснул, а когда проснулся, солнечные лучи, проникшие в открытое окно, известили меня о наступлении дня.

В течение почти трех недель я не спускался под воду. Тем временем народилась луна. Сначала тоненьким серпом, а потом, постепенно округляясь, она каждую ночь появлялась на небе и наконец засияла полным светом. Она озаряла иссохшие солончаки и пологие, усеянные раковинами пляжи, которые казались длинными лентами, убегающими в бесконечность. Поверхность рифа, окруженного ревушими бурунами, была ясно видна, и даже лагуна была освещена настолько, что можно было отличить глубокие места от мелководья и увидеть места, поросшие зелеными водорослями. Только океан за рифом был по-прежнему совершенно черен: дно и скалы находились слишком глубоко, чтобы отражать лунный свет. Но даже и эта тьма оживлялась игрой лунных бликов на поверхности и белыми вспышками барашков волн.

Мы бросили якорь в нескольких ярдах от внешней стороны рифа и дождались, пока якорный канат не натянулся. Что-то — быть может, веревка — спугнуло летучую рыбу, плававшую около поверхности; она внезапно вынырнула из тьмы, со свистом рассекая воздух, пересекла впадину между двумя волнами, темным силуэтом обозначилась на диске луны, а затем с громким всплеском упала в воду в нескольких ярдах от нас. За ней последовали другие, и мы слышали, как они выскакивают из воды, пролетают по воздуху и возвращаются в свою родную стихию. Несколько дальше раздался более мощный всплеск: какая-то крупная рыба, возможно, преследуя летучих рыб, вынырнула на поверхность и снова ушла в глубину.

Океан жил. Его глубина вспыхивала серебряными отблесками, отбрасываемыми проходящими стаей рыбами. Дважды у самых бортов лодки послышался шелест вспененной воды, выдавая близость какой-то крупной рыбы, плавниками взрезавшей поверхность. Тени, еще более черные, чем общий фон воды, скользили под корпусом лодки и исчезали, словно растворяясь в безднах. С высоты, из звездного пространства над рифом, донесся слабый зов кулика-песочника, и однажды на линии прибоя тарпон подпрыгнул высоко в воздух и грузно упал в воду.

Ко мне вернулось то же чувство неуверенности, что охватило меня перед первым ночным спуском в море. Однако перспектива увидеть подводную часть большого рифа при лунном освещении была столь заманчивой, что усилием воли я подавил в себе страх. На этот раз я спускался в полном облачении и в крепких башмаках, чтобы уберечься от игл морского ежа, которого легко не заметить в темноте. Я даже захватил с собой небольшое копье на случай, если какой-нибудь морской хищник вздумает почтить меня своим непрошеным вниманием.

Я медлил со спуском, желая пропустить огромную, площадью в целый акр, стаю медленно дрейфующих медуз. Они шли такой плотной массой, что соприкасались боками, причем плотность стаи оставалась постоянной все пятнадцать минут, пока она скользила под килем лодки. Каждый квадратный фут содержал несколько сот особей; всего же их, вероятно, было больше миллиона. Наконец, когда медузы прошли, я спрыгнул в воду и надел шлем, надеясь, что за первой стаей не последует вторая. Сейчас я просто не мог отнестись к перспективе очутиться среди многих сотен тысяч медуз с тем же хладнокровием, какое мог бы проявить днем. Помимо того, хотя мне и было известно, что ожоги этих медуз несильные, я не испытывал желания экспериментировать с ними во мраке.

Если уже днем коралловый риф кажется чем-то невероятным, то ночью, да еще освещенный тропической луной, он представляет до такой степени фантастическое зрелище, что в нашем языке не найдется достаточно сравнений и прилагательных превосходной степени, чтобы описать его. Представьте себе мир, откуда изъят цвет и где тени принимают формы перекрученных гигантов, где ничто не пребывает в покое хотя бы минуту, а небосклон похож на полированную платину. Там, под сводами узких пещер со спускающимися сверху сталактитами, висят, легко покачиваясь, бледно-серые призрачные

существа. Представьте себе также атмосферу этого мира, наполненную нежным и бледным сиянием, неземным свечением, не имеющим никакого видимого источника, которое то разгорается, то блекнет, по мере того как снопы серовато-жемчужного света призраками тянутся с поверхности на дно, чтобы вдруг, достигнув песчаного ложа, лечь на него светлым пятном.

Такова картина, которую я увидел, когда, медленно спустившись по веревке, достиг дна знакомой мне подводной долины. Сделав петлю на веревке, я накинул ее на ногу и, расслабив мускулы, предоставил прибору медленно раскачивать меня взад-вперед. Прекрасные синие, лиловые, зеленые и золотые тона исчезли, словно никогда и не существовали. Лунные лучи, просачиваясь сквозь прозрачную воду, отбрасывали длинные, дрожащие тени в ложбину, делая ее еще более сумрачной и таинственной, чем обычно. Огромные каменные деревья застыли, как серебристые призраки. Их угловатые пальцы, окаймленные белой полоской света, умоляюще тянулись вверх, туда, где бушевал прибор. Вода там преобразалась в бледно-серую ртуть. Огромные массы жидкой платины и застывшего алюминия схлестывались друг с другом, вскипая крупными пузырями и тончайшей пеной. Это был ландшафт в одной краске. Главными компонентами цветовой гаммы были серебристые, серые и водянисто-черные тона. Сверкающие у поверхности, они постепенно тускнели и сливались один с другим по мере приближения ко дну. На глубине в сорок футов они становились совершенно неразличимыми.

Наиболее интересным в этой картине был коралловый лес с его одетыми в серебро вершинами. Днем великолепие прибора наизнанку, блиставшего всеми оттенками солнечного спектра, затушевывалось и подавлялось буйством красок подножия рифа. При лунном освещении все неистовство и мощь разбивающихся волн выражались в одном цветовом образе: в холодном, ледяном свете. Буруны вскипали, вздымаясь, пенились и разбивались, составляя сплошную блестящую полосу, уходившую в зенит. При этом, как и днем, ошеломляющее впечатление производила тишина. Она внушала трепет в гораздо большей степени, чем вид пенящихся волн. Казалось немыслимым, что все это неистовство беззвучно. Глянув вниз, в сторону неисследованных океанских бездн, я понял, что так и должно быть: в этом затопленном, навеки отторгнутом от земной атмосферы царстве нет места для звуков. Нет места для звуков, и лишь крошечная лазейка — для света. Еще несколько шагов в сторону открытого моря, несколько ярдов вниз по склону — и свет исчезнет, так же как и звук. Там начинается абсолютная темнота и немота. Холодок пробежал у меня по спине, и, содрогнувшись, я оторвал взгляд от бездны и сосредоточился на кораллах.

Как в дневное время, сотни рыб плавали между ветвями коралловых деревьев. Но те ли это рыбы, которых мне уже случалось видеть? Сейчас передо мной были просто смутные формы и тени, движущиеся призраки, однообразные и одноцветные, лишь в виде исключения загоравшиеся на мгновение серебристым или жемчужно-белым светом. Все цвета, по которым можно было бы определить рыб, отсутствовали. Синие и красные морские попугаи, золотые и оранжевые луфари и гранты — все они были окрашены совершенно одинаково. Сразу я опознал только бледную лунную рыбу, которая и названа соответственно своему виду. Она выплыла из глубокой норы, медленно очертила дугу в пространстве, достигла высшей точки и плавно, как ее небесная тезка, опустилась на край земли. Словно подчеркивая сходство, она еще вращалась при своем движении по подводному небосклону. Сначала она была тоненькой, как бы только народившейся, затем начала округляться, достигла полнолуния и наконец исчезла, превратившись в узенький серп луны.

Лишь по общему виду и манере плавать можно было определить, к какому виду и роду относится та или другая рыба. В полусвете рыбы-бабочки и сержант-майоры выглядят одинаково, но легко различимы по манере двигаться. Сержант-майор плавает рывками, скачкообразно, то и дело останавливаясь; плавниками он работает неторопливо, если только не испуган. Рыба-бабочка, плавая, вибрирует всем телом. Рыба-ангел парит, как и полагается ангелу, а похожий на нее округлыми очертаниями тангфиш как бы дрейфует по течению.

Есть рыбы — морская игла,⁸⁸ например, — которых можно сравнить с летящей стрелой. Летучая рыба и труба-рыба тоже принадлежат к этой категории. Луфарь, грант и скап разгуливают у самого дна при помощи медленных волнообразных движений тела. Их отличительная черта — гибкость. Тут же на дне шныряют рыбы, которые презирают медлительность. Среди них я увидел тарпона — возможно, того самого, который выскочил из воды, когда мы стояли на якоре. Если немного понаблюдать рыб, их можно распознавать по манере плавать, как птиц определяют по полету. Несколько раз, однако, я грубо ошибался. Мимо меня, например, пронеслась большая стрелоподобная рыба, и я механически причислил ее к сарганам. Но, увидав ее в другом ракурсе, распознал барракуду. В темноте она выглядела еще свирепее, чем обычно, и я почувствовал большое облегчение, когда она убралась. Но еще больше я испугался гигантского морского окуня, которого уже наблюдал днем в его логове. Дело было так. Мне наскучило болтаться как маятник на веревке и, высвободив ногу из петли, я соскользнул на дно. Не выпуская из рук веревки, чтобы какой-либо каприз течения не застал меня врасплах, я вприпрыжку добрался до своего любимого морского веера и присел на дно, обхватив коралл ногами. Нора гигантского окуня была хорошо видна мне отсюда, но в ней стоял такой мрак, что невозможно было разглядеть, дома ли он. Мне было известно, что морской окунь — ночная рыба, и хотелось узнать, где он сейчас находится. Я стал поворачиваться вокруг коралла, высматривая его, как вдруг он смутно возник в нескольких дюймах от моего шлема; в темноте он принял какие-то невероятные размеры. С диким криком — будь это на суше, он разнесся бы на добрую пару миль — я подпрыгнул и вылетел едва ли не к самой поверхности. Я пронесся над всей подводной ложбиной и, уже опускаясь вниз, остановился внезапно, но без особого толчка, потому что веревка, натянувшись до предела, задержала меня. Тогда я снова направился к тому месту, где находился гигантский окунь — он все еще стоял там же. На этот раз, уже вполне оправившись, я легко опустился на каменистое дно в нескольких футах от неподвижной рыбы. Она слегка подалась назад и снова застыла на месте.

Мне стало совестно, что я так глупо вел себя. Но внезапно увидеть такую громадину у себя под носом — пусть даже я сам высматривал окуня — для моих нервов было все же чересчур.

Минуту или две окунь разглядывал меня, потом медленно переместил свое огромное тело в тень, а я направился к большому кораллу, возле которого часто отдыхал днем, и пристроился в его нише. Тут по крайней мере не приходилось бояться нападения сзади. Почувствовав себя в безопасности, хотя нервы мои все еще были напряжены, я принялся наблюдать.

Совершенно естественно и в духе подводного мира, что после этого неприятного случая меня ждал превосходный сюрприз. Он настолько не имел ничего общего с историей с морским окунем, что у меня прямо-таки захватило дух от восторга. Я сидел, стараясь по виду определить рыб, тенями сновавших у самого дна, как вдруг свет померк. Луна скрылась в тучах, подумал я и, высунувшись из своего убежища, поглядел наверх. Рыбы шли параллельно рифу. Вероятно, их было тут несколько сот тысяч — я не видел конца стаи. Рыбы проплывали ряд за рядом, перемежающимися черными и серебристо-белыми полосками, и это производило впечатление сверкающего ковра, сотканного из живых пылинок. Косяк медленно раскололся — место раздела представилось в виде большой освещенной полосы — и изменил направление; когда он поворачивал, лунный свет отразился от тысяч серебристых тел длинными широкими полосами, от которых дно

⁸⁸ Морской иглой у нас принято называть родственных морским конькам рыбок рода *Syngnathus*, американцы же зовут их рыбами-дудками (*Pipefishes*), а иглой-рыбой — стронгилаура (*Strongylura marina*) из семейства *Belonidae*. Стронгилаура бывает длиной до метра с четвертью, обе челюсти вытянуты у нее вперед в виде острых стилетов (верхняя челюсть чуть короче нижней). Когда стронгилаура охотится за рыбами, она пронзает морские волны своим телом, словно сильно брошенным копьем, и иногда ранит людей, случайно наткнувшись на них.

вспыхнуло на короткий миг и тут же погасло. Затем последовала новая вспышка: чем-то испуганный, косяк в панике метнулся в сторону. Проплыв футов двадцать, он замедлил движение и возобновил свой марш вдоль стены рифа. Внизу все эти маневры отражались в виде тончайшего узора лунных бликов, скользивших по песчаному дну. Они плясали и кружились, по мере того как волны меняли направление лучей света. Весь подводный мир, казалось, раскололся на мельчайшие частицы света и тьмы.

Я снова взглянул вверх. Косяк шел теперь в другом направлении. На этот раз он уже не поднимался к поверхности вдоль каменной стены, а опускался вниз, в океанские глубины. Это был настоящий живой водопад. Длинные нити сверкающего металла и снопы серебристых блесков переплелись в одном ярком потоке. Это длилось две минуты, затем последняя вспышка — и стая скрылась из виду.

После этого наступил такой глубокий покой, что в течение нескольких секунд я вообще не замечал вокруг никакого движения. Затем в стороне кораллового леса, у подножия каменных деревьев, я увидел нечто, напоминающее непомерно длинную извивающуюся змею. Она выползала из темного прохода между двумя перекрученными стволами и скользила над самым дном, сгибая скалы и камни. У нее не было ни начала, ни конца; извиваясь и колыхаясь, она просто исчезала во мраке. Это меня заинтересовало, и хотя я чувствовал себя безопаснее в своем уголке, я встал и направился к тому месту. Подойдя поближе, я увидел, что это нескончаемой вереницей идут луфари. Мое присутствие нисколько их не смутило, хотя я, должно быть, представлял для них странное зрелище с целым гейзером светлых пузырьков, выходящим из моей головы. Я шагнул через шедших вереницей рыб. Они расступились, пропуская меня, затем опять сомкнули ряды.

Куда и зачем направлялись они ночью, не могу сказать. Они как будто не спешили, но, несомненно, плыли по каким-то делам, для них весьма важным. На какой-то миг меня охватило почти непреодолимое искушение пойти за ними, но зная, что я смогу уйти не далее чем на длину шланга, если даже луфари позволили бы мне сопровождать их, я сдержался и остался стоять на месте, наблюдая, как они исчезают из виду.

Две стаи рыб ушли в глубь океана, каждая своим путем, и это навело меня на мысль о том, какой деятельной жизнью живет море у берегов. В своем воображении я увидел, как такие же косяки двигаются в темных или освещенных луной водах всех океанов нашей планеты. В прибрежных водах одного только Инагуа пульсирует несметное количество этих живых потоков, направляющихся в коралловые леса или покидающих эти воды.

Всякий раз, когда я окажусь ночью на морском берегу, я буду думать не о волнах, которые плещутся у моих ног, а о вьющихся змеей громадных косяках, уходящих в глубины океана и возвращающихся обратно никем не видимыми, никем не замеченными. И мысль об этих миллионах живых существ, спешащих по своим делам, терзаемых миллионами надежд и разочарований, сталкивающихся с миллионами проблем и разрешающих их каждый на свой лад, спасающихся от миллионов врагов, дающих жизнь миллионному потомству и умирающих миллионами смертей, — мысль о них преисполняет меня безмолвным благоговением.

Когда луфари скрылись, я направился в подводную долину — заглядывать туда перед концом каждой подводной экскурсии вошло у меня в обычное дело. Там я долго стоял на месте, наблюдая призрачные тени, возникающие из мрака и снова сливающиеся с темнотой. Наконец мимо меня пронеслась группа крупных рыб. По сверкающим зубам, похожим на лошадиные, я узнал морских попугаев. Они сломя голову мчались к верхним разветвлениям кораллового рифа, и тут я вспомнил, что и мне пора наверх, потому что это не мой мир и я уже достаточно в нем пробыл.

Глава XVIII НА КРАЮ МИРА

В шлеме и под забралом, как какой-нибудь средневековый рыцарь, я неподвижно стоял на морском дне в предпоследний день своего пребывания на Инагуа и рассматривал груды желтых каменных глыб, на которые только что опустился. Глубина здесь была около сорока футов. Затем я наклонился, присел и подпрыгнул. Меня понесло вверх — пять, десять, двадцать футов. Движение замедлилось, я на мгновение застыл на месте и слегка приземлился на гладкой песчаной полосе. Переведя дыхание, я повернулся и с облегчением посмотрел на острые обломки скал, с которых совершил свой удивительный прыжок. Хорошо, что я правильно рассчитал расстояние: малейшая ошибка могла привести к серьезнейшим ранениям. На что только не способен человек из простого любопытства, подумал я. Никаких других оснований для этого рискованного предприятия, да еще перед самым отъездом, у меня не было. Мне казалось, что с меня уже хватит подводных прогулок, но одна мысль не давала мне покоя. Не один раз я рассматривал с берега одно место в океане, где его светло-зеленый цвет внезапно переходил в темно-синий. Дно тут резко понижалось до тысячи двухсот морских сажен — внезапный и крутой срыв в самые грозные глубины. И настал миг, когда я больше не мог противиться искушению: я должен увидеть подводную пропасть и постоять на ее краю! С помощью лодочника я погрузил в лодку водолазный шлем, и мы стали на якорь в нескольких футах от границы подводного обрыва. От берега мы находились не больше чем в четверти мили. Дно здесь казалось очень далеким, и я не без замирания сердца надел шлем и приступил к спуску. Когда я приземлился через несколько секунд, давление ощутимо давало о себе знать: казалось, будто на грудь и желудок навалилась огромная тяжесть. Поверхность океана была далеко-далеко наверху. Шланг широкой дугой изгибался за моей спиной; извиваясь как змея он уходил ввысь и постепенно терялся в толще воды. Лодка отсюда выглядела темным, расплывчатым пятном.

Я вглядывался в темноту, пытаюсь ориентироваться по странам света. Наверху, внизу, со всех сторон — только вода, неосязаемая, не поддающаяся описанию голубизна, и ни одного предмета, придающего ей рельефность. Откинувшись, я взглянул наверх: опять ничего, кроме текучей голубизны, быть может, чуть более светлого оттенка, чем по сторонам. Север, юг, восток и запад неотличимы — направлений тут не существует. Всюду голубая вода, человек чувствует себя затопленным ею, потерянным в лазури.

Только песок у меня пол ногами помог мне ориентироваться и подсказал, где находится край полночного утеса. Я уже смутно догадывался, что он где-то вблизи, потому что ощущал телом холодок — верный признак течений, поднимающихся с большой глубины. Я вертелся во все стороны, чтобы определить, откуда идет холодное течение, но оно было слишком слабым и ничего мне не подсказало. Загадка разрешилась, когда я посмотрел себе под ноги. Дно было неровно, причем в его неровностях существовала закономерность. Песок лежал длинными, невысокими волнистыми валиками, уходящими с голубую бесконечность. Они в точности напоминали валики, которые я увидел на дне, наблюдая прилив на самой западной оконечности Инагуа. Ясно, что и эти насыпи должны идти под прямым углом к берегу. Мой путь лежал параллельно им.

Я шел подавшись вперед, чтобы легче было преодолевать сопротивление воды. Пока это был только легкий холодок, предупреждавший о том, что ждет впереди, некое подобие свежести, которая чувствуется в сентябрьском воздухе перед началом листопада. Меня охватило чувство одиночества. Мне казалось, что я один на свете и кроме меня в этом мире никого нет. Впрочем, так оно и было. Правда, всего лишь в семидесяти футах от меня находился лодочник, приводивший в движение воздушный насос, но не все ли равно, в лодке он или на Марсе, если нас разделяет непроницаемая поверхность океана. Я знал: человеческая нога никогда не ступала по этим местам и я первым из людей увижу край подводной пропасти, срывающейся на семь тысяч футов в абиссальную ⁸⁹ бездну, в

⁸⁹ Абиссалью океанологи называют самые глубоководные зоны Мирового океана, начиная примерно с глубин в тысячу метров.

настоящие океанские глубины. Быть может, я чувствовал себя таким одиноким из-за мертвой тишины, ибо я не слышал ничего, кроме легкого свиста нагнетаемого воздуха.

Нервночая, я дернул за спасательную веревку, чтобы проверить, достаточно ли прочно закреплен ее верхний конец. Все было в порядке. Я даже ощутил движение лодки, качавшейся на волнах. Взглянул наверх и внимательно огляделся по сторонам; лодочник предупреждал меня, чтобы я был осторожен: у края пропасти собираются крупные акулы и барракуды. Как и в первый раз, спускаясь под воду у рифа, я только посмеялся над ним, но сейчас, вспомнив мое тогдашнее приключение и будучи целиком предоставлен самому себе, чувствовал себя далеко не так уверенно.

Я добрался до края пропасти скорее, чем предполагал, и впился глазами в синюю пустоту. Твердый грунт под ногами исчез, дно стало мягким и податливым. Песок под ногами медленно двигался и сползал в сторону бездны, и я в ужасе вцепился в спасательную веревку. Хотя я прекрасно знал, что не протащит меня и десяти шагов, как буду остановлен натянувшейся веревкой и шлангом, тем не менее я не мог поступить иначе, — такая пустота была внизу.

Еще не вполне оправившись от испуга, я присел на дно и заглянул вниз: ошеломляющая пустота! А песчаный склон уходил все вниз и вниз, в ужасающую расплывчатость.

На краю пропасти как бы стояла стена ледящего страха. Я пошевелил ногой. Струйка песка двинулась оползнем по склону, увеличиваясь в объеме. Со дна поднялось облачко мельчайшего ила, медленно отошло в сторону и рассеялось. В этом оползне было что-то змеиное, ползучее, ничего похожего на обвал на суше — лишь медленное, мягкое сползание в бездну. Я представил себе, как, должно быть, ужасно скользить беспомощно навстречу смерти, если потеряешь спасительный шланг и веревку и не сумеешь освободиться от балласта шлема. Плавное скольжение вниз, дюйм за дюймом, фут за футом, меж тем как непрерывно увеличивающееся давление сжимает свои беспощадные тиски. И еще я подумал о мраке, который будет сгущаться, пока обморок не сделает его полным — постепенное сгущение цвета от ультрамаринового в лазурный, от темно-голубого в иссиня-черный, а затем — совершенная тьма.

Тук-тук, тук-тук — едва слышный звук работающего воздухонососа вернул меня к действительности. Сказав себе, что я в полной безопасности, я позволил любопытству взять верх над страхом. Что находится внизу и что удерживает от обвала рыхлый край пропасти? Я оглянулся назад. Плоская, состоящая из песка и горных пород равнина, изборожденная трещинами и расщелинами, незаметно повышалась к поверхности — постепенный, неуловимый уклон.

Я взял щепотку песка и внимательно исследовал его. Песок был не кварцевый, как на побережьях американского континента, а фораминиферовый, образовавшийся из раковин морских животных. Эти животные умирали миллионами и миллионами, и их известковые останки медленным органическим дождем падали на океанское дно. Утес, на котором я находился, был огромным кладбищем миллионов живых существ. Океанские течения вынесли их с глубины и собрали в этом месте, на краю мира.

На меня упала тень. «От лодки», — подумал я, но тут же выронил песок, который только что рассматривал. Какая там лодка! Она находится по крайней мере в семидесяти футах и никакой тени отбрасывать не может. Тут я увидел темное пятно на песке. Оно медленно продвигалось в сторону пропасти и, соскользнув с ее закругленного края, слилось с чернотой водной толщи. Я взглянул вверх и едва не вскрикнул, увидев в десяти-пятнадцати футах над головой огромную манту — наиболее крупную разновидность морских дьяволов. Она летела — иначе этого не выразить — в средних слоях воды, словно гигантская летучая мышь или чудовищный птеродактиль, и казалась выходцем из давно минувших эпох. Раскрыв свои широченные «крылья», она скорее даже парила, а не плыла в воде.

Я застыл на месте. Оказавшись вблизи от спасательной веревки, манта слегка повернула, и, миновав край обрыва, грациозно славировала в бездну. Размах «крыльев» у нее

составлял не меньше пятнадцати футов.

Я схватился за веревку, чтобы подняться на поверхность, и снова застыл на месте: манта возвращалась. На этот раз ее огромный корпус появился справа — она поднималась из черной глубины. Подплыв к самому краю пропасти, она высоко подняла один свой огромный плавник и двинулась прямо на меня. Мне были видны ее опущенные вниз головные «плавники», похожие на большие рога. Они, вероятно, служат рулем, но мне пришлось в голову, что ими можно схватить жертву и засунуть в пасть, оснащенную крепкими, как булыжники, зубами. Манта плыла прямо на мой шлем, а я был совершенно беспомощен — у меня не было с собой даже ножа. Расстояние между нами все сокращалось. Пятнадцать футов, десять — я уже ждал, что меня раздавят эти огромные черно-белые «крылья», но манта проплыла над самой моей головой, едва не задев шланг, и ушла влево. Когда она поворачивала, я разглядел обращенные на меня маленькие свиные глазки в белесой радужной оболочке.

Чудовище направлялось к месту, где стояла лодка. Его гладкий, твердый черный хвост фута в три длиной торчал как палка и не шевелился. К манте присосалась пара прилипал, значительно крупнее тех, что я видел на песчаных акулах. Они беспокойно ерзали на ее брюхе, словно нетерпеливо дожидаясь часа обеда своей хозяйки.

Морской дьявол вернулся еще раз, но ко мне уже близко не подходил. Он проплыл футах в пятнадцати от меня, к моему облегчению, далеко обойдя воздушный шланг, повернул к краю пропасти и вскоре его очертания растаяли в туманной дымке. Убедившись, что он исчез, я изо всех сил полез вверх по спасательной веревке. Живой и невредимый, я сидел в лодке, греясь на солнце и тяжело дыша.

Лодочник снова смотрел на меня с торжествующим видом.

— Когда-нибудь это плохо кончится, — сказал он. — Такими вещами не шутят... Я вас предупреждал...

Я почти согласился с ним. Если б манта оборвала шланг или запуталась в веревке, я бы попал в очень затруднительное положение, которое могло кончиться трагически.

Все же через полчаса, отдышавшись и вновь набравшись духу, я вторично, погрузился в воду. Край пропасти я нашел без труда, хотя попал в другое место. Песчаное дно здесь оказалось более надежным, и низкорослые водоросли доходили до самого обрыва. Я устроился поудобнее и сидел, споласкивая водой смотровое стекло, затуманившееся от дыхания. Сначала я ничего не видел, но когда прозрел, сделал открытие: край обрыва служил проезжей дорогой для множества рыб. Первыми я увидел макрелей, шедших косяком. К какому виду они принадлежали, я не мог определить. Длиной они были дюймов в восемнадцать и плыли футах в десяти над моей головой. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь толщу воды, падал на серебристых рыбок и давал неожиданный световой эффект: вокруг каждой горел золотой ореол. На суше мне никогда не случалось видеть такой красоты, если не считать, пожалуй, крыльев некоторых бабочек. Рыбки плыли медленно, но потом все как одна вдруг заторопились. Вытянувшись в одну сверкающую желтую цепочку, они взмыли к поверхности, где маячила стая какой-то мелкой рыбешки. Почувяв приближение хищниц, мелкие рыбки помчались прочь, тоже наверх, разрезая воду, как живые стрелы. Я смутно различал непрозрачную пелену поверхности и заметил, что рыбешки прорвались сквозь нее и исчезли. Значит, это были летучие рыбы. Разочарованные макрели вернулись патрулировать край обрыва. Мне не пришлось увидеть, как летучие рыбы шлепались обратно в воду: мешали дымка и большое расстояние.

Что-то обожгло мне руку. Я так быстро обернулся, что у меня из-под ног поднялось облачко илистой мути. Над моей головой дрейфовала физалия, прозванная португальским корабликом, — большая лилово-синяя медуза. Два или три ее длинных, свисавших вниз щупальца скользнули по моей руке, Я упал на песок, чтобы избежать прикосновения остальных. Водоворот, образовавшийся от моего резкого движения, закрутил легкое тело

медузы. Ее щупальца перепутались, и физалия,⁹⁰ к моей радости, немедленно втянула их. В вытянутом виде они достигали десяти-двенадцати футов длины. Если бы я получил полную порцию яда, ожог мог бы оказаться очень тяжелым. И так рука у меня болела около двух часов.

Физалия — своеобразное и злобное животное. Она находится в ближайшем родстве с актиниями и медузами и представляет собою целую колонию, где все члены полезны друг другу и не ссорятся. Хотя физалия кажется отдельным организмом, на самом деле она является сообществом мелких особей, каждая из которых выполняет свою функцию, а все вместе образуют органическое единство. На первый взгляд это не заметно, но при исследовании выясняется, что физалия состоит из полипов разной формы, имеющих разное назначение. Один полип, нежно-голубой, имеет трубчатую форму и служит органом пищеварения. Другой — пальцевидной формы и очень чувствительный — служит органом осязания, третий — органом размножения, четвертый преобразовался в длинные щупальца, снабженные ядовитыми стрекалами. Эти щупальца хватают добычу и в случае нужды служат орудием защиты. Кроме того, это балансирующий руль всего плавучего содружества. Нечего и говорить, что следует тщательно избегать физалию.

Но самое интересное я увидел, когда, успокоившись, снова взглянул на физалию: вокруг нее плавала стая мелких рыбок. Я узнал их — это была молодежь строматеид, тех самых рыб, что украшают наш стол. Они связали свою жизнь с физалиями и другими медузами и относятся к ним как к покровителям и защитникам. Когда им угрожает какой-нибудь голодный хищник, строматеиды бросаются между ядовитыми щупальцами, во внутреннее пространство, где на них никто не смеет напасть. Очень редко может случиться, что рыба, в панике убегая от врага, натывается на ядовитое жало и мгновенно парализуется. Тогда медуза получает свою долю и отправляет беспомощную добычу прямо в рот.

Кроме таких случайностей, физалия как будто не подозревает, что какая-то ничтожная рыбешка вьется вокруг нее и пользуется ее покровительством. А строматеиды прекрасно знают, с кем имеют дело и как ядовиты щупальца, — они с величайшей осторожностью избегают касаться их, даже когда прячутся между ними. Их участи нельзя, конечно, позавидовать: ведь это все равно что жить в комнате с десятками свисающих над головой высоковольтных проводов.

Симбиоз физалий и строматеид представляет собой очень интересную проблему. Как могла возникнуть такая связь? Какая предприимчивая строматеида первой догадалась, что разносчицы смертельного паралича могут быть использованы как средство самозащиты? Быть может, это была «сверх-рыба», неизвестно каким образом сообщившая о своем открытии прочим заурядным строматеидам? Или какой-то таинственный инстинкт

⁹⁰ Португальский кораблик, или физалия (*Physalia*), в узком смысле слова не медуза, а сифонофора — так зоологи называют особую группу кишечнополостных животных, ведущих, подобно медузам, плавающий образ жизни, но состоящих из множества сросшихся в одну колонию полипов. Все особи колонии выполняют разное назначение: одни добывают пищу, улавливая длинными стрекочущими щупальцами добычу; другие поедают ее; третьи, похожие на колокола, сокращаясь, толкают сифонофору вперед; четвертые и пятые выполняют роль выделительных и половых органов. Над всей колонией на поверхности воды возвышается плавательный пузырь, наполненный газом. Это «поплавок и парус». У физалии воздушный пузырь бывает длиной до 30 сантиметров при ширине в 10 сантиметров, а щупальца свешиваются вниз на глубину в двадцать-тридцать метров. На солнце физалии играют чудесными переливами голубых, фиолетовых и пурпурных тонов, поэтому их и называли «португальскими корабликами»: португальцы ярко раскрашивали свои военные корабли. Яд физалий в большой дозе может быть опасным и для человека. Однако некоторые рыбки живут в сообществе с сифонофорами, прячась от врагов между их щупальцами. Взаимовыгодное сожительство двух разных организмов биологи называют симбиозом (вспомните рака-отшельника и актинию, муравьев и тлей). Между щупальцами физалий прячутся обычно маленькие рыбки номенусы (*Nomeus gronovii*), которые, по-видимому, невосприимчивы к яду сифонофор. Но Д. Клинджел упоминает о других рыбах — о молодых строматеидах (*Stromateidae*). Взрослые строматеиды — некрупные, внешне несколько похожие на лещей рыбы. У берегов США имеют промысловое значение.

натолкнул всех рыбок этой породы сразу на этот метод? На подобные вопросы почти никогда не находишь ответов.

Я очень обрадовался, когда физалия убралась. Как ни хороша их бледно-лиловая окраска, в этих существах есть что-то зловещее, и ожоги они причиняют ужасные. Но нет животного, которое бы так подходило к этому странному подводному миру, как физалия. Студенистые, фантастические по форме, исключительно хрупкие, они сами на 98 % состоят из воды и как бы сливаются с подводным ландшафтом.

Я продолжал наблюдать. Из туманной дымки появилось несколько хэмулёнов. В противоположность макрелям, они путешествуют парами и тройками. Рыбы выискивали что-то в песке и двигались неторопливо, то и дело отклоняясь в стороны. Длинная, узкая, грациозная барракуда возникла в нескольких шагах от меня и остановилась. На жаберных крышках у нее проходит темная полоса, придающая ей жестокий и отталкивающий вид. Минуты три она холодно созерцала меня, неподвижно вися в воде, затем скользнула дальше, не сделав ни малейшего усилия при переходе к движению. Встреча с барракудой обеспокоила меня гораздо меньше, чем появление морского дьявола, хотя основания для этого были: барракуда — общепризнанный тигр рыбьего царства.

Истинное удовольствие доставила мне большая зеленая черепаха⁹¹ весом по крайней мере в сотню фунтов, проплывшая мимо меня. Она появилась сзади и легко скользила в воде над самым песком, изящно двигая лапами. На меня она не обратила ни малейшего внимания. Ее панцирь был украшен ковром зеленого мха и множеством белесоватых морских желудей. Подобно манте, она тащила на себе паразита — к ее животу присосалось прилипало. Черепаха добралась до края пропасти и скользнула вниз, в глубину. Я знал, что черепаха не может долго обходиться без воздуха, и поэтому удивился, зачем она забирается так глубоко — ведь она время от времени должна подниматься на поверхность. Но черепаха погружалась все глубже и глубже, пока не скрылась во мраке.

Черепаха навела меня на мысль, что на краю подводной пропасти миграция имеет несколько иной характер, чем у берегов. Рыбы все время сновали между океанским дном и песчаной насыпью. Больше всего среди них было холёцентрусов, которых я встречал в сколько-нибудь значительных количествах только по ночам. Здесь же они шли из глубины непрерывным потоком. Казалось, они знают, куда направляются, и держали курс прямо на прибрежные скалы. Другие рыбы возвращались, переваливали через край пропасти и скользили вниз. Среди них я часто замечал красных и голубых морских попугаев. Зачем они стремились в глубину — было для меня загадкой, ибо крайняя граница водорослей, которыми они питаются, проходила по краю утеса. Тем не менее они появлялись в огромных количествах; вероятно, они поочередно жили то на прибрежных скалах, то в недрах океана.

Последние минуты, проведенные мной на краю мира, оказались самыми впечатляющими. Я решил спуститься как можно глубже — насколько позволит давление. Отдохнув, я подполз к самому краю пропасти и начал спуск, крепко держась за веревку. Откосы круто срывались вниз, песок осыпался, но веревка помогала мне держаться на ногах. Шел я медленно и дышал носом, чтобы уравнять давление, уже сказывавшееся на барабанных перепонках. Вот уже я спустился на десять, пятнадцать, двадцать футов... Я взглянул вверх: никакого признака поверхности. Я находился на глубине 55 футов. Для

⁹¹ Зеленая, или суповая черепаха (*Chelonia mydas*), бывает длиной до метра с четвертью и весит до трехсот килограммов. Сверху окрашена в оливково-бурый цвет. Обитает в теплых морях у берегов с подводной растительностью, которой взрослые черепахи главным образом и питаются (в неволе едят и рыбу). Самки в уединенных бухтах откладывают в приморский песок 75—200 яиц, из которых через полтора-два месяца выводятся маленькие черепахи и ползут назад в море.

В одном Карибском море ежегодно добывают свыше тысячи тонн зеленых черепах, мясо которых славится превосходным вкусом; на берегу собирают множество их яиц. Промысел ведется хищнически, и, если не будут приняты срочные меры, то этим черепахам, бесчисленные стада которых преграждали дорогу кораблям Колумба, угрожает быстрое истребление.

современного водолаза это не ахти как много, но при моем легком снаряжении это было достижение. Я знал, что дальше спускаться не следует, но остановиться не мог. Меня подстрекало любопытство — это непреодолимое чувство, влекущее нас вперед к неизвестному. Давление начало ощутимо давить себя знать: на грудь и желудок словно навалилась непомерная тяжесть. Дыхание участилось. Шестьдесят футов. Закружилась голова. Шестьдесят пять...

Я огляделся вокруг насколько хватал глаз; впереди виднелся лишь песчаный откос, уходящий вниз, в бесконечность. Песок, полная тьма и тишина. Ничего подобного я себе не представлял. В этом было что-то устрашающее именно благодаря неопределенности и неосвязаемости. Я повернулся и стал подниматься. Высоко над краем пропасти виднелось золотистое свечение. От непривычного давления кружилась голова. Цепляясь то одной, то другой рукой за веревку, я упорно поднимался. Когда я достиг края обрыва, сверкающая масса золотистых ниточек потянулась вниз. Это был большой косяк рыбы, направлявшейся в бездну. Мы встретились на полпути. Они шли в тьму и вечный холод, а я — в прекрасный, овеванный воздухом, солнечный мир.

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ

Бак на иоле — часть палубы от грот-мачты до носа.

Бизань — нижний (или, как на «Василиске», единственный) косой парус, ставящийся на бизань-мачте (первой от кормы).

Бимсы — поперечные крепления судна, род балок, соединяющих противоположные стороны шпангоутов (ребер судка). На бимсы настилается палуба.

Брашпиль — род ворота с горизонтальным валом.

Буй — цилиндрический поплавок с ажурной надстройкой, на вершине которой в темное время суток зажигается огонь. Буи устанавливаются для ограждения опасных мест в открытом море, на подходах к портам и морских каналах.

Бушприт — выдающееся впереди носа судна рангоутное дерево, служащее для выкоса вперед штагов (снастей, поддерживающих спереди мачту) и крепления носовых треугольных парусов — стакселя и кливеров.

Ватер-бакштаги — снасти, раскрепляющие бушприт с обоих бортов.

Гафель — рангоутное дерево, к которому пришнуровывается верхняя шкаторина косого паруса.

Гик — подвижно скрепленное с мачтой рангоутное дерево, к которому крепится нижняя шкаторина нижнего косого паруса.

Грот — нижний (или единственный) парус на грот-мачте.

Грот-штаги — снасти, поддерживающие грот-мачту спереди.

Пол — двухмачтовое небольшое судно с косыми парусами, очень удобное в управлении.

Кливер — один из передних (второй от мачты) треугольник парусов.

Леер — железный прут или туго натянутый трос.

Линь — тонкий растительный трос, толщиной по окружности менее дюйма.

Медная краска — краска, до некоторой степени предохраняющая подводную часть судна от обрастания ракушками.

Наветренный — находящийся по отношению к наблюдателю или к какому-либо предмету со стороны дуящего ветра.

Найтовы — трос, которым крепятся самые различные предметы на судне.

Нактоуз — четырех- или шестигранный шкафчик, в верхней части которого устанавливается компас, прикрытый колпаком. В ночное время для освещения компаса под колпаком зажигается неяркий огонь.

Пайол — съемный деревянный настил, служащий полом.

Перты бушприта — два троса, прикрепленные с обеих сторон бушприта по всей длине

таким образом, чтобы, став на них, можно было работать на бушприте, опираясь на него животом.

Пирс — сооружение для причала судов.

Планшир на деревянных судах — толстая доска, прикрывающая кромку верхней доски бортовой обшивки и связывающая верхние оконечности шпангоутов.

Плавучий якорь — конический мешок с обручем. Его бросают за борт на длинном тросе, он упирается о воду и удерживает судно носом или кормою против ветра, т. е. в наиболее безопасном положении, не давая судну развернуться бортом к волне.

Поворот фордевинд (по ветру) на судах с косым парусным вооружением, даже при ветре умеренной силы, требует от команды напряженного внимания и расторопности. Кульминационным моментом поворота является переход перебрасываемых ветром парусов с одного борта на другой. Стоит лишь чуть-чуть упустить время и не успеть вначале выбрать (натянуть) втугую шкоты, а затем в должный момент быстро и плавно потравить (отпустить) их, как паруса резко будут переброшены ветром на противоположный борт.

Подветренная сторона — т. е. сторона, противоположная той, на которую дует ветер.

Рангоут, или рангоутные деревья, — общее название всех деревянных или трубчатых металлических деталей круглого сечения, служащих в основном для подъема и несения парусов. К рангоутам относятся мачты, бушприт, гафели, гики и т. п.

Рифы или штерты — короткие отрезки тонкого троса, нашитые с обеих сторон паруса в один-четыре ряда один над другим. Связывая штерты противоположных сторон под нижней кромкой паруса, тем самым уменьшают его площадь. Взять три рифа — последовательно связать один за другим три ряда штертов.

Свернутый в бухту трос, т. е. трос, свернутый спиралью или уложенный петлями.

Секстан — мореходный угломерный инструмент для измерения высоты небесных светил, а иногда и горизонтальных углов между видимыми предметами.

Счисление — один из способов определения места судна по специальным формулам или графическим путем.

Такелаж — общее название всех снастей на судне.

Узел — морская мера длины и одновременно скорости. Один узел равен одной морской миле (1852 м), проходимой судном в час.

Ус — приспособление в виде ухвата, соединяющее гик или гафель с мачтой таким образом, что они могут поворачиваться, а гафель, кроме того, опускаться и подниматься.

Шкаторина — кромка парусов, обшитая для прочности тонким гибким тросом.

Шкоты — снасти, служащие для управления парусами, а у некоторых парусов и для их установки.

Шпангоуты — детали поперечной связи, которые служат как бы ребрами, к которым крепится обшивка.

Составил Д. Л. Сулержицкий

Комментарии

1

Главы I, VII, IX, XI, XII печатаются с небольшими сокращениями.

2

Трупное окоченение (лат.).